84(2Рос-Рязе
К
А67

Маргарита
АНИСИМКОВА

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ

РОМАН

Екатеринбург
Издательский дом "ПАКРУС"

Маргарита
АНИСИМКОВА

Маргарита

Екатеринбург
Издательский дом
«ПАКРУС»
2001

К 84(2Рос-Рус)6
А67

АНИСИМКОВА

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ

Исторический
роман

Нижневартовское
МУ "БИС"
инв.№ 1012269/11-6

ББК 84Р7
А67

В ИЗДАНИИ КНИГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич,
глава муниципального образования
«Нижневартовский район»;

ЧАПАЙКИН Анатолий Петрович,
глава местного самоуправления города Мегиона;

Тюменская нефтяная компания
в лице **НАМА Олега Сергеевича**

Автор выражает им
сердечную признательность и благодарность
за помощь и поддержку в работе.

ISBN 5-901214-26-9

© Анисимкова М.
© Курач Н., художник
© Издательский дом
«Пакрус», 2001

От автора

Великий русский полководец А.В. Суворов сказал: «Истинная слава не может быть отыскана, она проистекает из самопожертвования на пользу блага общества». В конце XV века великими трудами московских князей объединились разрозненные земли в единое государство Русь. Князья Семен Курбский, Петр Ушатый, Василий Заболотский-Бражник сумели перевалить через Великий Камень, где они встретились с инородческими племенами вогуличей, остяков, самоедов, с которых была взята клятва верности русскому царю.

В романе я старалась сохранить в логической последовательности исторические факты, сверяя их с дошедшими до нас летописями и документами. На страницах книги выведены русские ратичи, стрельцы, казаки, воеводы первых городков-острогов за Великим Камнем: Иван Нагой, Никифор Траханиотов, Петр Горчаков; атаман Ермак с подвижниками Иваном Кольцо, Никитой Паном, Матвеем Мещеряковым.

Думаю, что художественный вымысел не затенит исторической правды, а, напротив, поможет оживить давние события.

Много волнений было связано с этой работой. Порой убеждала себя не браться за такой великий груз: ведь роман исторический, события XV—XVI веков! Подлинных документов почти нет.

Герард Миллер в «Строгановских летописях», «Описании Сибирского царства», историки В. Шишонко, Н. Карамзин, А. Нечволодов, С. Соловьев, В. Ключевский не обошли вниманием князей, переходивших Великий Камень, но всюду лишь скупые строки, к тому же факты во многом противоречивы.

Безусловно, мне помогло образование географа, а главное — увлеченное изучение фольклора народов Обского Севера и почти сорокалетнее проживание на Югорской земле. Да и родилась я на

Лозьве. «А кто еще, если не я?» И, благословясь, я разрешила себе приняться за эту работу. Мое намерение поддержал доктор исторических наук, профессор М.Е. Бударин.

Если в романе-хронике «Кораблекрушение у острова Надежды» К.С. Бадигина описываются события Ливонской войны, торговые связи Европы с северными территориями в XVI веке, поиски англичанами северного морского пути в страны Востока, а также великое событие — присоединение атаманом Ермаком Сибири к Российскому государству, то мои герои — предшественники этих великих событий. Именно они — князья Курбский, Ушатый, Заболотский-Бражник — своими походами за Камень позволили вписать в титул Великого Московского государства кроме прочих земель земли далекой и древней Югры и именовать себя князьями Югорскими.

Во всех этих походах меня покоряло мужество, храбрость, смелость русского человека, его желание служить Отечеству.

М.Анисимкова

«...С Сибирскими летописиами, вместе напечатать, очистив прежде оные от басней, которыя не принадлежат к самому делу, дабы любители иметь могли от древностей и употребительнаго в древние времена слога, некое особливое себе увеселение, и при том упомянутым в историческом описании Сибири, вещам и делам, видеть подлинные доказательства»

Герард Миллер.
«Описание Сибирского Царства»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Метель улеглась, но ее отзвуки еще свистели в вершинах гор, снежинки кружились в воздухе, бились о стены чума, сшитого из оленьих шкур, и, шурша, скатывались на землю.

Пагин стряхнул ладонью снег с подола малицы, постучал нога об ногу и только потом, приподняв тяжелую оленью шкуру, заменяющую входную дверь, юркнул в чум.

Вкусно пахло вареной олениной: Ё мас-эква только что убрала с огня медный котел, обмененный на соболей у мужика, приплывшего на плоту с верховий Талии, где он ловил в горных лесах серых кречетов. Она не знала, что за Великим Камнем живут богатые люди, которые платят за кречетов большие деньги, а мужики, живущие по берегам Печоры и занимающиеся отловом кречетов, зовутся «кречатьи помытчики». Эти птицы были основной данью, которую платили мужики своим князьям. В год «по кречету, а не будет кречета или сокола — оброку рупь»...

Ё мас-эква появилась в чуме Пагина недавно. За ней он с братьями гонял упряжки через горные ущелья по промороженным озерам, к Горностаевой речке, в чум мудрого Номина-ойки.

Он любил вспоминать тот день, когда вся родня — старшие братья и старая тетушка — ездили выбирать ему жену... Белые большерогие олени, утомившиеся в долгой дороге, сразу улеглись возле нарт. Братья по одному заходили в чум, низко кланялись Номину. Увидев среди них пожилую женщину в красивой малице и цветастом платке, он догадался, что приехали сватать дочь Е мас-экву, которую ему не хотелось отдавать в далекий чум. Номин-ойка заволновался, похлопал по шкурам, из-под которых вылезла пожилая женщина. Приподнявшись, он тихо спросил: «Сколько дней бежали олени?» И, услышав ответ, долго цокал языком, выражая свое удивление. Вылезшая из-под шкур женщина с покрытым лицом безмолвно захлопотала: выбежала из чума, затащила большую берестяную скатерть. Гости, оставив на нартах большие меховые савики, промороженные и забитые снегом, заносили в чум сшитые из налимьей кожи мешки. Поставили на середину стола берестяной, разукрашенный узорами чуман, закрытый деревянной крышкой.

— Дорогой хозяин, дорогая хозяюшка! — заговорила приехавшая женщина. — Слышали мы, кочующие со стадами оленей в нижнем течении Лозьвы-реки, что есть у вас дочь красивая, как красная ягодка.

— У нас не одна дочь, а четыре дочери, — ответила женщина с закрытым лицом. Через узкую щелочку в платке она пристально смотрела на молодых людей.

— Слышали мы: увезли старших дочерей в дальние стойбища.

— Правду слышали вы, кочующие на Лозьве-реке вогуличи. Вы тоже с дальней стороны, издалека оленей гнали.

— За хорошей невестой не жалко гонять оленей, — сказала приехавшая женщина. — Осенью птицы летели

с вашей стороны, остановились на нашем озере отдохнуть и крякали между собой о вашей дочери-красавице. Я была на том озере и слышала все.

Номин-ойка улыбнулся, ему понравилась придуманная свахой сказка.

В котле закипела вода. Пока острым ножом строгали на берестяной скатерти мороженое мясо, Номин пережевывал табак, лежащий за верхней губой. Сплюнув в ладонь черные перепревшие остатки, бросил их в огонь.

— Всех невест женихам отдал. Самая маленькая осталась. Просите у матери. У нас ноги болят, глаза плохо видят. Е мас-эква туда-сюда, как горностай, бегает. Без нее совсем тихо в чуме будет.

— Что-то не видно невесты, — заметила бойкая сваха.

— Под шкурами спряталась.

В это время старший брат протянул Номину олений рог с насечками: они обозначали число оленей, которые будут отданы за невесту. Мать громко заплакала. Номин, глянув на рог, смутился, потом, обтирая ладони о подол крапивной рубахи, взял его и провел шершавыми пальцами по зарубкам. Их было много.

«Богато живут Пагины», — подумал Номин и достал из ножен острый нож. Он должен был добавить или срезать насечки, от его решения зависел торг, сватовство.

Вода в котле продолжала кипеть и мелкими брызгами падала на горячую золу. Гости не спускали глаз с узловатых рук Номина. Тот долго гладил рог и, громко выдохнув, срезал несколько зарубок. Это означало: слишком большой калым предлагают за дочь. По чуму прошел ропот — редко кто срезал насечки, чаще добавляли.

Сваха всплеснула руками, быть может, дочь Номина имеет какой-нибудь изъян: может, глаза плохо видят,

может, горб у нее на спине? Или внутри притаилась хворь?

— Покажите невесту, — попросил старший брат. На его поясе было прицеплено много медвежьих зубов и когтей, что было признаком его храбрости. То, что Номин срезал несколько насечек, обеспокоило его. Они ехали взять для брата здоровую невесту, которая могла бы родить много детей.

Мать, догадавшись о подозрениях сватов, поползла в дальний угол, стала разбрасывать по сторонам подушки, сшитые из шкурок молодого оленя, одеяла из выделанных тушек лебедей... Послышался тонкий протяжный плач. Мать вытащила спрятавшуюся под шкурами Ё мас-экву. Небольшого роста, розовощекая, с бойкими черными глазами девушка встала рядом с отцом.

— Зачем плачешь? — потеплев душой, спросила сваха.

Оживились и братья Пагины. С какой-то торопливостью стали наполнять они берестяные чуманчики «огненной водой».

— Пусть Ё мас-эква крепко живет. А Номину хватит оленей, — заметив замешательство гостей, пояснил отец.

При отблесках горящих в чувале поленьев они долго сидели и вели разговоры про зверя в лесах, про рыбу в реках и озерах. Ё мас-эква снова юркнула под шкуры и издали украдкой рассматривала приезжих. Она безошибочно определила своего суженого. Наблюдала за каждым жестом парня, косы которого были заплетены яркими, ссученными из трав нитками. Ей понравилось, как он ловко вскочил со шкур, когда старшие напомнили ему об оленях, которых надо было отогнать на болото.

Номин сказал, что на болотине в сторону гор больше ягеля. Пагин легко нашел это место. Отпущенные на

волю олени не разбежались кто куда, а стали обнюхивать воздух, прислушиваться к скрипу низкорослого березняка и, только успокоившись, принялись разгребать копытами снег.

Старшие попивали «огненную воду» и скоро протяжными заунывными голосами затянули каждый свою песню. Сватовство состоялось.

Утром мать Ёмас-эквы полезла в лабаз и долго перебирала в нем меховую одежду, искала нарядные кисы и втихомолку оплакивала судьбу дочери, вспоминая свое «сватовство». Ведь Номин не сватал ее, а просто украл на ярмарке. Только по прошествии времени приехал к отцу на поклон, привез большой калым и попросил прощения.

Ёмас-эква со слезами выскочила из чума и увидела, как мать сбрасывает на снег нарядные сахи, в каких ездила только в гости. Они были легкие, украшенные меховым узором. Потом полетели разноцветные платья с большими расшитыми нагрудниками, платки.

— Надевай, Ёмас-эква, сразу три платка, три платья, — сказала мать. — Пагин красивый жених, это не вдовец с Маньи-реки. — И мать вдруг заплакала.

В чум Ёмас-эква вернулась в сопровождении матери, которая продолжала голосить. Сваха вскочила, торопливо стала вытаскивать из мешка подарки: Номину рубахи и пояса, матери куски цветной ткани, под ноги Ёмас-эквы положила целый ворох ярких платков.

Когда пришло время уезжать, Ёмас-эква неожиданно уперлась пятками в жердь возле двери и не захотела ни за что выходить из чума. Но это было лишь обычаем, знаком того, что она оставляет в доме необходимую и дорогую ей вещь. Родители должны были догадаться, вспомнить об этой вещи. Мать не сразу поняла, что дочь просит найти ее сумочку, сшитую из шкурки молодого

оленя, в ней лежали ее украшения, а главное — кукла-божок.

Так в роду Пагиных оказалась Ёмас-эква.

Пагин и Ёмас-эква стали жить в отдельном чуме. По утрам он уезжал торить тропу, а Ёмас-эква оставалась одна: кормила собак, которых было так много, что она с трудом их различала. Одни были обучены ходить на соболя, белку, другие — на птицу, а самые степенные, с виду угрюмые, умели находить медвежьи берлоги. После она разводила огонь в чувале, садилась возле него и шила одежды из шкур, напевая нескончаемую песню лесов и снегов. Она не испытывала ни тоски, ни страха, как все женщины, живущие в чумах.

Бег оленей первыми улавливали собаки. Они не лаяли, а повизгивали, выскочив из-под нарт, или начинали бегать по нартовому следу взад-вперед. Пагин всегда торопился домой. Сердце его билось от радости, когда издали он видел фигурку Ёмас-эквы. Он любил прикосновение ее рук, когда та помогала ему стаскивать тяжелый савик, пахнущий ветром и снегом; любил, когда, лежа на шкурах, она расчесывала гребнем его волосы, перебирала их тонкими пальцами. Тогда молодой оленщик погружался в полузабытье и, обнимая свою избранницу, засыпал.

Однажды ночью, когда луна закатилась за лес и темные тучи поплыли над снежной равниной, залаяла собака. Пагин, откинув одеяло, сшитое из шкурок молодого олененка, прислушался. Поднялась и Ёмас-эква. «Кто-нибудь из братьев? — подумал Пагин. — Что-то случилось, если погнали упряжки ночью. — Но по звуку бубенчиков понял, что упряжки чужие. — Таких нет в нашем роду». Собаки, не вылезая из-под нарт, сердито рычали на чужаков, и только окрик хозяина, вышедшего из чума, заставил их успокоиться. У чума стояли

незнакомые упряжки, незнакомые люди. Было видно, что они давно уже в дороге. Уставшие олени тут же легли на снег, тяжело дыша.

Ё мас-эква встала, натянула на лицо платок и стала помешивать в чувале тлеющие угольки, подбрасывать бересту. Яркие блики огня осветили чум, вошедшие с Пагиным люди поздоровались и присели возле огня, потирая озябшие, покрасневшие руки.

Один из приехавших стал развязывать мешок, из которого достал гладкую четырехгранную палку, украшенную с одного конца искусным орнаментом по железу и с подвешенными к ней кисточками. На гранях палки были аккуратно вырезаны квадратики, в которых стояли тамги разных родов. Палка побывала во многих руках и оттого поблескивала, как отшлифованный олений рог. Пагин узнал тамгу старшего брата — вырезанные ножом черточки, похожие на птичку. «Бунтарская стрела», — догадался он. Пагин никогда не видел ее, а только слышал о ней от старших. Он припомнил, что бунтарскую стрелу пускали по чумам перед тем, как идти в далекие набеги или отбивать оленьи пастбища или лесные угодья. У Пагина заныло сердце, ему было страшно оставлять свой чум, свою Ё мас-экву.

— Ты делай тут, — показал незнакомец Пагину очерченный на стреле квадратик и протянул свой острый нож. Пагин решительно покачал головой.

— Далеко собираемся, — пояснил один. — Надо Камень переходить. Надо сабли брать, медный котелок брать! — И, взглянув на Ё мас-экву, добавил: — Платок красивый брать, бусы, колокольчики. Бери лук тяжелый, из семи берез клеенный, бери колчан и много-много стрел. Оленей сытых, крепких бери.

— Нет, — ответил Пагин, и, как заметила Ё мас-эква, незнакомцы насторожились.

— В большой поход пойдет Юмшан.

Взглянув на тамгу брата, Пагин все-таки взял стрелу, но от чужого ножа отказался, вытащил свой, сделанный из кости. Не будь на стреле тамги старшего брата, он вряд ли поставил бы свою. Тамгу Пагин вырезал быстро, привычным жестом, потому что каждую весну метил уши новорожденных оленят. Мужчины, переглянувшись, чуть заметно улыбнулись.

Закипела вода, в плошке растопился олений жир, Ё мас-эква подтащила к огню низенький столик. От угощения гости не отказались. Усевшись вокруг стола, поджав под себя ноги, мужчины подносили кружки ко рту, с наслаждением вдыхали приятный запах еды.

— Наш Пелымской стороны князь Юмшан, сын Асыки-богатыря, зовет вогуличей в поход. Он собирается идти за Камень, — сказал один из приезжих. — Через Великий Камень есть много дорог. Есть тайные тропы зырян, еще больше вогульских. Юмшан знает их.

— Бунтарская стрела вся истерта. Много вогуличей ставили тамгу? — спросил Пагин.

— Много, — был ответ. — Оленей гони к подножию горы Нёр-ойки...

Вогуличи — народ немногословный, к тому же они, по-видимому, торопились, потому скоро зазвенели колокольчики, упряжки убегали в ночь. Им вслед запоздало тявкнула остроухая серая бельчатница.

Пагин по-настоящему не понимал, что значит поставить тамгу на стреле. После отъезда гостей он стал припоминать рассказы стариков о том, как вогуличи, вооруженные луками и стрелами, гоняли упряжки на помощь соплеменникам, живущим на другой стороне Камня. Припоминал, что спускались тогда на плотах по рекам Сылве и Печоре, выгоняли пришлых, занявших вогульские земли, жгли их селения. Остаток ночи Пагин не

спал, все думал о поставленной им тамге, о предстоящем походе за Камень.

Пагин слышал от старших, будто на горе Нёр-ойка живут добрые духи вогуличей и охраняют все переходы через Камень. Он помнил названия тех мест: Гнездо ветров, Рогатая гора, Сердце камней, Бабушкин камень.

Привыкший жить в тишине, разъезжать по необозримым просторам оленьих пастбищ, он никогда и не думал, что кто-то может вмешаться в его жизнь, изменить ее. А с тех пор как в чуме появилась Ё мас-эква, в душе поселилась радость, и он вовсе не помышлял ни о каких переменах. Ему совсем не хотелось ехать к горе Нёр-ойка. Его успокаивало только то, что старший брат поставил свою тамгу, а он всегда знает, что делает.

Е мас-эква, прижавшись к Пагину, тихо спросила:

— Надо идти на Печору-реку? Может, московский князь послал рать на вогуличей?

Пагин ни за что бы не подумал, что тихая Ё мас-эква знает о Печоре и даже способна рассуждать о московских князьях, как его старший брат.

— Откуда ты все знаешь? — не скрывая удивления, спросил он жену.

— Отец ходил за Камень, — объяснила она и заплакала. — У них луки гром делают, дым делают! Старшему брату ноги сломали, охотнику Ляпину голову сломали. Много мужиков совсем потерялось. Плохо ходить за Камень.

Пагин лег на спину, положил голову на руки и смотрел вверх, где через отверстие в чуме виднелось черное небо. Ё мас-эква крепко держала его за руку, боялась предстоящей разлуки. А Пагин, она знала, непременно уедет: вогуличи всегда крепко держат данное слово.

Рассвет только начинался, а Пагин уже мчался в самое большое стадо оленей. Е мас-эква, оставшись одна,

развела огонь. Возле чувала, как немые свидетели, лежали мелкие стружки от поставленной тамги на бунтарской стреле. Она торопливо смела их глухариным крылом на берестяную кору и бросила в огонь. Они вспыхнули в пламени и погасли. В чуме сразу стало темно. Гортанный крик заставил вскрикнуть Е мас-экву. Она не узнала голоса Пагина. Выбежав из чума, увидела несущихся навстречу ей оленей. Снежные вихри поднимались в воздухе, сверкали и серебрились в скупых лучах солнца. Заунывно свистел ветер в голых ветках берез. С развесистых веток сосняка медленно падали белые шапки снега.

— Эге-ге! — кричал Пагин, погоняя, а быть может, приучая одичавших на воле оленей к хозяйской руке и голосу. Большегрудые быки с длинными бородами, ветвистыми рогами показались Е мас-экве необычайно красивыми. Она радостно побежала им навстречу и обняла за шею коренника. Бык зафыркал, насторожил рога. Пагин засмеялся, неожиданно поднял Е мас-экву на руки и занес в чум. Такое обращение с женщинами у вогуличей было не принято. Попадись Пагин кому-нибудь на глаза в этот момент, его непременно бы осудили. Но их никто не видел, только небо, ветер да присмиревшие собаки.

Казалось, Пагин боится разлуки. Задумавшись, он долго сидел на шкурах, часто останавливал взгляд на Ё мас-экве, совсем не подозревая, что, может быть, видит ее в последний раз.

Она проводила его так же, как делала это каждое утро. Но сейчас, оставшись одна, Е мас-эква вдруг чего-то испугалась. Войдя в чум, она почувствовала себя одинокой и брошенной. Конечно, она привыкла к постоянному ожиданию, но сейчас это было не то одиночество, когда за делами и заботами быстро проходит день. Она

залезла под оленью шкуру, укрылась с головой и лежала, сжавшись в комочек. Из глаз покатились слезы. Она вспомнила радостные дни встреч с братьями и их семьями, поездки с Пагиным на берега Лозьвы и то, как они заезжали к соседям — Ивашке или Есаулке, у которых было много детей.

Откуда ей, простой вогулке, было знать, что поставленная тамга была знаком верности князьям. Не могла она знать и о том, что живущие за камнем на Печоре русские жалуются на беспокойное житье московским князьям: что вогуличи не дают им покоя. В свою очередь, пермские воеводы стращали вогуличей тем, что прибывшие из Московии князья доберутся до них и сожгут их идолов, возьмут в полон жен и сестер. Уже не раз вогуличи ходили за Камень с луками и стрелами. Водил их отец Юмшана Асык. Причиной похода было навязанное христианство и уничтожение их идолов. Асык тогда тоже посылал бунтарскую стрелу, и целый год люди гоняли упряжки по чумам и паулям. Собирая вогуличей по бунтарской стреле, он готовился нанести жестокий удар зырянам и вогуличам, принявшим чужую веру, а главное, уничтожить Пермского епископа, чудотворца Усть-Вымского Питирима.

То был памятный поход, о нем по сей день рассказывают в чумах. Послушные Асыку вогуличи с великими трудностями перегнали упряжки через Камень и долго дожидались вскрытия рек, затем они связали плоты и со страхом пустились на них по полноводной Вычегде.

Сам Асык, не распрягая упряжек, несся на нартах по холмистым, покрытым первой травой берегам, не выпуская из виду плывущих на плотах соплеменников. Помощниками у него были бродячие люди. Они приносили ему вести об епископе Питириме.

Прибыв в Высокий бор, он узнал, что на город напасть нелегко: он окружен высоким частоколом и охраняется вооруженной дружиной. Утром вернувшиеся лазутчики донесли Асыку, что в воскресный день епископ Питирим отслужит молебен на мысу.

Приплывшие на плотах вогуличи, вооруженные стрелами и луками, хоть и дрожали от холода, но радовались, что они уже на берегу. Их радость была недолгой. Асык приказал им нарубить густых верхушек елей и сосен и набросать их на плоты, чтобы издали они казались плавучими деревьями, подмытыми напором весенних вод. Все так и было сделано.

И вот наступил воскресный день. Асык в нарядной малице стоял на крутом берегу и смотрел в сторону города. В буйной поросли мхов и брусничника тонули его сшитые из лосиной кожи, просмоленные легкие бродни. В лесу куковала кукушка. Асык волновался, он глядел на реку в надежде увидеть какую-нибудь плывущую из города лодку. Он был уверен, что живущие у реки не могут не проплыть по вскрывшейся реке, как и он, который не мог утерпеть, чтобы не обновить первый снег, не промчаться по нему на нартах. Асык не ошибся. На верткой лодчонке по крутым волнам плыл незадачливый мужик, не подозревая о грозящей ему опасности. Он осматривал берега, глядел на прилетевших уток, неистово крякающих при виде прошлогодних гнезд. Вогуличи схватили мужика, когда тот проплывал мимо забросанного ветками плота, и поволокли на берег. Перед гордо стоящим Асыком испуганный мужик, предчувствуя свой смертный час, упал на колени, стал неистово молиться, просить о пощаде, но вогуличам его речи были непонятны. Один из бродяг, кое-как понимавший по-вогульски, подтвердил, что к полудню епископ Питирим пойдет на молебен на мыс. Асык облегченно вздохнул, пнул в грудь

перепуганного мужика и кивнул в сторону реки: набежавшие вогуличи схватили несчастного за ноги, за руки и бросили с обрыва.

Плоты поплыли к мысу. Асыку не терпелось расправиться с Пигиримом, вина которого, по его мнению, была в том, что многие вогуличи изменили своим богам, стали молиться чужому Богу, ходить в храм, носить на груди кресты.

Жители небольшого городка, со всех сторон окруженного лесом, с радостью молились в соборе. Добросердечный отец Питирим нес Христово слово людям безбоязненно, обращал заблудших в веру. Своими трудами и скромным образом жизни он умел убедить невежественные племена, что христианство — основа жизни.

Окончив литургию, по заведенному обычаю отец Питирим с посохом в руке в сопровождении духовенства и всего народа отправился на мыс.

В чистом, высоком небе птицы летели к своим гнездовьям. Кто-то еще с вечера поджег прошлогоднюю, отсыревшую траву на пустоши, готовя пашню, и едкий дымок тянулся вдоль берега, прятался в кустах. Впереди виднелось обширное поле, образуемое слиянием рек. От промерзшей за зиму земли тянуло сыростью. На взгорке сквозь прошлогодние пересохшие стебли проклевывалась изумрудная зелень молодой травы.

Убеленный сединами Питирим с пением священных псалмов, неся крест и Евангелие, шел впереди молящихся. Народ собрался вокруг любимого батюшки и молился вместе с ним.

Вдруг кто-то из молящихся на берегу бросил взгляд на плывущие по реке деревья и увидел среди них человеческие фигуры. Было совершенно очевидно, что за ветвями прятались люди. Плоты подгребали к берегу. Все почувствовали опасность, но молитвы никто не прервал. Один клирик, незаметно отделившись от толпы, приги-

баясь к земле, побежал к берегу и, удостоверившись, что на плотах вооруженные люди, робко подошел к владыке предупредить его об опасности. Питирим, как свидетельствует об этом летописец, «о семъ тайно поразсуждая, уведа свою кончину, уразуме и сказа, что хощетъ быти».

Асык, во все глаза наблюдавший за молящимися, не упустил из виду эту сцену. Тугая стрела просвистела над толпой и сразила клирика наповал. Всеобщее смятение охватило беззащитных верующих. На берегу поднялись вопли, плач. Защищаться было нечем. Было одно спасение — бегство в город. Но как они могли оставить своего пастыря, своего отца и благодетеля? На мыс с криком и свистом взбирались вогуличи и помогавшие им бродяги. Завизжали в воздухе стрелы. Раненые стонали, призывая Бога на помощь, убитые падали, обнимая руками землю. Святитель Питирим в этот трудный час был, казалось, невозмутим. Он стоял, повернувшись в сторону города, и крестил Усть-Вымь, монастырь, церковь, говоря людям: «Братья и чада мои возлюбленные! Господь Бог восхотел предати мя немилосердным вогуличам на смерть, и час отшествия моего от сего временного жития к вечному уже приспел... вам же, чадам моим, оставляю мир и благословение: любите Бога, любите друг друга, любите и врагов своих сих. Господь спасет вас смертию моею от гнева их и ярости... Храните православную веру». И, не страшась криков и стрел, паства слушала своего пастыря, проливала горестные слезы и не трогалась с места.

Пораженный непоколебимостью владыки Асык, не раз догонявший бежавших в панике жителей селений, на которые он внезапно нападал, на этот раз не мог понять, почему беззащитные люди, обступившие со всех сторон своего владыку, стоят на месте.

Три шамана забили в бубен, поддерживая вогуличей.

— Не сетуйте и не скорбите из-за меня... отыдите от мене вскоре, дабы и вас не постигла... некая беда: аз бо не хощу укрытися или бежати, за Христа и святую веру православную мучения прияти и смерть вкусити готов есмь, — просил Питирим.

В это время визгливая стрела с костяным наконечником угодила в грудь владыки. Он, подняв руки к небу, сделал несколько шагов, но продолжал творить молитву.

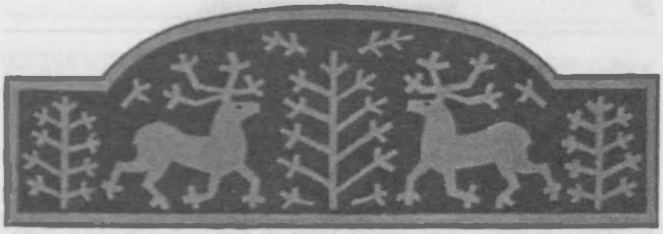
Когда вогуличи подошли совсем близко, молящиеся, выполняя просьбу священника, оставили его одного и отошли к городу.

Бесстрашие Питирима, его желание смиренно принять смерть во имя Христа удивили Асыка. Он первым подбежал к нему и взглянул в его спокойное, побледневшее лицо. Вогуличи, принявшие веру, кричали: «Торум! Торум!» Они пытались сказать соплеменникам, что перед ними большой человек, сравнить которого можно только с верхним небесным богом — Торумом.

От бесстрашного взгляда владыки Асык оторопел, но смятения своего не показал перед соплеменниками, лишь попятился под взглядом священника, который, сделав еще несколько шагов, упал замертво.

Бездыханное тело епископа Питирима лежало на взгорке. Разразившийся первый весенний гром, яркие молнии на небе казались предвестниками большой беды. Вогуличи бросились бежать, они забыли, зачем сюда приплыли, забыли о приказе Асыка напасть на Усть-Вымь, поджечь избы, растащить по бревнышку церковь. Их сковал страх перед высшими силами.

Асык отступал, не желая нигде останавливаться, ни с кем не вступать в схватку, он чувствовал за собой погоню княжеских дружин. Тайными тропами он спешил уйти за Камень. Там, за каменными стенами, он всегда чувствовал себя спокойно.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Прошел день, тихо подкралась ночь. Ёмас-эква так и не вставала с постели. В ночной тишине она ни к чему не прислушивалась, знала, Пагин уехал надолго. В отверстие в чуме она видела яркие звезды. Приглядевшись к ним, она отыскала на небе «лыжную дорогу мужчин». По ней убегал от людей лось, — вспомнила она сказку. Гонялись за зверем потому, что он был священным — с шестью сильными ногами. Лось мог легко убежать от каждого, но нашлись смельчаки, обменяли у русских на меха сабли и топоры, загнали зверя в гористое ущелье и отрубили ему две ноги. «Вот теперь будешь как все», — и отпустили, довольные. Застонал зверь, сказал по-вогульски: «Ладно, люди, ешьте мое мясо, но дух мой улетит к Торуму. Буду глядеть на вас с высоты!»

С тех пор лоси перестали быть священными. Люди стали охотиться на них, есть их мясо. Но как-то заметили на небе россыпи звезд, похожие на комочки снега, которые выбрасывались из-под лосиных копыт, и назвали звездную дорогу «лыжной дорогой мужчин».

Ёмас-эква отыскивала яркие звезды на небе, расставляла их, как ей хотелось, и в мыслях улетала

далеко-далеко. Спала она плохо, просыпалась от свиста и завывания метели. Проснувшись, по привычке собрала постель: скатала оленьи шкуры и боязливо вышла из чума. Встретил ее колючий ветер. На середине реки с силой переворачивались снежные волны, издавая звуки, похожие на стон. Быть может, так было всегда, просто раньше она не обращала на них внимания. Теперь ей почему-то все казалось зловещим и полным какого-то тайного смысла. Может, ей было не по себе оттого, что рядом не было собак, встречавших ее обычно радостным повизгиванием.

Ёмас-эква впервые в жизни испугалась чего-то неведомого, она боялась возвращаться в чум, будто и там тоже поджидал ее какой-то злой дух. Она пожалела, что не достала домашних божков, сложенных в берестяном коробе.

След от нар Пагина припорошило, но он еще виднелся на снегу. Присев на корточки, она провела ладонью по нартовому следу. Ее губы задрожали, и она, проглотив комок слез, стала осматривать стоявшие поодаль нарты с домашним скарбом. В коробах хранились нарядные малицы, кисы, тынзяны, ловушки для рыб, охотничьи луки и стрелы. «Может, мне поехать за Пагиным? — мелькнуло в голове. — Я умею стрелять из лука!»

И, поддавшись соблазну, не раздумывая, не рассуждая, Ёмас-эква стала убирать нехитрое хозяйство чума в пустые короба. Делала все быстро и ловко. Она сняла с высокого кола петлю ременной веревки, обматывающей тяжелые шкуры чума, лежащие на сосновых жердях-опорах и отскочила в сторону, боясь быть засыпанной снегом, но слежавшиеся под снегом шкуры не сползали. Пришлось несколько раз ударить по жердям. Снег медленно пополз вниз, оголяя конусообразно

поставленные жерди, похожие на скелет большого животного. Нелегко было Ёмас-экве разбирать чум, оставлять скарб, но она знала: никто не дотронется до коробов. У вогуличей так принято: чужое не трогать.

Ёмас-эква, погоняя оленей, боялась оглянуться и посмотреть на место, где стоял их чум. «Мы обязательно вернемся», — бормотала Ёмас-эква, погоняя упряжку по широкому руслу Лозьвы реки. Она гнала упряжки по следам, но не могла различить, чьи они: Пагина или приезжавших ночью мужиков. Скоро олени сами свернули в русло небольшой протоки. Там стоял чум одного из братьев Пагина. Ёмас-эква издалека услышала женский плач. Это плакала жена среднего брата. Раньше бы Ёмас-эква терялась в догадках: что случилось? Теперь же причина горя женщины была ей понятна. Она осталась с детьми одна. «Плохую стрелу послал Юмшан», — подумала Ёмас-эква. Она знала, что средний Пагин уже ходил за Камень. После похода в их чуме появились медный котел, два топора, красное сукно, блестящие цепочки... Но как понимала Ёмас-эква, жена среднего брата отдала бы все это, лишь бы он не уезжал, остался с ней и детьми.

— Боюсь, боюсь! — закричала женщина, увидев Ёмас-экву. — Там все дрожит, как заяц, — показала она на свое сердце. — У русских палки огонь бросают, гром делают, — рассказывала она о встрече мужа с русскими за Камнем. — Тарху ногу сломали, Ляма совсем кончили.

Ёмас-эква вспомнила покалеченных мужиков с Лозьвы-реки. Жена среднего брата перестала плакать, встала напротив Ёмас-эквы и шепотом продолжила:

— Сюда русские придут. Будут огнем чумы жечь, оленей брать, баб таскать, детям головы топором рубить. Князь Юмшан хитрый, ловкий. Отец его, князь Асык,

много раз ходил за Камень. Знает много троп и щелей в каменных горах, слово знает, умеет горы поворачивать.

Говоря так, она не догадывалась, что разжигает в молодой женщине желание собственными глазами посмотреть на страшных русских мужиков и каменные горы. Жена среднего брата, всхлипывая и причитая, легла на шкуры рядом с детьми и показала место, где может лечь Ё мас-эква. Но Ё мас-эква мысленно уже мчалась на упряжках в сторону Великого Камня.

— Ложись, — сказала жена среднего брата.

— Нет, поеду.

— Куда? — удивилась женщина.

— К отцу, в чум старшего брата.

— Но он же поставил тамгу на бунтарской стреле, значит, и он погнал упряжки.

Но Ё мас-эква была уже за чумом и погоняла оленей во весь мах. Подъезжая к чуму старшего брата, она услышала звуки санквальтапа. Старый Пагин, проводив сыновей к Великому Камню, не поленился достать старый, почерневший от времени инструмент и сейчас протяжным пением выражал свое настроение — тоску и тревогу за сыновей. Голова старика была похожа на запорошенный снегом пень. Его глаза видели плохо, и появившуюся в чуме Ё мас-экву он не узнал. Сидя на шкуре, подогнув под себя ноги, он перебирал узловатыми пальцами струны, сделанные из оленьих жил и склеенные рыбьим клеем.

Песню о семи лозьвинских богатырях, которые вышли из вод этой реки и обхитрили сильного богатыря Тогтойку, знали все.

Пальцы старика, скрюченные, как лапы когтистой птицы, разжались. Песня оборвалась. Он положил санквальтап и потер руки, давно не державшие инструмент. Только тут, приподняв голову, он увидел сидящую

с покрытым лицом Ёмас-экву. Быть может, он и не узнал бы ее, но соскучившиеся по хозяйке собаки, прибежавшие за нартами Пагина, скулили наперебой.

— Я хочу догнать Пагина, — неожиданно для старика сказала Ёмас-эква. Старик поперхнулся и, не сразу подобрав слова, застучал ладонью по шкуре. Потом строго спросил:

— Как в твою голову залетела такая мысль?

— Юмшан всегда возит с собой жен: на охоту едет — везет, на Молебный Камень гоняет оленей — бабу везет! С вогуличами к русским ходит — бабу везет! — был ответ Ёмас-эквы.

— Замолчи, болтливая девка! — закричал он. — Юмшан князь! У него оленей больше, чем комаров на нашем болоте. Вон там твое место в моем чуме! — строго сказал старик и бросил ей шкуру, выдернув из-под себя. У него пропало желание снова взять в руки инструмент, чтобы спеть еще одну песню о Ялыус-ойке — медведе — хранителе покоя в лесах за Камнем, куда погнали оленей его сыновья.

— Юмшан, Юмшан, — бурчал старик. — Разве могут Пагины равняться с Юмшаном? Он давно не живет в чуме. Ему, как татарским мурзам, построены юрты. Много юрт. Он богат, ездит на белых упряжках. Охраняющие его вогуличи носят полные колчаны стрел, рядом с ним люди, снимающие с ног унты, стаскивающие с него савик. Отец его, мудрый Асык, не один раз ходил за Камень, много привозил добра, много русских баб. Потом отдавал их вогуличам. Русские бабы хорошие, крепкие.

Он умолчал, что и ему Асык давал русскую бабу, да она мало жила, сама утонула в реке.

— У русских много сабель, шлемов, бердышей, которые выбрасывают огонь, — продолжал он.

И чем больше старик рассказывал о русских, тем сильнее Ёмас-эква хотела ехать к верховьям Лозьвы-реки, чтобы увидеть все своими глазами. Но чтобы не перечить старику, она молчком улеглась под шкуру и закрыла глаза. Перед ее взором стоял князь Юмшан. В ее представлении он был высокого роста, с большими черными глазами и длинными волосами: «У него, наверное, длинные косы!» Ношение кос у вогулов было признаком веры человека в потустороннюю жизнь. По поверьям вогуличей, душа человека должна добраться до Торума по шнурочку, сделанному из волос. После смерти косы расплетались, отрезался пучок волос с затылка умершего. Все родичи тоже отрезали у себя по пучку из-за левого уха, с сердечной стороны, и клали на грудь умершему. Так, по волосам оставивший земную жизнь вогулич мог добраться до «Мыса жизни».

За чумом послышался кашель, Ёмас-эква узнала жену старшего Пагина. Она плакала, жаловалась, что у нее болят ноги, что в руках нет силы, что она устала запрягать оленей, заготовлять дрова, ходить на реку проверять сети. Все это делал старший сын, а теперь он уехал, поставив тамгу на бунтарской стреле. По всей видимости, она хотела разжалобить Ёмас-экву, оставить ее в своем чуме помощницей.

— Мужики всегда ставили тамгу на бунтарской стреле, — строго сказал старик, он этим дал понять, что не одной ей тяжело, когда мужчины уходят в поход. — Быть может, он привезет тебе и твоим детям много тканей на рубахи, а мне саблю и топор.

— Не надо мне ничего! — закричала женщина и выскочила из чума. За ней побежали ребятишки. Они кричали и плакали, не понимая, кто обидел их мать.

«Буду догонять Пагина!» — решила Ёмас-эква, и лоб ее от страха покрылся мелкими капельками пота.

Она уже не могла освободиться от назойливой мысли догнать мужа. Ей хотелось самой увидеть все, быть может, побывать за Камнем. Она представила удивленные глаза мужа, но предположить, что он ей скажет, не могла.

Дождавшись ночи, когда в чуме не стало слышно всхлипываний золовки, Е мас-эква стала медленно ползти к выходу. Она тащила за собой большой савик, зная, что без него не обойтись в долгой дороге. В углу храпел старый Пагин. Прижавшись к матери, спали набегавшиеся по снегу, наигравшиеся с собаками ребятишки. Оказавшись за чумом, Е мас-эква успокоила собак, погладив их по запорошенным снегом спинам, запрягла оленей и, затащив на нарту большой савик, плашмя упала на него. Она приподняла хорей над оленьими спинами, и те, сделав первые, несмелые шаги, побежали в ночь.

Студеная мгла окутывала и серебрила дали. Впереди виднелись и поблескивали полозья от пробежавших упряжек. Олени, почувствовав умелую руку хозяйки, бежали быстро. Скоро дорога по Лозьве-реке свернула с поймы, пошла мелколесьем и незаметно оказалась среди темного леса. По-видимому, дорога эта, оставлявшая в стороне мысы и плесы, была давно известна людям.

Е мас-эква прислушивалась к каждому шороху. Она никого не хотела встретить, хотя и понимала, что свернуть с оленьей тропы некуда. А ветер раскачивал верхушки кедрачей, вспугивал мелких зверюшек. Тропу пересек заяц-беляк. На заре из снега вылетели белые куропатки, полетели в сторону березняка клевать почки. Е мас-эква вспомнила, что на нарте под шкурами лежит мороженое мясо, которое она поест, как только остановит упряжку, чтобы дать передышку оленям. Встретив болотце, она отпускала оленей кормиться. И только к ночи, подогнав их к нарте, ложилась между их спинами или заползала под брюхо оленихи и засыпала.

Дня через три она увидела вершины Великого Камня.

Великий Камень! Сколько тайн и легенд хранят о тебе народы. Кто сосчитал, сколько рек и ручьев берет начало с твоих вершин и отрогов! Сколько тайных троп проложил человек в поисках своего счастья и удачи?! И какими еще богатствами удивишь ты, Каменный великан?!

Ё мас-экве стали попадаться на пути каменные валуны, дорога завиляла: то выводила на берег реки, то вновь пролегала среди леса.

Тут Ё мас-эква увидела, что весь снег изрезан нартовыми следами, она уловила запах дыма, даже олени прибавили бег. Как давно она не ела горячей пищи и не грелась у огня! Мысли ее стали путаться, и только откуда-то доносившиеся удары бубна вывели ее из забытья.

Упряжка остановилась возле поляны у подножия горы, где горели костры: охотники и оленщики отдавали почести убитому медведю, воспевали главного посредника между Торумом и людьми. Гремели бубны шаманов. Одетые в меховые шапки с пришитыми на макушках семью разными лоскутками, они молились и просили у горных духов помощи в походе.

Лозьвинские и пелымские вогуличи страшились снежных зубцов Великого Камня, его ущелий и каменистых троп. Привыкшие жить среди лесов, озер и болот, они боялись колдовской силы Торума, сумевшего создать такие высокие, крепкие стены, которые разделили людей, оставив жить их по разные стороны: одних на стороне восхода солнца, других — на закате.

Они не знали, что их князья гоняли упряжки к вогуличам Ляпинской и Куноватской стороны, подговаривали напасть на селения по берегам рек Печоры и Вишеры, отобрать у их жителей медные и железные

изделия, ткани, украшения из камней. Те, кто бывал в набегах за Камнем, боялись встречи с русскими, охраняющими свои города.

«Где я здесь найду Пагина? — подумала в растерянности Е мас-эква и даже испугалась возможной встречи. — Пагин будет бить меня ремнем». Она понимала, это он должен будет поступить так. Иначе как родичи отнесутся к нему? Жена должна повиноваться мужу. В глазах Е мас-эквы зарябило, земля будто закачалась. Стоило ей положить хорей, как уставшие олени сразу улеглись возле нарты, а перед ее глазами снова закачалась земля. Воздух был наполнен каким-то гулом, не похожим на завывание ветра или метели. Она давно стащила с себя тяжелый савик, который обычно надевают во время дальних поездок. Она сразу поняла свою оплошность, как только услышала сзади гиканье, крики и свист. Женская верхняя одежда вогулок бросается в глаза своей яркостью, замысловатостью узоров. Прямо на нее неслись белые упряжки. Е мас-эква была ни жива ни мертва. На нартах в белых одеждах с луками наизготове сидели лихие наездники. «Юмшан едет», — мелькнула мысль, но уже не было времени надеть савик, чтобы стать незаметной. Она увидела длинную нарту, по краям обитую блестящей жестью, на которой с хорем в руках гордо сидел большой человек. Савик, сшитый мехом вовнутрь, сверху был покрыт темно-зеленой парчой, расшитой золотыми нитками. «Наверняка это сам князь Юмшан», — опять подумала Е мас-эква и зажмурилась, спрятала лицо в холодные ладони. Вдруг совсем неожиданно одна из упряжек остановилась. Она едва успела натянуть на лицо платок, прикусить его зубами, оставив узкую щелочку, через которую видела, как, ловко соскочив с нарты, к ней торопливо шел высоченный человек.

— Кто ты? — спросил он онемевшую от страха Ёмас-экву. — Или тоже на бунтарской стреле ставила тамгу? — усмехнулся незнакомец.

Она, онемев от страха, невнятно пролепетала:

— Пагин тут. Пагин.

Человек бесцеремонно сдернул с ее головы платок. Ёмас-эква ойкнула, упала лицом в снег. Чьи-то крепкие руки приподняли ее, бросили на нарту, прикрыли шкурами и ловко привязали ременными веревками. Все случилось быстро и неожиданно. Упряжки помчались во весь мах, комья снега летели из-под копыт. Ёмас-эква, вне себя от страха, не понимала, что происходит, ей казалось, что все это сон.

Вдруг упряжки остановились, она лежала, уткнувшись лицом в меховую шкуру, ей хотелось умереть, принять от Торума наказание. Но в это время кто-то развязал веревки и понес ее, завернутую в шкуру, на руках. Она оказалась в большом чуме из белых шкур. В чувале ярко пылали сухие поленья. Подслеповатый услужливый вогул молча поднес ей чашку, выдолбленную из осины и разукрашенную узорами. Вкусно запахло вареной олениной, перед ней на столе лежали кусочки сухого русского хлеба. Ёмас-эква проглотила слюну. За многие дни в дороге она оголодала, отощала, но дотронуться до еды боялась. Слезы потекли у нее из глаз.

— Ешь, — тихо сказал вогул.

Для Песика, слуги Юмшана, появление в чуме женщины было делом обычным. Кто-кто, а уж он-то, все время находившийся возле своего господина, знал, Юмшан жен не считает. Бедные сородичи сами привозили ему подрастающих дочерей, и он не оставался в долгу: слал в ответ большие стада оленей за привезенных «невест».

— Ешь, ешь, — повторил слуга. — Юмшан любит молодых, как весенний листок, баб.

— Я ему не невеста. Мой Пагин пришел сюда. Его позвала бунтарская стрела.

— Теперь твой хозяин Юмшан. Он сердится, когда баба не слушает его. Он может привязать тебя к дереву и оставить на съедение зверям.

Кто знает, правду ли говорил старый вогул или просто стращал Ё мас-экву, чтобы она не сердила князя.

За чумом послышалось громкое гиканье. Ё мас-эква задрожала, поникла, как прихваченная морозом трава.

— Юмшан едет, — сказал вогул и сел на корточки возле чувала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В великокняжеской Москве уже знали о мученической кончине епископа Питирима, о своевольных дикарях-вогуличах, совершавших набеги на русские земли. Знали, да не с руки было добраться до них. Да и забот в государстве было множество, главная — нескончаемая война за Казань и Астрахань. До этих ли диких племен, живущих по обеим сторонам Великого Камня?

Усть-вымский воевода Леонтий Русинов был настолько потрясен набегом вогуличей, осмелившихся поднять руку на любимого владыку Питирима, что от печали захворал и при слове «вогуличи» приходил в несусветную ярость, грозился огнем и мечом разорить их и говорил, что даже Великий Камень не станет для его рати преградой. Об этих угрозах вогуличи знали и побаивались его, но они были на своей земле, на которой, говорят, и заяц силен.

Асык не раз нападал на русские поселения. Почувствовав безнаказанность, он сходил на Вятку, сделал несколько набегов на Каму-реку, особенно зорил мелкие починки работного люда на соляных промыслах Строгановых.

«Не стану я гоняться за ними, вылавливать поодиночке. Поведу рать за Камень, в Пелымское княжество. Развелось их на реках Лозьве, Тавде, Туре!» — рассуждал воевода.

Его слова да Богу в уши, но долетели они до пелымского князя. К этой поре Асык уже одряхлел, потерял былую удаль и силу. Это его особо печалило. У него выпали зубы, скоро язык стал облизывать гладкие десны. Но в тревожных снах душа еще рвалась в поход, мысленно он пролетал на упряжках сотни рек и озер, но тело его было будто поймано в капкан.

«Старость! Вот она какая, — размышлял Асык, боясь признаться самому себе в закате своего величия. — Хорошо, сыновей много! — старался успокоить он себя. — Юмшан из них самый смелый. Уже ходил на русичей. Юмшан — первый сын, самый сильный, умный и хитрый. Юмшан весь в меня».

Асык велел прислать к себе главного шамана — старого Ильчита, бубен которого давно почернел от времени и частой ворожбы. Сносилась и колотушка, которую он часто подновлял и расписывал узорами. Ильчит хорошо знал своего хозяина, не раз бывал с ним в походах и сейчас догадывался, что позвал его Асык для большого камлания. С мелкими просьбами он обращался к молодым шаманам, слушал их советы, но ему казалось, что они не так хорошо разговаривают с Торумом, как Ильчит.

Старый шаман был не чужд земных радостей, любил сытно есть, лежать на мягких шкурах возле чувала, млеть от нежных и ласковых рук привезенной к нему дочери бедного охотника. Она расчесывала ему волосы, заплетала косы, гладила икры ног со вздувшимися синими венами.

Проводив посланников Асыка, Ильчит забеспокоился. Может, за ним какая вина? Если бы не было в чуме

Кэсне, он не заставил бы себя долго ждать, тут же помчался бы к Асыку. Теперь же его будто кто-то поймал за руки. Шаман загрустил оттого, что ему придется возвращать отцу Кэсне, которая с недавних пор перестала его бояться и больше не ложилась с ним спать.

Овладев собой, он сказал Кэсне:

— Поезжай к отцу! Пусть отец привезет другую. Ты молода, не умеешь ухаживать за старым человеком!

Перепуганная Кэсне заплакала. Она боялась вернуться домой, боялась гнева отца, который жил в вечной нужде.

— Кто вздумал привести мне такую молодую! — лукаво бурчал шаман, хотя на самом деле пожилых баб терпеть не мог. — Убирайся к отцу, — повторил он сердито, но сердце не выдержало, и, положив руку на тоненькое плечо Кэсне, он тихо сказал: — Отец не будет тебя ругать. Я пошлю ему целое стало оленей.

В эту ночь он не погнал упряжки к Асыку. Когда Ильчит наконец приехал к нему, то увидел шамана с берегов Талтии, который шаманил на топоре; тот лежал на шкуре с закрытыми глазами и говорил: «Вижу, вижу мужиков с саблями, плывут они в нашу сторону. Много, много русичей». Ильчит не смог скрыть своей ревности: стал в гневе сбрасывать с нарт шкуры, пинать вертевшихся у ног собак. Асык внимательно слушал молодого шамана и, согласно кивая головой, вздыхал. Когда тот закончил ворожбу, князь наградил его железным копьем, шаманским халатом и велел с почетом проводить на Талтию-реку. Увидел Ильчит у Асыка и русоволосого шамана с Ивдель-реки — с безлесого каменного места. Его Асык просил предсказать судьбу. Ивдельский шаман был молод, он только недавно, после смерти отца, взял в руки бубен. Смущаясь, он попросил Асыка и Ильчита выйти из юрты, так как его духи слетают

с горных вершин только тогда, когда рядом с ним никого нет.

— Особенный и сильный дух живет на Ивдельской сопке, — пояснил колдун.

К удивлению Ильчита, Асык послушался молодого шамана. Они вышли из юрты. На глаза Ильчита навернулись слезы. «Значит, Асык не верит моему бубну, моей колотушке, моим словам», — с обидой подумал он.

Когда из юрты стали доноситься нечеловеческие крики и вопли, Ильчит и Асык, переглянувшись, заглянули в щелочку и увидели корчившегося в судорогах молодого шамана и услышали голос: «Идут, идут... Плывут к Камню в шеломах, кольчугах, в тягилях». Скоро крики смолкли, шаман то ли уснул, то ли лежал без сознания.

— Надо посылать Юмшана за Камень, — вымолвил Ильчит, подавив в себе обиду и поверив словам молодого шамана. Асык внимательно посмотрел на Ильчита, который всегда ревностно относился к предсказаниям своих соперников.

Асык позвал сына и велел Юмшану послать бунтарскую стрелу и самому собираться в поход.

Скоро обида Ильчита на Асыка прошла. Он был доволен тем, что тот оставил его возле себя.

Князь Василий Иванович Заболотский-Бражник готовился в поход за Камень, имея благословение князя Московского и всея Руси самодержца. Великокняжеские воеводы устюжан, вологжан, галичан должны были плыть на судах «к Вятке, по Вяти вниз, а по Каме вверх в Великую Пермь Югорскую землю воевати». К Василию Ивановичу должны были прибыть казаки, уже побывавшие в битвах под Астраханью и Казанью. Идти за Камень, где леса не только пушным зверем кишат, было делом нешуточным.

Князь Василий Иванович понимал желание московских князей смирить буйные и дикие народы на великом пространстве от Северной Двины до Уральских гор. Собрав войско, Василий Иванович совершил крестный ход с иконой великомученика Георгия Победоносца.

Великомученик Георгий был одним из самых почитаемых святых на Руси. Он был исповедником христианской веры, за что был обезглавлен. На Руси с первых времен христианства его имя давали членам великокняжеского семейства. Уже в 988 году великий князь Ярослав Мудрый при святом крещении получил имя Георгий. После победы над печенегами в 1036 году Ярослав воздвиг в Киеве храм во имя святого Георгия. День его освящения 26 ноября 1051 года вошел в календарь русской православной церкви как особый праздник — Юрьев день. После победы над чудью великий князь Ярослав-Георгий устроил в трех верстах от Новгорода Юрьев монастырь. На иконах святого Георгия изображают юношей-воином на белом коне с копьем, поражающим дракона.

С иконой святого Георгия князь Василий Иванович и совершил крестный ход к чудесному источнику, где позднее был сооружен храм во имя Николая Чудотворца. Со святой верой и крепостью духа отправился он в Устюжскую крепость, где служил воеводой Леонтий Русинов. Крепость была надежно защищена от набегов вогуличей, татар, башкир и бродячих вооруженных ватаг. В ней было пять деревянных башен, носивших названия по тем местам, на которые они смотрели: в сторону вогуличей, в Кречетов угол, на Никольскую церковь, Казанскую дорогу и в сторону Волги. Внутри крепости были сквозные ворота для пеших и проезжих, с крепкими запорами, наверху башен — жилые покои для проезжих купцов и чиновников. В стенах были

сделаны отверстия для ружей. Перед крепостью находился земляной вал, простиравшийся с восточной и южной сторон поселения, он был надежной защитой. В арсенале военной стражи были бердыши, ружья и чугунная пушка.

Василий Иванович знал, что на воеводстве Леонтий Русинов просидел уже пять лет, молва о его крепкой руке разлетелась далеко. Недаром говорили: рать крепка воеводою. Столько же лет спали спокойно жители города, а бродячие ватаги, охочие до погромов, только кружили вокруг да около. Воевода был видным: роста высокого, волосы длинные, русые, глаза карие. Слов на ветер зря не бросал.

У стен крепости за городскими воротами прибывающих ратников принимал воевода учтиво. За земляным валом сам показывал места для рытья и обустройства землянок. Лесу жалеть не велел. Пятидесятников и десятников принимал в воеводской избе. «Береженого Бог бережет, — ответил он роптавшим на то, что не распахнул перед ними ворота крепости. — Люд наш напуган погромами да набегами, еле-еле отстроились». Он боялся, что среди прибывших могут оказаться беглые бродяги.

По прибытии в крепость ратников и боярских детей в городском соборе отслужили божественную литургию, а в память об епископе Питириме сам воевода повел всех на священный мыс, названный «Вятским наволоком», где отслужили панихиду. На душе у воеводы было спокойно до тех пор, пока до его слуха не донесся высокий голос Павлы, певшей в церковном хоре. «Экую силу голос имеет! И годы не берут», — подумал воевода, вздыхая. И вроде совсем не к месту, не ко времени вспомнилась ему Павлица, которую давным-давно надо было забыть. Из-за этой Павлицы — простой крестьянской

девушки — отец грозился хоромы сжечь, все пустить по ветру! Павлица наперед поняла его кручину и не стала томить сердце: пошла под венец с деревенским Пашкой-пастухом. Леонтию отец привез в жены девицу Алену с северного морского побережья без всяких предварительных смотрин. Сам облюбовал жену для сына. Не случись такого — не быть бы Алене замужем. Невесту богатый помор на выданье держал в строгости. Но уже при первой встрече приглянулись они друг другу, заговорили, будто знакомы были сызмальства. Вскоре и под венец пошли. Только один Киприян Карнаухов до последнего с пеной у рта доказывал, что Леонтия «не захомутать!». Он своим ушам не поверил, когда услышал: «Она мне Богом послана». Люди же скоро позабыли суды-пересуды про Павлицу, которая нет-нет, да и тревожила сердце воеводы. Плодовитой оказалась Алена — кажногодно по сыну приносила — один к одному, как груздочки молоденькие: чистенькие, крепенькие.

...А голос Павлы в ушах все звенит, и нет сил освободиться от этого наваждения. «Павла, не тревожь мою душу, — подумал воевода, когда неожиданный грохот потряс воздух. — Неужто лед тронулся? — перекрестился Леонтий. — Слава Господу! Ну, матушка Вишера, теперича на тебя вся надежа. Вот дождемся князя и сразу в лодки, ладьи и к Камню».

Все бросились к берегу. Лед только оторвался от берегов и раскололся во многих местах. По противоположному берегу бежали упряжки с особыми возками, прикрепленными к саням. Яро настегивая лошадей, кречетные помытчики торопились доставить в Москву птиц. Районы Севера на Вишере и Печоре издревле славились «кречатьими и соколиными седбищами». Помытчики знали места гнездования хищников-кречетов. Много их на Камне среди голых утесов, водных стремнин,

печальных кедров. Птицы там водились величиной с большого ястреба. Многие мужики по найму занимались промыслом ловчих птиц. Московским князьям велено было ограждать помытчиков от всяких лихостей и посягательства местных властей. Приписывалось давать им «с погостов корм и подводы». Сокольников освобождали от дани и повинностей. Но и с них был немалый спрос. Чтобы птица не поломала перьев, не заболела в дороге, возки изнутри обивались овчинами, рогожами или войлоком. Для кормления птиц полагалось брать с собой голубей или кур из расчета «на кречета по гнезду голубей или по куряти на день». Везли птиц до Вологды на судах, а оттуда на санях.

Кречет — птица особая: добычу с земли не берет, а бьет на лету. Подлетает под жертву, потом выныривает позади и внезапно ударяет ее. Угадывает под левое крыло, всаживает отлетный коготь в птицу и распарывает, словно ножом. Птица падает, кречет опускается на нее, перерезает горло и пьет кровь...

Московские князья знали толк в соколиной охоте. При царском дворе был даже введен специальный чин — сокольничий. Эти люди должны были смотреть за соколами и кречетами, обучать их. Жили они в специально основанной для них Сокольничьей слободе, где был большой лес и Сокольничье поле. Денег казна на их содержание не жалела. Покупались и строились речные суда, приобретались снасти и особые кибитки для доставки отловленных птиц. «Люди, пожалованные денежным жалованьем и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами, и будучи у тех птиц, пью и едят царское...» Обученные птицы посылались в Персию в качестве подарков. Ценою те птицы были рублей по сто, и по двести, и по пятьсот, и по тысяче, и больше, смотря по птице.

Шествие с мыса задержалось из-за неожиданного ледохода и мелкого дождя. Как правило, крестный ход заканчивался только к вечеру. Сейчас по обеим сторонам грязной дороги, указывая путь, бежали мальчишки с зажженной паклей. А навстречу молящимся шла из города толпа поселян. В руках встречающие несли зажженные свечи. Шли они медленно, прикрывая ладонями огонь от ветра.

Леонтий продрог. Поднимаясь на порог избы, в окне, обтянутом бычьим пузырем, увидел тлеющую над столом лучину. Предвкушая избяное тепло, горячие щи, томившиеся на загнете, торопливо открыл дверь.

— Река пошла, — сообщил воевода Алене главную новость.

— Завтра с бабами сбегаем, отнесем кормилице подарки, — отозвалась жена. — То я и учуяла: ветер поднялся промозглый, видать, река дохнула.

По древнему обычаю, люди продолжали одаривать реку. Ни свет ни заря и стар и млад торопились к реке с узелками, корзинками, бежали бойко, наперегонки, перепрыгивая через лужи, обходили заполненные талой водой колеи сеновозной дороги. Даже посплетничать было несподручно: одно слово скажешь, другое ветром отнесет.

Вместе со всеми бежала, разбрызгивая грязь, и длинногривая лошаденка Ермила Карпова. Пятиведерную бочку, покрытую рогожей, подбрасывало на кочках и выбоинах. Все знали — Ермил везет на берег своей смолокурни деготь. Тут, ясное дело, попал Ермил на ядовитые бабьи языки.

— Набьет ноне Ермил карман, — сказала жена подьячего Серафима. — Сколько лодок надо смолить.

— Каждому деготь нужен. Отовсюду копеечка позвякивает. Экую лошадь купил, слыхали?

— Не ворует Ермил, — защищала мужика Алена. — А без него где брать деготь стали бы, ездили бы по чужим деревням. А тут свой. Сами все с поклоном: Ермил да Ермил Платоныч.

Подьячиха прикусила язык, не найдя поддержки в наговорах на мужика, который, как казалось всем, и сам был просмолен с головы до пят. Слов нет — разбогател Ермил смолокурней. И всех сыновей пристрастил к делу, одному несподручно выжигом заниматься.

— Кто только не просит дегтю! — вздохнула Серафима. — В Москву даже возят — каретным экипажам колеса смазывать.

— Я слыхивала, — поправляя платок на голове, вставила Алена, — будто русское железо, излаженное на угле наших дерев, самое крепкое, и что сабли, серпы, косы, подковы из него делают, и что ржавчина их не берет.

— Больно мне надо знать про энтот деготь. Че хоть им мазать? — хихикнула бойкая чеботариха.

— Ладно Бога-то гневить. Скоко чеботов твой Мишка-чеботарь ратникам нашил? Че ли, без копейки? Ему тоже Ермилов деготь нужон, — вставила свое слово Серафима.

Чеботариха поперхнулась, но быстро нашлась:

— Чеботы да чеботы. А скоко Мишке надобно стежков сделать? Кто хоть знает? У него все пальцы в кровь истыканы.

— Че, наперстка купить денег не хватает?

— Не больно за шитьем Мишка брюхо выправит, не то что твой подьячий: брюхо отрастил, ходит, как баба на сносях. А сказывают: брюхо растет по карману.

Чеботариха чуть было не вцепилась подьячихе в волосы, но тут сзади подошла Ермилова лошаденка и дохнула им в затылок.

— Э, как колеса смазаны — совсем не слышно, — кланяясь Ермилу, сказала Алена, не ввязываясь в ссору товарок.

— Гляди-ка, сзади телеги дегтярница привязана, — примирительно заметила чеботариха.

Алена, чтоб прекратить перебранку баб, добавила:

— Лучшего дегтю для смазывания ран лошадей — нет. Мужики сказывают.

— Не только лошадей, — поддержала подьячиха Алену. — В прошлом годе, сказывают, Ермил отвез старика в коростах к себе в курень, обмазал дегтем, а опосля соскабливал хвойным веником, сгребал золу после обжига да из нее щелок делал. Сам и мыл старика. Так на нем не то что коросты зажили, все тело молодехоньким стало.

— И ссадины, и царапины лечит...

— И вошь не заводится...

— Нет, что ни говори, а Ермил — всем Ермилам Ермил!

Скоро бабы позабыли перебранку и сошлись на том, что все, что делают их мужики, — самое лучшее.

Запахло дымом. На мысу уже было полно людей, горели костры, слышался стук топоров, собаки неистово носились с тявканьем: быть может, ветер разносил по округе запахи берлог, звериных нор и лежбищ.

Бабы обшаривали взглядами берег, отыскивали полынью пошире, поклонившись реке, бросали в воду кусочки сушеной рыбы, грибы, ягоды, орехи. Ветер метался, будто не знал, в какую сторону гнать свои воздушные волны: то кружил на одном месте пучки сухих прошлогодних трав, то клонил голые ветки кустарников к земле, то перебирал их, будто пересчитывал.

Воеводскую жену Алену уважали, все считали, что она под стать Леонтию Русинову. Высокая, стройная,

она переняла стать женщин Поморья, привыкших подолгу ждать прибытия своих мужей из долгого плавания. Сегодня, стоя на берегу, она думала о Леонтии, о том, как скоро понесут его на ладье волны этой реки в сторону Камня, к неверным вогуличам. И сердце ее заныло, слезы покатились по румяным щекам.

— Алена-а-а! — донеслось издали. — Айда домой. Холодище от реки несусветное! — кричали ей бабы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Весной земля задышала пряным духом перезимовавших под снегом трав и хвои. В березняке во всю силу каркали вороны, и трудно было понять: ссорятся они из-за старых гнезд или радуются первым весенним лучам.

— Как горланят! — поднимаясь с постели, буркнул Леонтий и поглядел в тусклое окно, в которое пробивалось солнце. Хорошо выделанные, очищенные от жира бычьи пузыри, натянутые на окнах, пропускали солнечный свет, который так радует сердце.

Рассохшаяся деревянная кровать заскрипела под тяжестью могучего тела воеводы. Леонтий сел, засунул пятерню в бороду, долго и старательно царапал подбородок и щеки. Густые волнистые волосы поблескивали, будто смазанные маслом. Провел ладонью по голове, пересохшим губам. Достал нательный крест, висевший на груди на тоненьком шнурочке, и поцеловал. Перекрестившись, выдохнул: «Господи, помилуй!» Одевался Леонтий быстро, всякая одежда на нем сидела ладно.

— Солнце только встало, а ты на ногах, — тихо сказала Алена, сидевшая у зыбки, привязанной к потолку

гибким березовым очепом. Она кормила грудью малыша, и тот жадно чмокал, захлебываясь материнским молоком.

— Наробился, вспотел, — вытирая пальцем росинки пота на крохотном лбу, говорила она. — Экий будет... — залюбовалась она малышом, но Леонтий понял, что Алена находит сходство малыша с отцом.

В ответ Леонтий не поскупился на ласку. Его рука, большая и теплая, очутилась через прорезь длинной рубахи на ее груди.

— Ночи-то мало было, — прошептала она, обернувшись. У Леонтия на бороде появилась белая капелька молока, и Алена, улыбаясь, смахнула ее.

— Кабы ночь была, — ощущая его ладони на своих крепких бедрах, вымолвила она. С полатей послышался тоненький плач. Алена встрепенулась:

— Пахомка вчерась ноги застудил, зуб у мальца разболелся. — Высвободившись из объятий Леонтия, она проворно очутилась на приставленной к печи лестнице. На полатях вповалку спали мальчишки. Пахомка куксился, протянул к матери руки.

— Пущай спят братовья, — стаскивая мальчонку, шептала она, поглаживая его по голове и спине.

Испив из крынки молока, Леонтий вышел из избы, постоял на крыльце.

Воевода в народе был почитаем. Ему в заслугу ставили заботу об обороне города и то, что московские князья, обеспокоенные междоусобными войнами, послали на устюжскую землю вспоможение для укрепления стен, возведения церкви и постройки съезжей избы. Помогал ему в делах «подьячий с прописью», с правом подписывать бумаги, Трофим Чагин. Мужик он с виду был ладный, но у Леонтия душа к нему не лежала.

«Коли есть в человеке какая червоточина, то рано или поздно все равно покажется на виду», — уговаривал себя Леонтий.

В воеводство он шел прихрамывая: новыми броднями натер пятку, и теперь она саднила, хотя вчера Алена приложила к ней распаренный подорожник.

На крыльце воеводу ждали прибывшие сотники и пятидесятники. На их приветствия он снял с головы шапку, обшитую лисьим мехом. В воеводскую вошли вместе. Он молча слушал жалобы ратников, их ропот и недовольство. Нервничая, Леонтий теребил ус. Со дня на день он ждал прибытия князя Василия Ивановича Заболотского-Бражника, ему многое хотелось успеть сделать к его приезду.

— Ладьи починены, — комкая в руках шапку, сказал седоусый пятидесятник. — Можно на воду спускать.

— Поначалу припасы надобно грузить, — добавил Леонтий.

Тут громкий бабий голос заставил их замолчать.

— Кобели! Как есть, все кобели! — доносилось с улицы.

— Ратники? — крикнул ей в приоткрытую дверь воевода. Обернувшись, она закрыла лицо ладонями и побежала вдоль улицы.

— Оне-е-е, — протянул старик со шрамом на щеке.

— То от вогуличей в леса бегали, теперича от ратников житья нету, — заговорил появившийся Трофим.

— Нашел че сравнить, — сердито сказал воевода, строго глядя на подьячего.

— Зело злы ратники, — подтвердил молодой пятидесятник. — Здесь воли им нету. Это не волжские берега. Тама — простор. Двое ноне убегли. Один утоп.

— Как утоп?

— Лешак его знает. Іде утоп, курица перейдет. Встал в лодке и — кувырк. Никто и не поверил, а достали уже бездыханного.

— Царство Небесное! — перекрестился Леонтий.

Колокол на сторожевой башне ударил три раза. Стих. Все понимали, что это не тревога, но так или иначе насторожились. Одно дело церковный звон, другое — со сторожевой башни.

К Леонтию подвели оседланного коня. Стременной еле удерживал за поводья гнедого рысака. Не заставила себя ждать воеводская прислуга. Постовой со сторожевой башни предстал перед воеводой, доложил сбивчиво, что заметил с башни драку между ратниками. Он был немало сконфужен, когда один из пятидесятников, заливаясь хохотом, сказал воеводе:

— Пустое, то мужики моются да дурачатся. Орут, друг друга калеными вениками хлещут. Мовницу изладили и парятся, холодной водой обливаются. Орут кто во что горазд.

Трофим залился смехом, а воевода приказал подавшему тревогу стрельцу дать десять плетей.

Большинство прибывших ратников были из срединной России и Севера. Жизнь без бани не представляли и потому сотворили здесь нехитрое сооружение: в вырытой землянке сложили в угол гору булыжников, развели под ней костер, накалили, а после на раскаленные камни плескали воду. Многие любили ходить в «первый жар», напялив на голову какую-нибудь рогожину, хлестали друг дружку излаженными из хвои вениками. Тело терли ошпаренной кипятком прошлогодней травой, а после вылетали голышом на вольный воздух и ныряли в заполненный водой ров.

— Народ потревожили, — сердился Леонтий, заметив бегущих к воротам мужиков. И тут же снова

вернулся к прерванному разговору: — Толмачей в дорогу надо, без них с этими нехристями нечего и толковать. С татарами маялись, а уж с вогуличами... — И тут он вспомнил о вогульских толмачах, пойманных беглыми мужиками.

Трофим Чагин сказал, что тех вогуличей увез к себе в курень смолокур Ермил.

Живя в ожидании прибытия князя, Леонтий старался изо всех сил, чтобы в воеводстве было все как следует, чтобы ничто не могло помешать скорейшей отправке в плавание.

— Отыщите Ермила — и в воеводскую!

Привели Ермила ни живого ни мертвого. Был он в тяжелом запое. Новостью это не было ни для кого. Всякий раз как приезжал он торговать дегтем, по городу его водили под руку. Напивался до одурения. Потом старший сын парил его в бане, отпаивал парным молоком. А когда тот трезвел, спозаранку, никому не попадаясь на глаза, садился на просмоленный облучок перед просмоленной бочкой и уезжал в свой курень.

— Где твои вогуличи? — строго спросил его воевода.

Смолокур оживился, расхохотался:

— Золотые люди эти вогуличи. Чистые дитяти. Кабы все были такими на земле, откуда бы злу взяться?

— Тоже мне нашелся, — сердито сказал подьячий. — Дитяти... А что сотворили с владыкой Питиримом?

Ермил, виноватясь, ответил:

— Дале-то я свой ум не распахнул. Жгут вместе со мной уголь, а ни про че другое я не знаю. Вогуличи в куренях. Где им еще быть?

— По-русски-то говорят?

— Говорят. Я их быстро по-нашему разговаривать выучил.

— А по-вогульски не забыли? — Ермил зашелся хохотом, подумав или вспомнив что-то свое.

— К тебе на курень поедем, — решительно сказал воевода.

Ермил замолчал, он не мог взять в толк, зачем вдруг понадобились воеводе вогуличи, на которых и смотреть-то боязно: мало в них человеческого обличья.

— Да они смирные. Живут тише воды, ниже травы... — снова стал защищать инородцев Ермил. — Совсем оне не вражины каки. У нас ведь тоже всякие бывают...

Но воевода уже велел седлать коней.

— Помрут вогуличи, сразу же помрут, — закричал Ермил. — Че вам от них надобно? Я все излажу. Добрые они, кроткие, не наши горлопаны. А вы их порешите! — Ермил, закрыв лицо ладонями, стал жалобно причитать, как баба.

Воевода от своих слов не отступал. Ничего не осталось Ермилу, как сесть на облучок и понужать лошадь, размахивая вожжами над ее спиной. Почуяв лес и свободу, лошадь бежала во всю прыть. Большой деревянный ковш, прилаженный к просмоленной бочке, глухо и дробно постукивал.

Воевода поскакал в курень в сопровождении стрельцов. Ермиловский курень был далеко. Только к полудню стали показываться березы с ободранной корой. Многие сосны, из которых курили смолу, были подсочены. После года подсочки получали «осмол». В воздухе запахло дымом.

— С подветренной стороны заезжайте — древесина тлеет. Угореть можно! — закричал Ермил, приостанавливая лошаденку. Соскочив с облучка, привязал ее к стволу. Затем, заложив в рот пальцы, свистнул. По свисту обычно сразу появлялись вогуличи, которые

ждали его, как малые дети ждут отца, уехавшего на ярмарку. Углежог привозил им гостинцы. Особенно они радовались «огненной воде», которую, правда, больше выпивал сам, вогуличам давал отхлебнуть лишь несколько глотков.

Обшаривая взглядом курень, смолокур удивился, что на свист вогуличи к нему не вышли. «Видно, заметили чужих и испугались», — подумал он и не ошибся. Увидев конников, вогуличи спрятались за большим выскорем.

— Где твои вогуличи? — спросил воевода, подъезжая.

Воеводский конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Во всем теле коня чувствовалась сила и упругость.

— На кой они вам? — осмелел Ермил, но тут ременной хлыст опоясал спину смолокура.

— Ох, ты! — только и смог он выговорить.

Ермил в гневе отскочил.

— Я тебе не холоп! — крикнул он на воеводу, хотя и знал, что за такую дерзость его могут выпороть розгами. Но тут на его счастье появились существа, похожие на людей. Вид их был ужасен. Когда-то сшитые из оленьих шкур одежды истлели на теле, облезли и сейчас висели на плечах грязными клочьями, во многих местах обнажая худое, грязное тело. Меховые кисы от износа и сырости еле держались на подвязках. Двое из них, по-видимому изувеченные при набегах, хромали. Странными прыжками они вмиг оказались возле Ермила.

— Доставить в сторожевую, — брезгливо морщась, приказал Леонтий и, пришпорив коня, помчался обратно.

Под ударами копыт вздрагивала земля. Воеводский конь всхрапывал. Шелковистая грива гнедого, спадая на левую сторону, развевалась на ветру. Дрожа, конь

пошевеливал пышными ноздрями, ловя бодрящие запахи весны. Подскакали к реке. Весь берег был в пылающих кострах. Стук топоров и крики раздавались по всему берегу, эхом улетали вдаль, за леса, к горизонту...

Соскочив с коня, воевода пошел вдоль берега. В стороне ратники, собрав прошлогодние стебли иван-чая, толкали их в сыромятные коты. Увидев воеводскую свиту, не растерялись, вскочили:

— Покоряемся всей воле великого князя и готовы службу служить!

— Теперя уже скоро, — ответил он, глядя на плывущие по реке льдины.

Весь день просидев в седле, воевода, въезжая в распахнутые перед ним ворота, не забыл сказать:

— Толмачам найти место на судне и харч давать, как ратникам. С вогуличей сбросайте в костры вонючую рвань, оденьте их в сермяжные кафтаны, — добавил воевода, отдавая служилому поводья.

От весеннего ветра и солнца пылали щеки, кружилась голова.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ощущая силу Московского княжества, близлежащие вотчины стали проситься под его сильную руку. Великий Московский князь Иван III к этому времени уже именовал себя Рязанским, Ростовским, Тверским, Можайским, Черниговским... Было желание приписать к Московскому княжеству земли Зауральских владений Югры и вогуличей — от Печоры до Северного Урала. Но об этих дальних окраинах были скудные сведения и никакого пополнения царской казне. Поступающая дань в виде мягкой рухляди попадала, скорее всего, из Устюжских и Двинских земель. А рассказы о северном Лукоморье и о его богатствах были похожи на сказки.

Сказочницы-бахарки в царских палатах развлекали тоскующую царицу и царевен былинами о далеких холодных землях, их жителях, мало похожих на обычных людей. По их рассказам, они походили на уродцев, величиной с собачий хвост, носили звериные одежды, а ездили на рогатых низкорослых «лошадках». С криками и гиканьем налетали они на русские поселения...

Новые границы Московского княжества образовывались за счет объединения Центральной и Северной

Руси. Великому князю Московскому предстояло стать во главе национального русского государства. С изменением границ менялась и внешняя политика Московского княжества. До сих пор оно было почти со всех сторон прикрыто от внешних врагов другими княжествами или землями вольных городских общин. С объединением все эти внешние прикрытия исчезли. Московское княжество стало открытым для иноземных государств, не принадлежавших к семье русских княжеств. В этих условиях московское государство стало заводить отношения с иноземными западноевропейскими государствами: Польшей, Литвой, Швецией, с Тевтонским и Левонским орденами. Это уже требовало от правительства глубокого осознания чувства народного единства, русской земли как земли общего Отечества.

Вобрав в свой состав удельные вотчины, всю Великороссию, Московский государь надеялся, что его преемники продолжат его дело.

Пока же русское общество жило по своим правилам и законам. Москва с церквями, монастырями жила строго по заведенным правилам, записанным в «Домострое». Главная роль в семье принадлежала мужчине, его авторитет был непререкаем, женщине отводилась роль затворницы. Даже посторонних взглядов она должна была оберегаться.

Иностранные царевичи, когда узнавали о строгих порядках в Московском княжестве, неохотно ехали в Московию, повторяя устоявшееся мнение о женской красоте: «Толста-толста, бела-бела, красна-красна». Жизнь русских женщин проходила в теремах: они там постились, молились, занимались рукоделием. А достигнув преклонных лет, многие уходили в монастырь.

С момента объединения русских княжеств началось общение великокняжеских семей, все стремились

побывать в столичных хоромах, блеснуть перед царицей великого московского князя. Царицу выбирали по правилам «Домостроя»: устраивали смотрины среди тысячи русских девушек, доставленных «без утайки» со всех концов Московского государства. Избранница после совершенного обряда нарекалась царицею, «Великой государыней царицей». Не показывая своего лица, она могла созерцать дворцовые церемонии, приемы иностранных послов, торжественные царские обеды.

Если царь никогда не пропускал церковной службы, то царица весьма часто не присутствовала на них, а молилась в своей домашней церкви.

В большие праздники: Рождества Христова, Пасхи, по случаю царских именин, рождения царевича, царевен царица устраивала торжественные приемы в Золотой палате или в столовой — в передней палате. Царица сидела за отдельным столом, а по сторонам сидели приглашенные.

Кроме патриарха царица могла принимать окольничих, стольников. Прислуживали ей стольники из малолетних детей. Была у нее и кравчая барыня.

Как правило, наряжали царицу в летник с длинными рукавами, расшитыми золотом. Скроен он был по теремному крою — приближенному к монастырскому: чтобы ни одной складкой не могла она обнаружить форму стана. На лицо не накладывались ни румяна, ни белила, что могло бы скрыть природную красоту. На улицу надевалась телогрея — распашное платье почти до пят, застегнутое спереди дорогими пуговицами. Шилась она из плотной ткани: парчи, бархата, атласа, подбивалась тафтой, а на зиму мехом. Башмаки были с острыми загнутыми носками, шитые золотом, жемчугом, на высоких каблуках — «под пяту воробей пролети, яйцо прокати».

Головные уборы были пышными. Волосы царица скрывала в подубрусник, а поверх надевала убрус, расшитый золотом и каменьями, и кику с рясами — длинными нитями из жемчуга и камней, спускавшимися по сторонам до плеч.

Надо ли описывать наряды княжеских особ, приезжавших на торжества царицы? На приемах находилось множество женщин, служивших ей. С головы до пят они были одеты в белые, подобно снегу, платья без всяких украшений. Стояли они со скрещенными на груди руками, потупив глаза.

И хотя в Твери, Рязани, Ростове, Ярославле и других русских княжествах хоромы были богатыми, палаты разукрашены, добротно излажены мастеровыми людьми, но все они меркли перед палатой, в которой отворялась царская золотая дверь. В центре свода палаты был изображен лев, державший в пасти кольцом свернувшегося змея, от него спускались вниз богато украшенные подсвечники. Со стен смотрели ангельские лики. Над великолепным престолом висела большая икона Пресвятой Девы с Младенцем на руках и предстоящими святыми в золотых венцах, «по коим рассыпаны жемчуг, яхонты и сапфиры». Пол был устлан персидскими коврами, тканными шелком и золотом, на которых искусно были изображены охотники и звери всякого рода.

Многое изменилось с появлением на царском троне второй жены Ивана III, Софьи Палеолог, племянницы византийского императора, выписанной из Италии. Она внесла в царский терем иную жизнь. Поначалу ее появление во дворе не предвещало князьям и боярам никаких опасностей. По красоте и стати Софья уступала своей предшественнице — дочери великого князя Тверского Марии Борисовне — кроткой и набожной, послушной и добродетельной. Даже великолепный царский наряд,

украшенный драгоценными камнями, не мог скрыть полноты Софьи. Но все отмечали ее пристальный взгляд красивых черных глаз.

Она сравнительно быстро усвоила правила «Домостроя», но в силу другого воспитания и традиций иначе оценивала свою роль как царицы. Для нее быть женой Московского царя значило помогать ему в обустройстве княжества, стать советчицей в делах. Не без горести в душе она осознавала, что ее муж является татарским данником, что Московский царь еще мало почитаем в заморских странах. Софья Фоминична — женщина хитрая и немногословная — сразу заметила простоту обстановки и отсутствие церемоний при дворе. Царю приходилось выслушивать от бояр «многие поносные и укоризненные слова». Она считала это недопустимым. Ей хотелось многое изменить. Начала она с мелочей. Так, в утешной палате, где предавались утехам и забавам: играм в шашки, шахматы, вдруг появился выписанный из-за границы орган, который всех удивил. Привезенные музыканты поражали дворцовых особ своей игрой, а главное — изысканными манерами в обращении друг с другом.

Прошло немного времени, и из Италии прибыли архитекторы, мастера. Каково же было удивление москвичей, когда на месте деревянного храма началось строительство грандиозного по тем временам сооружения — Успенского собора, который и поныне удивляет мир своим великолепием. Итальянский архитектор Аристотель Фиоравенти объездил русские города и взял за образец собор в городе Владимире. Успенский собор в его строгих пропорциях и пятиглавии куполов поражал современников красотой и пышностью убранства. Его возведением великий Московский князь стремился подчеркнуть преемственность власти, утвердить могущество

столицы, складывающегося Российского государства. Иконописцы Дионисий, Тимофей, Ярец и Кони долго и старательно выполняли иконостас собора, много трудились над настенной живописью. Иконы для главного собора Кремля по настоянию Ивана III писали лучшие мастера земли русской. Монументальные южные двери покрыты десятью медными листами, на которых золотой наводкой были выполнены библейские сцены, затейливые орнаменты, славянские надписи. Летопись рассказывает, что эти удивительные врата были привезены в 1401 году из Суздаля. Двенадцать огромных люстр-паникадил освещали собор, центральная выполнена в виде снопа пшеницы...

Великий князь Московский Иван Васильевич претерпел немало укоров бояр, нарушив главный закон «Домостроя» — он дал большую свободу в управлении делами жене. Софья Фоминична принимала живое участие и в постройке Грановитой палаты. Для ее строительства были приглашены итальянские братья Марко и Пьетро Антонио Солярис. Палата стала тронным залом в Кремле. В ней проходили приемы иностранных послов, заседания земских соборов, в ней отмечались важнейшие события в судьбе Русского государства.

В Кремле при дворе завели строгий и сложный церемониал, который придал чопорность придворной жизни.

Царица Софья Фоминична стала пользоваться правом принимать иноземные посольства. С ее помощью царь Иван III стал лучше разбираться в дипломатических делах. Понимая важность политических понятий, он замыслил именовать себя иначе — властителем всей русской земли. Он отважился назваться перед всем европейским политическим миром государем всея Руси. Иван III нашел, что негоже ему называться в правительственных актах просто государем Великим князем,

теперь он стал подписывать бумаги: «Иоанн, Божией милостью государь всея Руси». К этому титулу, как историческое оправдание, он приписывал длинный ряд тех земель, которыми он владел: «Государь всея Руси и Великий князь Владимирский, Московский, Ярославский, Новгородский, Тверской, Покровский, Пермский и т.д.».

С этого времени на печатях стал появляться византийский герб — двуглавый орел. Тогда и зародилась у царя мысль о присоединении северных диких племен. Он знал о многочисленных попытках вятичей, усть-вымцев, северодвинцев, вычегодцев, пермяков прибрать к рукам дикарей, которые время от времени делали молниеносные набеги на деревни, города, разрушая и сжигая их. Князьями предпринимались многочисленные попытки разгромить неверных язычников, заставить их платить дань в виде мягкой рухляди, но все попытки заканчивались неудачно. Причиной тому были многочисленные версты до Великого Камня, где в основном и обитали разноязычные племена.

И по приказу Великого князя Московского воеводы и князья Семен Курбский с боярскими детьми да с устюжанами, вымичами и вычегжанами, князь Петр Ушатый с детьми боярскими да с двинянами, важанами и пенежанами, князь Василий Заболотский-Бражник с боярскими детьми да вятчинами и другим людом, который жил на московской земле, отправились в поход за Камень по разным рекам. Князь Василий Иванович Заболотский-Бражник плыл по левому притоку Камы и дальше по реке Вишере, что берет начало в Уральских горах.

Московский князь Василий Иванович недаром носил приставку Бражник. Стоит ли вдаваться в объяснения и трактовку этого слова? Бражник, он и есть бражник — охотник бражничать, охотник до домашнего,

корчажного пива. С этим прозвищем прожил жизнь и вошел в историю. Грешен был и любил веселую жизнь Василий Иванович, но себе в оправдание твердил: кто пьян да умен, два угодья в нем!

Василий Иванович отличался статью, высоким ростом, волосы у него были русые, лицо смуглое, взгляд имел зоркий. До похода на Камень плавал он на стругах к Каспию, дрался под Астраханью с татарами. Если бы не ранение в лицо, быть может, никогда и не вернулся бы он в великопрестольную. Целый год лечился в своей вотчине у старух-знахарок, не брезговал их советами и снадобьями. Только надоела ему тихая жизнь, заскучал он. Вся родня и соседи стали казаться ему на одно лицо. Заныло сердце по вольной, веселой жизни. Тут и подвернулось для него дело государево: в поход за Камень идти! Не лишку оказалось охотников до далекого края. Дорога в те края никем не меряна. А он, бывалый и бесстрашный, кстати пришелся. Сборы были недолгими.

Плавание на стругах — дело для него привычное. Ладьи с ратниками плыли по Волге и Каме-реке под парусами. Надолго к берегам не приставали, знали, ждут их устюжане со славным воеводой Леонтием Русиновым. Перед их караваном всякий речной озорник берегом проплывал, чтобы остаться незамеченным. Погода несколько недель стояла солнечная. Раздолье. Безветрие. Шли на веслах, веселые песни горланили. Больше про удаль казацкую. Тут же на ладье и очаг на носу, на нем и ушка, и чарочка к ней.

Знавшие Василия Ивановича помнили, что он одно время страдал икотой, особенно после выпитого зелья. Внутри начинало что-то судорожно всхлипывать. И, как утверждали прозорливые знахарки, не обошлось тут без молодухи, которая не упустила случая в наказание за его нелюбовь к ней угостить князя бражкой с хлебом да

с какой-нибудь божьей тварью в виде заговоренной мухи. Когда князь икнул в первый раз, он не помнит, но пристала к нему икота, как наказание. Попервости все со смехом давали советы: три раза Богородицу прочитать, три раза на зорянке водой ледяной ополоснуться... А потом и вовсе спасения не стало, особенно когда за бражную кружку брался, позднее и без кружки в пот стало бросать. Услышал как-то его икоту неказистый мужичишка, остановился и изрек: «У тебя, господине, бесприютная икота. Надо найти лекаря-колдуна». Сказал и потерялся среди толпы ратников.

Пока князь жил в своей вотчине, все хвори будто рукой сняло. Сабельный шрам на щеке старухи залечили, только багровая отметина и осталась. И икота сама собой прошла. А тут на ладьях опять клокотнуло внутри.

— Кто-то вспоминает, тоскует, — сказал молодой боярин Василию Ивановичу бесхитростно, но князю на сердце пала забота: как бы снова не воротилась беда.

— Икота к ведру, ломота — к ненастью, — сказал молодец. — Испейте водицы или потянитесь через себя, — посоветовал он.

В каюту к князю вошел боярский сын Гридя Ивашков с вестью: на берегу горят костры. Это был знак того, что они приближаются к Усть-Вымскому воеводству.

Много дней стоявшие в дозоре вестовые, нахлестывая коней, помчались в город. На сторожевых башнях, заметив конников, распахнули ворота с крепких запоров.

Воевода Леонтий Русинов наконец-то дождался княжеских стругов и готов был хоть завтра отправиться в плавание. Не терпелось встретить долгожданных гостей хлебосольно да показать им городские укрепления, сторожевые башни с ладно устроенными покоями для

приезжих, стены с бойницами, башню с двуглавым российским орлом.

Зазвенели церковные колокола. Для въезда в город князю был подан вороной жеребец: крепкий, низкорослый, на мускулистых ногах, с густым хвостом и гривой, в позолоченной сбруе и расшитой яркой попоне. Боярским детям, сопровождавшим князя, были поданы выездные жеребцы, все как на подбор.

Гуляли три дня широко, но и о деле не забывали.

— Бывал за Камнем? — поинтересовался князь у воеводы. В эту минуту не только его мысли, а, казалось, все его существо было уже в плавании. В душе поселилась трепетная нетерпеливость, впереди их ждала никем не изведанная дорога.

— Бывать-то бывал, — ответил воевода и, предугадывая княжеское любопытство, продолжил: — Нынче вода большая, побарахтаемся в устье Вишеры, нам ведь плыть навстречу волнам да перекатам. Вишера — река горная, своенравная, много силы отнимет.

— Нет такой реки, чтоб без норова! — ответил Василий Иванович. — Наши струги и ладьи немало волн повидали. Поглядим и на вишерские.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Почти одновременно с князем Заболотским-Бражником отправились по северным рекам в Югорию к вогуличам и самоедам князья Семен Федорович Курбский и Петр Федорович Ушатый с детьми боярскими. По дороге к ним присоединялись двиняне, вятичи, пенежане и важане. Держали они путь по реке Двине, потом по правому притоку — Вычегде, а из ее верховий озерными протоками и волоками в бассейн Печоры, дальше по ее протокам на Щогур и через волоки с великими трудностями на Сыгву... Многотрудный поход, как и поход Василия Заболотского, длиной почти в пять тысяч верст!

Скоро сказки сказываются, да не скоро дела делаются. А уж про заболотную, заречную, заозерную, лесистую, зверьем кишащую тьму во веки вечные не рассказать! Чего коснешься, до чего дотронешься, про что скажешь или про что запоешь — все выводит на такую распахнутую ширь, что оторопь берет! Ай да край сибирский, Камнем опоясанный! И мудр был Иван Васильевич — великий Московский князь, об объединении земли русской мечтавший, что повелел отправиться сподвижникам своим за Камень.

Отплывали струги под началом князя Василия Ивановича Заболотского-Бражника с боярскими детьми, воеводской ратью Леонтия Родионовича в сопровождении священнослужителей.

Церковный тридцативосьмифунтовый колокол издал звон тонкий и переливистый. Походная икона, вынутая из войлочного мешка, блеснула на солнце золоченым окладом. На ней был изображен архангел Михаил в княжеской короне на крылатом коне. В устах его труба, в правой руке — восьмиконечный крест, кадило и копье, которым он поражает дьявола — крылатого змия с человеческим лицом, в левой — Евангелие, вверх поднятое. Внизу изображен городок с крепостью и надпись: «Врагу оскудеша оружие в конец, а грады разрушил еси, погибе память его с шумом».

Северные реки имеют свой, только им присущий характер. С момента вскрытия рек и таяния льдов на Великом Камне образуется безбрежный разлив вод. Тогда теряются под водой все берега. Когда через неделю-другую река, оказавшись в собственном русле, мелеет, обнажает перекаты, валуны, приходится спускать паруса и плыть на веслах, а чаще и вовсе, наталкиваясь на топляки, тянуть лодки канатами.

Суда под парусами вошли в устье Вишеры, раскачиваясь на крутых волнах. Безбрежная гладь под высоким солнцем рябила в глазах. Несведущему человеку трудно было определить течение реки. Ориентируясь только по медленно плывущим, вырванным с корнем деревьям, кустарникам, бревнам да по зародам прошлогоднего сена, можно было верно вести караван.

Княжеский карбас с вырезанной из дерева петушиной головой шел ходко, размеренно покачиваясь на волнах, отчего Василия Ивановича постоянно тянуло в дрему. Его каюта была обита расписным войлоком, пол был

устлан шкурами. В изголовье стоял подсвечник. Позолоченная утварь придавала уютный вид. Для удобства плавания князя и боярских детей было предусмотрено все, другое дело — ладьи ратников. По большей части ратники, радуясь теплым дням, находились на палубе, наблюдали за неказистыми верткими обласами, жмущимися к берегам, желавшими быть незамеченными.

У худой молвы быстрые крылья. Рассказами о речных разбойниках полнилась земля, да и сами государевы ратники не особо блюли порядок, не особо задумывались о том, что скажут о них люди. Жили они больше по принципу: у кого сила — тот и прав. Вооруженные саблями да огнеметными бердышами, одетые в шеломы и кольчуги, они наводили страх. Не стало исключением и это плавание.

Они знали, что здесь по берегам живут люди: многие скрывались в местных лесах, сбежав от хозяев-крепостников, от преследователей их веры, или приходили сюда в поисках свободных земель. Кто-то жил отшельником, другие собирались семьями, строили починки в несколько изб, а некоторые устраивали здесь монастыри, уходили от суетного мира.

После трехдневного плавания стали меняться очертания берегов. Чувствовалась перемена местности: вдали просматривались очертания гор, волны стали круче, встречный ветер рвал паруса.

Вдруг из-за поворота показались четыре коча, вниз по течению они шли ходко, с надутыми парусами. Видимо, суда намеревались проплыть, не останавливаясь перед княжеским караваном. Пушечный выстрел с княжеской ладьи привел их в замешательство. Но, не растерявшись, они ответили выстрелом из пушки.

«Бывалые», — подумал Василий Иванович. Он пристально всматривался в плывущие навстречу кочи и отметил, что суда везут большой груз, видимо, они вели большой торг не с дикими племенами, а с богатыми купцами.

Князь был недалек от истины. Воевода Леонтий Родионович распорядился палить из пушки — остановить кочи. Перепуганные торговцы без утайки рассказали Василию Ивановичу, что торговали они с английскими купцами, которые давно нашли путь через море и Обскую губу. Василий Иванович удивился:

— А государю про то ведомо?

— Бог знает, — уклончиво ответил Леонтий Родионович. — Тут по рекам хозяйничают купцы Строгановы. Они царские грамоты имеют. Много добра вывозят в заморские страны. — У Василия Ивановича заходили желваки. — Слыхал, что в Двину заморские суда заходят, а чтоб на Вишеру — не знал, — продолжил воевода. — Тут, в диком краю, пушнину гребут. Про Мангазею слыхал? Туда все бросились. Волоками, ущельями да на горбах таскают ладьи да грузы.

— К берегу их! — скомандовал князь Василий Иванович. Он стоял на носу карбаса, облаченный в кольчугу, а боярский сын Гридя Ивашков на случай шальной стрелы или выстрела прикрывал его щитом. И не напрасно. Несколько стрел с костяными наконечниками просвистели над палубой.

— К берегу! — в ярости подхватил воевода. «К берегу!» — понеслось по реке, и было бесполезно четырем тяжелым кочам вести сопротивление. Ратники орали разноголосо и угрожающе.

Головное украшенное судно, приспустив зеленого цвета флаг, повернуло к княжескому карбасу.

По широкому помосту, перекинутому с карбаса на коч, важно шел низкорослый, с втянутой в плечи

головой татарин. Его сопровождали несколько богато одетых соплеменников, между которыми крутился бойкий рыжеволосый мужик средних лет. По всему было видно, что это толмач.

Обменявшись недобрыми взглядами, первым заговорил толмач:

— Грабить надумали? Если посмеете, дело будете иметь с купцами Строгановыми. От них хан Али Таруй получил свободный сплав по Вишере.

— Купцы Строгановы — еще не Великий князь всея Руси, — холодно и твердо ответил князь, еле сдерживая негодование.

Толмач быстро перевел сказанное татарину. Лицо татарина стало бледным.

— Господин Али Таруй заплатил большую пошлину и будет еще платить. У него хватит золота.

— К берегу! — повторил князь. Приказав ополовинить товар, он не стал вступать в пререкания с важным Али Таруем.

— Воры-ы-ы! — крикнул визгливым голосом то ли толмач, то ли кто-то из сопровождавших хана.

— На чужой каравай рот не разевай! — ответил один из боярских сыновей. — Татарва! Вороватые ушкуйники! Мало вам разбоя по волжским берегам, так сюда лезете! Ишь, из степей на северные реки потянуло!

Потрошить суда ратники умели. Сгружали на берег наполненные вином бочки, груженные хлебом кули, тюки ярких материй, медные котлы, наполненные голубым, красным, зеленым бисером, огромные связки мягкой рухляди.

— И все это в вашу орду? — кричали, подбадривая друг друга, ратники. Они уже успели откупорить винные бочки и приложиться к ним.

Сидевший на палубе на устланном коврами диване татарин-купец, наблюдая за всем происходившим, побагровел, набычил лоб, из-под которого сверкали маленькие черные глаза, а тонкие губы, превратившиеся в белую узкую полоску, дрожали и шептали что-то никому не понятное. Другие кричали на ломаном русском языке: «Море. Холодное море плавали. Два года плавали. Зиму снегах сидели».

— Нам все едино, куда вас лешак носил. Вы плавали, и мы плаваем. Вы брали, и мы берем!

Эта примитивная философия была близка и понятна всем плавающим по рекам. Здесь едины правила для князей и бояр, ратников и разбойников, которые, как правило, подходя к торговым судам, кричали издали: «Сарынь на кичку!», что означало: всем лечь на палубу, иначе несдобровать.

Князь Василий Иванович был доволен тем, что ратники трясли наглых татарских купцов, не дающих русским крестьянам проплыть мимо их улусов на вертких лодчонках. В нем не было жажды наживы, желания присвоить чужой товар. В нем жило одно желание: принародно унизить наглых степняков.

Воевода, наблюдавший за действиями повеселевших ратников, удивился обилию на судне металлических изделий: котлов, топоров, серпов.

Истошный вопль мурзы из свиты заставил ратников остановиться и обернуться. На купеческих кочах началась суматоха.

— Хана Али Таруя кондрашка хватила, — истерично кричал толмач, взобравшись на разукрашенный нос коча.

«Не сдюжил, — подумал воевода. — И у кого сердце выдержит этакое богатство потерять?!»

— Пущай в чужие земли не ходют, — глядя на толмача, проговорил ратник.

Узнав о случившимся, князь приказал остановить выгрузку товаров, отпустить татарский караван. Мулла тем временем гортанным голосом читал какую-то молитву, и до самого вечера эхо разносило по берегам и лесам таежной Вишеры его плачущий голос.

Причалив к берегу ладьи, князь распорядился раскинуть на берегу княжеский шатер. Отец Фотий и двое служителей походной церкви, достав иконы, сразу же расставили и два заранее приготовленных столбца с перекладиной, держащей колокол, и стали служить молебен. Истосковавшиеся по церковной службе ратники принялись усердно молиться.

Князю Василию Ивановичу и воеводе Леонтию Родионовичу остановка была нужна для того, чтоб решить, что делать с отобранным ханским товаром. Он видел, как у многих бывалых ратников алчно горели глаза при виде этого добра. Они могли не устоять перед соблазном поживиться награбленным. Тогда неминуем раздор, драки, а впереди тяжелый поход к Великому Камню, встреча с воинственными вогуличами.

В большом и красивом княжеском шатре князь с воеводой, пробуя заморские вина, говорили о татарском караване, о том, что по возвращении нужно будет разделить добро между ратниками. Не единожды бывая в походах, Василий Иванович понимал, что такое дело может привести к ссоре, и пожалел, что решился на грабеж купеческого каравана, правда, он успокаивал себя тем, что попугал нехристей и они теперь должны бояться безнаказанно плавать по северным рекам да еще вести мену с иноземцами.

Князь с воеводой решили: чтобы никого из ратников не вводить в грех, весь груз оставить на берегу до возвращения.

— Каким и когда будет это возвращение? — вздохнул воевода, уже соскучившийся по Алене и ребятишкам.

Ночь выдалась теплая и тихая. Проснувшись на рассвете, князь долго лежал под теплым одеялом, удивляясь тому, как солнечные лучи не потревожили сон ни одной птахи. Скоро до его слуха стали доноситься всплески разыгравшейся в реке рыбы, будто брошенная в воду горсть гороха забарабанила по речной глади. Князь не выдержал, встал. Вскочил на ноги и дремавший возле него есаул. Вышли из шатра. Под порывами утреннего ветра медленно, по-барски разнежено раскачивалась ополоснутая росой трава. Легкий туман окутывал дали, под лучами солнца серебрилась река. Рыба устроила в воде настоящие пляски: шлепки хвостов, перевертывания, подпрыгивания в волнах. Вода блестела серебристой рыбьей чешуей.

Вдруг до слуха князя донеслось протяжное ауканье. Он замер, прислушиваясь к звуку, и взглянул на стоящего рядом есаула. Тот тоже вытянул голову, жадно вслушиваясь. Явственное «ау-у-у-у!» донеслось до их слуха. «Кто-то видел нас и подает клич другим», — подумалось князю. Родившийся в лесистой стороне, Василий Иванович знал о лесных перекликаниях и о том, что голошение бывает разное и по разным причинам. Знать-то знал, но слышать до этого не приходилось. Снова раздался чей-то громкий выкрик.

— Умеют голосить, — сказал князь и вспомнил мать, с которой не раз ходил в лес, и как она, прижавшись лбом к стволу дерева, а после и щекой, что-то рассказывала ему...

Повернувшись к есаулу, Василий Иванович почти шепотом спросил:

— Слышишь?

Тот кивнул и перекрестился.

— Люди, однако, близко, да от нас спрятались. Клич-то бабий. Можно бы и поглядеть. У воеводы парни проворные, бывали в этих местах.

Услышав о лесных ауканьях, вымцы и сольвычегодцы не удивились, только пояснили: малых починков по берегам много, вот и переговариваются между собой.

Гриде Ивашкову и есаулу со товарищами отыскать жилье староверов труда не представляло. Пройдя от берега вглубь, сквозь гряду хвойных кедрачей, ратники увидели тропку, которая и привела их к починку. Стрекот потревоженной сороки, как правило, гнездящейся возле человека, подтвердил их ожидания. Место было расчищено и выжжено для пашни. Так начинался здесь каждый починок.

Как из-под земли, появился мужик в черном, поношенном кафтане до пят, совсем не похожий на крестьянина. Большая черная борода широкой лопатой лежала на груди и выдавала в нем крепость мужской силы. Вышедшая из низеньких дверей женщина, судя по всему — игуменья, при виде ратников не смогла сдержать испуга и ойкнула. На красивом чернобровом лице заиграл румянец. Она сложила на груди руки, склонила покорно голову.

— В народе бают: попадья умрет, поп в игумены, а поп умрет — попадья по гумнам, — хихикнул есаул.

— Че народ речит — все верно, — смиренно ответил мужик и добавил: — Твой клич, матушка, накликал к нам гостей.

Было видно, что они не рады прибывшим. Молва о бесчинствах, самосуде, воровстве вольных и ратных людей, проплывавших берегами, вселяла в местных жителей неприязнь к ним и страх. Только поэтому не

сдержалась игуменья и подала знак другим починкам: берегитесь, мол, прячьтесь, уходите дальше в лес, а особенно уводите молодух и девиц, до которых служивые всегда большие охотники.

Десятка два полуземляных избушек прижались к могучим стволам кедрачей. Все двери приперты палками, значит, хозяев в избушках нет.

— Ты на зорянке клич подавала? — спросил есаул. Игуменья не отпиралась, кивнула.

— Кажись, Липка Лозанова легонько аукала. Че на себя чужой грех берешь? — заступился чернобородый мужик.

— Легонько, не легонько, а наш князь услышал. Кабы не он... — не договорив, есаул проворно подбежал к избушке и пнул палку, припирающую дверь. Дверь на кожаных петлях открылась бесшумно. Убогое жилье, пустые полки вдоль стен, крестовина стола, перевязанная лозой... Ратники открыли двери остальных изб починка.

Плюнув под ноги, есаул сматерился, свистнул, давая знак сотоварищам возвращаться. Тем временем, наклонив голову под низкой сосновой матицей, он юркнул в последнюю избенку. Та же пустота: мало-мальски сработанная деревянная посуда да на двух настилах сенные подстилки. Из переднего угла на него глянули образа. Есаул полез к божнице, взял одну икону в руки, подержал.

— Оставь, служивый, — услышал за спиной голос мужика. — В них одна радость. — По щекам покатились слезы. Видно было, что он сконфузился. — Возьми вот, — и, доставая из-за пазухи алмазное ожерелье тонкой работы, протянул есаулу.

У того засветились глаза. И хотя он не разбирался в редкостных каменьях, чутьем угадал: вещь дорогая.

— Всю жизнь безбедно проживешь на эти алмазы, — сказал мужик.

— Жалко поди?

— Как не жалко. Но иконы жальче.

Обшарив все углы в избушках, ратники прихватили кто плетеную уздечку, кто ременной хлыст, кто рогатину с костяным наконечником.

— Ты-то, Тюря, че с пустыми руками? — спросил есаула Гридя. — Хоть бы тулуп взял. Видать, ямщицкий, большой. Тама на жердине висит.

Есаул промолчал, крепко сжимая спрятанные в карман алмазы.

Половодье спадало. Река уходила в свое постоянное русло, судам становилось плыть небезопасно: обнаруживались валуны, каменистые мели. Гребцы быстро уставали, беспрерывно работая веслами. Раньше слышался смех и даже не было ссор во время игр в зернь или кости. Теперь же настроение людей на судах испортилось. Каждый поворот реки таил неожиданность. Чаще приходилось впрягаться в лямки и тащить суда по очередному перекату, обводить заводями. Съестные припасы заканчивались, надеяться на их пополнение за счет жителей прибрежных деревенек, починков, скитов не приходилось. Это были не хлебородные волжские берега. Только рыбы было вволю.

Часто непогодило. Чувствовалась близость Великого Камня, ночами пронзительные ветры стонали и выли. Толмачи, сидевшие все время в углу одной из лодок, подали голос:

— Это Вот-торган дурит! Это гора пускает ветер. Может, злых духов пускает.

— Эй вы, дикое племя, с собаками вместе едите али порознь, — кричали ратники, бросая им в угол, как

собакам, сырую рыбу. Те покорно молчали, вспоминали спокойную жизнь у Ермила и чаще вглядывались в берега.

Однажды, проснувшись, все оцепенели. Все вокруг было покрыто снегом. С неба падали сырые тяжелые хлопья. Только извилистое русло реки темнело, разделяя берега.

— Первый зазимок! — потирая усы, задумчиво сказал есаул, печатая на палубе следы.

— Зазимку более трех дней не стоять! — проронил оказавшийся рядом ратник.

— Тута все по-другому. А вдруг да морозец стукнет?

— Не приведи Господи! Маеты не оберемся. А сколько еще плыть?

Снегопад нарушил размеренное плавание, навеял на людей разные мысли.

Князь Василий Иванович еще с вечера почувствовал перемену в погоде. Обычно к непогоде у него начинало мозжить в коленях. Спальник, молчаливый служка, знал недуги хозяина и поэтому заранее припас нужные снадобья. Держал он их в плетеной коробке. От болей в ногах прикладывал запаренную в кипятке хвою, а на ночь привязывал неостывшую золу, завернутую в крапивную тряпицу.

Князь велел позвать к нему кормчего — бывшего кречетника, не раз плававшего по берегам Вишеры. Тот вошел к князю с робостью, боялся, что не удержится и сморозит что-нибудь непотребное.

— Ну, а теперь, бывалый человек, далеко ли до Пиноковского волока? — спросил князь.

Мужик, стоя у дверей, мял в больших ладонях и без того помятую шапку, потом шумно задышал и выпалил:

— Далече!

— Верст сто?

— Боле.

— Двести?

— Боле.

Князь почему-то разгневался и приказал ему выйти вон. Стоило мужику перевести дух, как его снова позвали к князю. Тот обтер шапкой вспотевший лоб, перекрестился.

— Че стоишь? — увидев в дверях кормчего, сказал Василий Иванович. — Сказывай, не зимовать же тут.

— А может, и зазимовать надо, — осмелился кормчий. — Дале совсем тяжело будет. Ладьи тащить надобно. Кругом перекаты, с гор камни насыпаны, а еще далее каменные столбы пойдут. Тама дале Печора, самоедь. Тама холода и морозы.

— Думаешь, я не знаю, чего дале? Я тебя про Пиноковский волок спрашиваю.

— Далече он. Туда оленей гонять надо. С Печоры ближе.

— Иди.

К полудню, когда солнце забарахталось в тучах и стало понемногу съедать рыхлый снег, князь повеселел. Распорядился сделать два холостых выстрела из пушек. Эхо гулко отозвалось по берегам и тут же потерялось, будто проглоченное густым ельником.

— Бог его знает, где тут можно найти щели в горах, чтобы до вогуличей добраться, — сказал воеводе кормчий. — Искать переход через Камень надо.

— К берегу! — посоветовавшись с Леонтием Родионовичем и с боярскими детьми, распорядился Василий Иванович.

Солнце катилось к горизонту. На новом крутом перекате ратникам предстояло впрягаться в изношенные лямки, тащить суда с горьким ропотом на свою

каторжную жизнь. Лапти в жиже снега и земли быстро расползались и рвались. Онучи, придерживаемые подвязками, какое-то время держались, но после десяти—пятнадцати шагов скатывались, обнажая голые ноги с белыми, как у мертвецов, ступнями.

Узнав о намерении князя остановиться на зимовку, все с облегчением вздохнули. Князя же охватили сомнения в правильности принятого решения.

— Разжигать костры! — командовали пятидесятники, спустившись на берег.

Наперебой застучали топоры. Глухое эхо разносилось по берегам, но этот звук не смог поднять на крыло ни одной птицы, не смог вспугнуть ни одного зверька.

Так ратники великого Московского царя всея Руси отправлялись в достославный поход к Великому Камню, чтобы в царственный титул вписать: «Государь земли Югорской».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Этой зимой посланцы пелымского князя Юмшана гоняли упряжки по Лозьве-реке в холодную тундровую сторону. Лихие каюры знали немало троп, пролегавших между Великим Камнем: иногда олени бежали между скал по замерзшим руслам безымянных речушек, иногда по краю отвесных гор, между валунов. Вогуличи, возившие по чумам бунтарскую стрелу, собиравшие людей к подножию горы Нёр-ойки, устали. Стрелу, потертую руками, с множеством тамг, передали князю. Юмшан подарил каждому по стаду оленей, и они, уставшие жить в бедности, а теперь обласканные князем, долго молились идолам, просили их послать удачу храброму Юмшану.

Получив бунтарскую стрелу, князь поехал в дальнюю юрту поодаль от русла Лозьвы-реки, где, как он замечал, его чаще навещали добрые и мудрые мысли.

Лежа на мягких оленьих шкурах, он подолгу смотрел на низкое синее небо, далеко уносясь в мыслях, пытаясь по-своему объяснить и понять загадочный небесный мир. Он пришел к выводу, что все звезды на небе, как и его собратья вогуличи, ведут кочевую жизнь, потому что всякий раз он видел на небе другие, не похожие

друг на друга звезды. Это сравнение успокаивало его и позволяло не без основания осознавать себя главным среди родичей, потому что он замечал одну звезду на небе, которая была ярче других. В то же время он старался понять рассуждения стариков-сородичей, которые утверждали, что есть стройный порядок в устройстве и расположении звезд на небе. Но чем больше он пытался это понять, тем явственнее убеждался в своей беспомощности перед мудростью предков. Его брала оторопь, когда он начинал рассуждать о мире, а главное, о том, как ладно все в нем определено, что всему есть свое место. О Нижнем небе — царстве мертвых — человеку при жизни знать не дано: там живут темные силы и непременно заберут к себе каждого в свое время. Помня о нем, люди стараются жить на земле в «светлом мире» — царстве живых — по законам предков. Мир духов, верхний мир, оттуда они смотрят на земную жизнь. А еще выше — царство Торума. Великого Торума! К нему тянут руки с мольбой о помощи.

Юмшан вдруг вздрогнул, торопливо произнес: «Великий Торум!» — и натянул на глаза меховой башлык. Ему стало страшно от мысли, как он посмел отыскивать себе место среди звезд. Но ему было трудно отказаться от сознания своей значимости перед сородичами. Свидетельством тому была и бунтарская стрела, лежавшая рядом.

Еще какое-то время Юмшан лежал, вздыхая, мало-помалу освобождаясь от раздумий о звездном небе. Он понимал, что наверняка не ему одному являлись в голову такие мысли. Мудрые люди давно сумели дать названия многим звездам, которые помогают человеку жить на земле. С малолетства он мог найти на небе «Лыжню лося», «Семью женщины Мосьнэ». Он знал названия многих животных и птиц, расположенных по разным сторонам звездного неба. По ним его дед и отец умели

определять стороны земли, не путать тропы в лесах и болотах. Этому научили и его, Юмшана.

Он откинул башлык, когда над головой стояла яркая звезда. «Чья она?» — невольно мелькнуло в голове, и он стал перебирать имена князей, которым светила удача. Но Юмшану вовсе не хотелось вспоминать их. «Это моя звезда! Она будет светить мне и помогать в далеком походе за Камень», — подумал он и, обогретый этой мыслью, вскочил со шкур. Ему не хотелось больше ни о чем рассуждать, а тем более думать о звездах, сознавать, что ни на один вопрос ему не найти ответа.

Луна уже успела обойти вокруг земли и показалась над горизонтом большим желтым шаром.

Послушные князю пелымские и лозьвинские вогуличи, разными тропами пересекая многочисленные русла рек, болот, замерзших озер, безошибочно гнали оленей к назначенному месту — к подножию горы Нёройки.

На возвышении, за большим валуном, было выбрано место для стоянки большого чума Юмшана, сшитого из белых оленьих шкур. Верные его друзья, хорошо вооруженные не только крепкими луками и острыми стрелами, но и саблями и копьями с острыми наконечниками, держали надежную охрану. В поставленном по соседству чуме обитал шаман, а в других, окруженных нартами с необходимым скарбом, жили пастухи-оленеводы. Поодаль, в загоне из жердей, стояли всегда запряженные упряжки.

В этот раз на удивление всем Юмшан не взял с собой ни одну из жен. Обычно напротив его чума ставили небольшой чум из белых шкур, в нем жила его молодая избранница. Старых жен, родивших ему детей, он оставлял дома, в юртах на Лозьве, Пелыме, Тавде. С собой брал только молодую.

Нынешней осенью старый шаман Ман долго ворожил на новом топоре, после он осторожно сказал Юмшану, что беда к нему идет от молодой бабы. Он не стал уговаривать князя не брать с собой в поход за Камень молодую жену. Хватило того, что он сказал. У Юмшана быстрый ум, он запомнил слова Мана. Когда он велел не брать с собой женский чум, это очень удивило слугу Песика, которому от женских капризов попадало больше всех. Не мог же он жаловаться Юмшану, что одна из жен таскает его за косы, другая кричит на него, как на собаку, третья заставляет натягивать на ноги оленьи чулки, что казалось ему самым бесстыжим делом.

Зато другие сородичи жалели, что он не взял с собой молодую жену. Теперь, не зная, чем заняться вечерами, Юмшан велел всем варить много рыбьего клея, гнуть и склеивать боевые луки, готовить острые стрелы.

Сам Юмшан в первое время не ощущал тоски. Быстрая езда, короткие ночевки изнуряли его. Ему было не до женщин. Но стоило только поставить чум, разжечь чувал, хорошо выспаться, как на Юмшана напала невыносимая тоска: он стал по нескольку раз за ночь просыпаться, будить Песика. Тот разжигал чувал, кипятил в котле воду, заливал кипятком сушеные мухоморы и готовил отвар, который туманил голову. Все чаще, принимая этот настой, Юмшан становился злым: выбрасывал из чума берестяную посуду, пинал собак, которые от боли и обиды взвизгивали, скалили зубы и подолгу урчали, прячась под нартами. Охранявшие княжеский чум вогуличи были в постоянной тревоге. «Бабы нет», — шептались они между собой, готовые гнать оленей в любой пауль, чтобы привезти князю какую-нибудь молодую девушку.

Последние ночи, когда к Нёр-ойке подъехало видимо-невидимо нарт и всюду горели костры, Юмшан не

без удовольствия объезжал на белых упряжках многоверстную ложбину.

По возвращении в чум он находился в раздумьях о переходе через Камень в верховьях Вишеры, где дорога особенно опасная; там даже от крика могут сорваться висевшие на вершинах камни и полететь вниз.

Сегодня его согревала мысль о женщине, которая оказалась на обочине оленьей тропы и которую привезли в его чум. Он старался быть безразличным или хотя бы делать вид, что он о ней не думает, но это у него получалось плохо. Он торопил всех скорее вернуться на отдых. Пока пастух стаскивал с Юмшана забитый снегом савик, тот, изловчившись, схватил горсть снега, проглотил с жадностью и обтер руками воспаленные губы.

К сладострастию Юмшан привык рано. Научила его этому жена старшего шамана, когда тот ездил с отцом в стада окуривать и отгонять с болота злых духов. Он как сейчас помнит крепкое, гибкое тело Мэйтне. Очутившись в одном чуме с двенадцатилетним Юмшаном, она не дала юноше опомниться: в каком-то бессознательном порыве бормотала ему бессвязные слова, захлебывалась ими, не выпуская юношу из объятий...

С тех пор прошло немало лет и зим. Со многими женщинами делил он свое ложе, отношение у него было к ним как к существам, необходимым ему в жизни. Никогда больше не довелось ему испытать того волнения, от которого кружится голова и горячее тело любимой женщины влечет, заставляет забыться, улететь в поднебесье.

От разных жен у него рождались дети. Он немало удивлялся их появлению. Наблюдая за повадками сильных быков в оленьем стаде, он примитивно сравнивал себя с ними и успокаивался тем, что ему все равно не понять загадочной тайны появления на свет всего живого.

У Юмшана было обостренное чувство узнавания женских запахов. Войдя в любой чум, он сразу определял, дома ли хозяйка, в каком углу прячется дочь оленевода-пастуха, в какой стороне чума лежит старая женщина. Он встречал мало женщин, которые возбуждали бы в нем трепетное желание быть вместе, нежиться на теплых шкурах, наслаждаться запахом их рук, волос, одежды. На всю жизнь он запомнил запах Мэйтне, который до сих пор дурманил его голову. Тогда он был готов дни и ночи быть возле чума шамана.

Уезжая домой, он умудрился взять с собой оленью шкуру, на которой спала Мэйтне, изредка он припадал к ней лицом и вдыхал ее запах. Юмшан готов был просить отца за большое стадо оленей взять в жены ее дочь, но, как на грех, у шамана были только сыновья. Об этой связи князя никто не знал, и многим было невдомек, почему он не глядит на молодых и красивых дочерей богатых князей.

После увечья ноги, которое он получил в схватке с соседними племенами самоедов, Юмшан долго хворал. Приезжавший большой шаман вызывал высоких духов, которые помогли вернуть Юмшану здоровье. Нога болеть перестала, но какая-то тихая, тайная сила отняла у него душевную радость. Он перестал радоваться и любоваться большеголовыми беззащитными оленятами, покрытыми коричневым мягким мехом — неплюем. Не волновали его и караваны перелетных птиц, гнездившихся вдоль берегов тихих проток. Он стал безразличным даже к песням поющего санквальтапа.

Но в этот день, прежде чем войти в чум, Юмшан заволновался. У него неожиданно дрогнуло сердце. Он велел слуге принести рубаху, сшитую из зеленого атласа, который был выменян на соболий мех, достать серебряную табакерку и саблю в ножнах. Юмшан и сам не

знал, для чего он это делает. Желания князя немало удивили слугу Песика, давно забывшего, в каком из множества сшитых из оленьей кожи мешков, берестяных коробов лежит нарядное княжеское одеяние. Юмшан торопил его.

Он точно знал, что женщина уже догадалась о его приезде. Юмшан сгорал от любопытства и не сомневался, что она с охотой пустит его на место рядом с собой.

За пологом дрожал слабый травяной фитилек, плавающий в растопленном жире, потрескивая и еле-еле освещая противоположную сторону чума. Обшарив его быстрым взглядом, Юмшан никого не увидел и хотел было крикнуть на Песика, но тут заметил прижавшуюся к стене спящую женщину. В первый миг он готов был пнуть ее или, схватив за шиворот, выбросить из чума. Но гнев его враз прошел, когда он увидел из-под шкуры маленькую руку, унизанную кольцами. Юмшан приблизился к спящей, присел на корточки, но не забыл оглянуться по сторонам — удостовериться, не подглядывает ли за ним любопытный Песик. Зоркие раскосые глаза Юмшана сумели разглядеть замысловатый узор на меховой сахе и даже мелкие стежки... Е мас-эква вздрогнула, с ее губ сорвался непонятный звук. Она быстро села и очутилась лицом к лицу с Юмшаном. Чем-то знакомым пахнуло от женщины. Е мас-эква, не успев опомниться, очутилась в его сильных руках, как зверек, пойманный в капкан. Бойкие глаза Ё мас-эквы были полны слез, тонкими пальцами она прикрывала губы. Она едва могла вспомнить, что с ней случилось. Сидевший на корточках Юмшан казался ей злым великаном, сошедшим с вершин Нёр-ойки и готовым поднять ее и унести в поднебесье. Она боялась взглянуть на него.

— Я баба Пагина, — чуть слышно сказала Ё мас-эква. — Пагин ставил тамгу, поехал к Нёр-ойке. Я много лун гнала оленей.

Юмшан безвольно отпустил руку Ё мас-эквы. Молчал, тяжело и редко дышал. Было заметно, как его плечи медленно приподнимались и опускались, во вздохах слышался стон. Мало кому было понятно состояние князя.

Непривычная тишина за пологом испугала любопытного слугу. Не выдержав, он отодвинул легкие шкуры, заглянул за полог. Яркая полоска света от горевших дров в чувале осветила блестящие бляшки и разноцветные нити в косах Юмшана да зелень атласа рубашки.

— Уходи! — проронил Юмшан сипло, будто его горло было передавлено крепким тынзяном.

Слуга опустил шкуру, но не ушел, а присел в раздумье. Обычно в таких случаях за пологом слышались разговоры, шепот, бормотания, сопение или храп, но не тишина. Бедный Песик передумал многое. Судьба каждой попавшей к Юмшану женщины была определена: ее возвращали в чум к пастухам — туда, откуда привозили несчастную. Сейчас поведение князя, сидевшего возле ног вогулки, показалось слуге необычным. Песик достал из берестяной коробки домашнего идола, поставил его перед собой и стал молиться. Он даже проверил, в ножнах ли нож, чтобы быть готовым по первому слову хозяина очутиться за пологом. Вспомнив окрик Юмшана, Песик на цыпочках пошел посмотреть, на месте ли охрана. Вернувшись, он услышал смех Юмшана, тот смеялся весело и громко. Это было так неожиданно. Смех князя был похож на смех разыгравшегося юноши — легкий, звонкий. Иногда его перебивал женский робкий смешок.

В хрупкой Ё мас-экве Юмшан узнал давно забытый образ жены старого шамана Мэйтне. А когда он

слегка застонал и стал потирать больное колено, она, не смутившись, стала тут же гладить его, как когда-то делала это отцу. Юмшан осторожно и ласково дотронулся до ее руки. Ё мас-эква замерла, когда увидела перед собой улыбающееся лицо князя. Оно было смуглым, обветренным, с двумя глубокими морщинами на лбу и широкими черными бровями. Встретившись с ней взглядом, князь засмеялся. Было в этом смехе что-то тревожное и малообъяснимое.

Учтивость молодой женщины была неожиданна и приятна Юмшану.

— О, Торум! — с волнением прошептал слуга и легкими шагами подошел к чувалу. «Не иначе как она шаманка. Злыми духами послана», — подумал Песик. Из-за полога опять донесся смех.

И вдруг Юмшан будто захлебнулся. Ему показалось, что смеется не он, а кто-то другой. Но реальностью была стоявшая перед ним хрупкая молодая женщина, с лица которой еще не сошла улыбка.

— Мэйтне? — произнес Юмшан. Ему почему-то показалось, что она должна знать шаманку, но в ответ услышал:

— Ё мас-эква.

Вдруг князь крепко прижал ее к себе и, закрыв глаза, стал с жадностью обнюхивать ее волосы, шею, платье, бормоча: «Мэйтне, Мэйтне». Его поведение было для Ё мас-эквы странно и непонятно. Она подумала только, что с этим именем у Юмшана связано что-то дорогое. Оказавшись в его крепких объятиях, она замерла. Вдруг раздался грохот бубнов. Но даже эти призывные звуки не сразу оторвали его от женщины.

За чумом послышались громкие мужские голоса. Юмшан, будто очнувшись от крепкого сна, быстро

вскочил на ноги. Только появление соплеменников в полном снаряжении привело его до конца в чувство.

— Упряжку! — громко крикнул Юмшан. Трое слуг бросились одевать князя.

— Поедет с нами, — повелительно сказал Юмшан самому высокому вогулу и пристально посмотрел на Е мас-экву.

Е мас-экву никто ни о чем не спрашивал. Натянув на нее савик и взяв в охапку, принесли на нарту, покрытую белыми шкурами. Начинался новый день. Издали она увидела бесчисленный ряд упряжек, услышала стук оленьих рогов, напомнивший ей треск сухих веток кустарника.

— Пора ехать! Манорага нашел ущелье и торил тропу, — услышала Е мас-эква.

И олений обоз двинулся в горы. «Там где-то Пагин», — мелькнула у нее мысль, но тут раздался клич, и сытые олени понесли нарты в сторону запорошенных снежной дымкой гор. Сердце ее часто забилось. Вспомнился свой чум, чувал, возле которого всегда было тепло. Вспомнилась веселая косматая лайка с длинной шерстью, которая по ночам пробиралась в чум и спала возле ее ног. Вспомнился Пагин, его теплое дыхание... «А вдруг упряжки Пагина мчатся за моей?» — с надеждой подумалось ей. С другой стороны, она очень боялась, что братья Пагины, узнав о ее дерзком поступке, заставят мужа выгнать ее из чума, увести обратно отцу, забрать подаренное стадо оленей.

Сзади слышались зычные окрики пастухов, лай собак. Сейчас она размышляла о Юмшане. Она до сих пор не понимала, боится ли его. То, что произошло между ними, совсем не походило на то, что носила людская молва о нем. «Сурового князя» в нем она не разглядела. «Быть может, он оборотень?» Наслышавшись о разных

превращениях людей в зверей и птиц, она стала сомневаться в том, что в чуме с ней был князь Юмшан. «Не злой ли оборотень испытывал меня?»

Через какое-то время оленей остановили на отдых. Перед Е мас-эквой появилась фигура высоченного вогула, того, который вынес ее из чума. Положив хорей поперек нарты, он приподнял край шкуры, под которой лежало промороженное оленье мясо, и с силой ударил по нему незнакомым железным предметом. Кусок мяса распался на мелкие кусочки. Вогул подал Ё мас-экве один из них, а потом, сбросив с головы башлык, посмотрел вдаль и тихо сказал то ли себе, то ли Ё мас-экве: «Юмшан». Вогул не ошибся: действительно, приближалась его упряжка, только в упряжке князя на широких ременных нагрудниках были нашиты звонкие щелкунчики, выменянные на меха у купцов, ходивших на край света — к морю.

Каюр шел бродом и вел белоснежных оленей, впряженных в упряжку, на которой сидел Юмшан. В большом белом гусе с откинутым на спину башлыком, сейчас он показался Ё мас-экве спустившимся с гор добрым духом. На его голове, бровях, щеках лежал иней, и только черные раскосые глаза пристально глядели на Ё мас-экву. Она замерла, взглянула на высоченного слугу, перевела взгляд на Юмшана. Он торопливо пересел на нарту к Е мас-экве и, шумно дыша, стал жадно обнюхивать воздух. Высокорослый слуга от увиденного закричал голосом раненого медведя:

— Она волчиха! Она волчиха! Ее надо бросить в тундре! Ее надо стрелять из лука! Ее надо травить собаками!

А князь Юмшан, как будто нарочно дразня его, провел шершавой рукой по голове Ё мас-эквы и сказал:

— Когда сходим за Камень и вернемся на берега Лозьвы, я поставлю тебе большой белый чум. Буду гонять к тебе упряжки и спать у тебя.

— Мой мужик Пагин! — закричала Ёмас-эква, но большая ладонь высоченного вогула закрыла ей рот.

— Пагин будет шибко богатым, я дам ему много оленей, — ответил ей князь.

После отъезда Юмшана Ёмас-экву охватил страх, внутри все дрожало. Скоро нарты тронулись, их стало подбрасывать из стороны в сторону. От мороза скрипела и трескалась ременная упряжь. Громадные стены высоченных скал стояли по сторонам, в узкое ущелье едва проникал свет. Глядя на алую полоску на небе, ей подумалось, что она кем-то проведена большим охотничьим ножом, она все больше и больше раздвигалась на небе, и казалось, именно оттуда вываливаются на землю снежинки. Окрики пастухов улетали ввысь, будто для того, чтобы испугать гнездившихся на вершинах гор злых духов. Темные камни приобретали фигуры чудовищ. Олени, привыкшие носиться по бескрайним просторам, здесь, в ущелье, часто спотыкались и останавливались. Только знакомые окрики пастухов заставляли их быть послушными. Через день тропа вывела олений поезд к широкой ложбине. Олени наконец уверенно понеслись, разбрасывая по сторонам снег, и тут же стали бить копытами, выбивая из-под снега тонкие ниточки и головки промороженного мха — ягеля.

Каюры перекликались между собой, в этом разноголосье Ёмас-эква пыталась различить голос Пагина. Высоченный вогул неотступно был возле ее нарты. Уже под вечер он подал ей кусок хлеба.

Кто знает, как поступили бы вогуличи, собравшиеся по призыву бунтарской стрелы, если бы узнали, что Юмшан покорился чарам Ёмас-эквы. В лучшем

случае они разделались бы с Е мас-эквой, обвинив ее в колдовстве. Все знали: Юмшан сильный, как ветер, хитрый, как лиса, мудрый, как медведь. Кто же еще, как не колдунья, может отнять у такого человека рассудок.

Но даже если бы все шаманы Пелыма, Лозьвы, Туры сказали ему, что эта баба затмит ему весь белый свет, заставит думать о себе каждый миг, он непременно выгнал бы их всех и никого не послушал. Он ничего не мог поделать с собой, буквально все в этой маленькой вогулке было ему любо. Порой ему казалось, что она — оторванная от него частица.

Юмшан все еще находился во власти поселившейся радости, несмотря на то, что у него было время успокоиться и даже посмеяться над человеческой слабостью. Впереди его ждали большие дела, он вел вогуличей навстречу русичам. Они и раньше совершали набеги на русские паули, забирали там все, что попадало под руку, и уходили обратно за Камень. Теперь же русские сами плыли к ним по Вишере. И Юмшан не хотел пускать их за Камень.

Когда высокий вогул снова подъехал к нарте, на которой сидела Е мас-эква, кто-то из старших воскликнул: «О, Торум!» — и схватился за лук. В воздухе просвистела пущенная стрела. Юмшан засмеялся так громко, что старшины переглянулись. Северные народы громко не смеются, они, как и вся природа вокруг, тихи и немногословны.

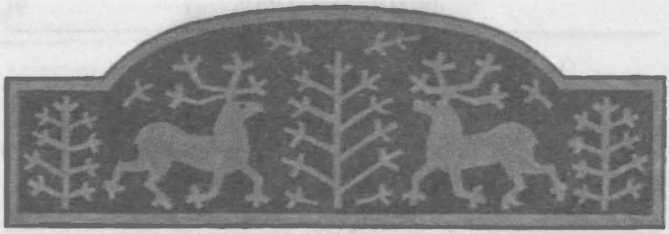
Зычный окрик возвестил о продолжении пути. Тропа снова вела в ущелье. Олени не сразу пустились в бег. Привыкшие видеть перед собой снежный простор, они остановились перед исполинами гор, стояли как вкопанные, пока погонщики легкими взмахами хореев не заставили их повиноваться.

— Рогатая гора, — узнал Юмшан крутой перевал через Камень. — Здесь гнездятся ветра. Летом хороший перевал...

От тяжелого подъема в горы над спинами упряжек курился морозный дымок. Протяжный гул нарастал в вершинах остроконечных гор. Вогуличам казалось, что над ними кружатся невидимые существа. Скрипели полозья, ременная упряжь, стучали рогами жмущиеся друг к другу олени. Разыгравшийся в вершинах ветер сметал с гор снег, хлестал в морды оленей, лица людей. И вдруг с высоты, будто с самого неба, с грохотом ударяясь о выступы скал, слетела оборвавшаяся ледяная глыба. Она сметала все на своем пути. Невероятный человеческий вопль раздался на узкой тропе. И только снежная пыль вихрилась над откосом. Упряжка Е мас-эквы неслась под откос.

Юмшану показалось, что он услышал в свистящем порыве ветра свое имя. Казалось, силы его покинули. Он лежал под опрокинутой полозьями вверх нартой и не мог поверить в случившееся с ним несчастье.

Всю оставшуюся жизнь он считал встречу с Е мас-эквой сладким сном и всегда посылал на вершину Рогатой горы шамана отвезти духам поминки.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На землю властной хозяйкой явилась зима. Порывистый северный ветер кружил в воздухе вихри снега. Русла рек, мелких проток быстро сковало льдом. Только своенравная Вишера, имея в верховьях бурное течение, не поддавалась рекоставу. Холод и недоедание вконец истощили ратных людей. По берегам стали появляться земляные холмики с наскоро сколоченными крестами.

Князь Василий Иванович Заболотский-Бражник осунулся, на щеках вместо румянца появилась синева, зоркий и веселый взгляд голубых глаз потух. По ночам болели ноги, а в последние дни одолел кашель. Сухопарый священник после молебнов на судах перебирался на княжеский коч и подолгу исповедовал князя, который, очищая душу от многочисленных грехов, неистово молился не только за себя, но и за служивых, вверивших ему свои судьбы. Он надеялся на Божью милость.

Ему не терпелось услышать что-нибудь о князьях Семене Федоровиче Курбском да Петре Федоровиче Ушатом, плывших по реке Вычегде, мелкими реками на Печору. Да от кого что услышишь в этом безлюдном, дремучем крае? С неба хмурь да снег, на земле сырь, по

берегам — темный лес да горы! День короток. Солнце крадучись выглядывало из-за леса и, будто испугавшись, пряталось за вершинами гор.

На берегу, не затухая, горели костры, стучали топоры. Тяжелые кайла бухали по земле, отбивая комья промороженного дерна, освобождая место для строительства землянок. Кафтаны с короткими рукавами продувало насквозь. Бродни, сшитые из сыромятных кож, давно раскисли, стоптались.

Каждое утро Василию Ивановичу докладывали о количестве умерших и сбежавших ратников. У него уже давно стали появляться сомнения относительно предпринятого похода. Сравнивая это плавание с плаванием по окским и волжским берегам, он невольно становился хмурым. Но что делать, надо было думать о предстоящей зиме. Беспокоили запасы продуктов, которые были на исходе. Надежды на то, что можно будет найти пропитание у жителей деревенек, скитов, починков, он уже давно оставил. Таких поселений в предгорьях Великого Камня просто не было. Охота на зверя могла стать спасением... Несколько ратичей, посланных в тайгу на охоту, вернулись ни с чем. Рассказали только, что они наткнулись на обгорелый островок среди хмурых пихтачей, где в низком срубе лежал человеческий скелет, почерневшие от времени оленьи рога да истлевшие под дождями шкуры зверей. «Значит, рядом есть люди», — выслушав рассказ, подумал князь.

Проснувшись ночью, когда луна куталась в облаках, как в овчинный тулуп, он почувствовал, как мороз властно берет в свои объятия землю: потрескивали, пощелкивали доски, поскрипывали пеньковые канаты, промораживались крапивные мешки с нехитрым скарбом. Через узенькое оконце, затянутое бычьим пузырем, падало на стену мутное пятно, будто одноглазое

громадное существо заглядывало в каюту. Василий Иванови, лежа в постели, закрыв глаза, молился, просил всесильного Господа уберечь бедных ратников от холода и лишений, которые им еще придется пережить. «Из тысячи ратников на берег сошли семьсот», — вспомнил он вчерашний доклад воеводы, да более сотни лежали на судах в горячке. Подсчитав, что пройдено и проплыто по рекам более четырех тысяч верст, князь хмыкнул от удивления. Подумалось, каково сейчас князьям Семену Федоровичу Курбскому и Петру Федоровичу Ушатому, собравшим рать в четыре тысячи человек. Как они? Быть может, встретились с самоедами... И тут пришла мысль о толмачах! За все время плавания никто о них ни разу не вспомнил. Живы ли?

Поутру на берегу запылали костры, стали доноситься голоса, тонувшие в разноголосом кашле. Было такое впечатление, будто всех ратников заставили лаять. Привели толмачей, их вид не казался таким уж удручающим.

— Емас, емас! — вдыхая промозглый воздух, говорил один из толмачей, сощурив черные глаза. Казалось, он не просто смотрит, а пристально вглядывается в берег.

Стоявшему рядом воеводе Леонтию Родионовичу подумалось: «На родной земле и заяц силен!» Он даже заметил улыбки на лицах толмачей.

— Гору идти надо. Глядеть надо. Мало-мало забыл. Сура из (Рогатая гора). Ыджид Парма (Великая гора, покрытая еловым лесом), — говорил старший по виду, повернувшись к сородичам и показывая рукой в сторону виднеющихся за лесами горных вершин. — Глядеть надо, — смело сказал старший толмач воеводе. Он показал пальцы обеих рук — одна сторона и снова потряс руками — другая сторона.

— Двадцать дней? — спросил Леонтий Родионович удивленно.

— Двадцать, двадцать, — согласился толмач.

Обдумав все с князем и боярскими детьми, они решили послать вогуличей-толмачей с несколькими ратниками разведать окрестности. В трюме нашлись лыжи, припрятанные бывалым охотником-лесовиком, беглым с Двины Харитоном. Он и вызвался пойти с двумя ратниками и вогуличами к горам.

— Нам собраться — только подпоясаться! — сказал Харитон.

Охотников перевалить через Великий Камень и раньше было немало. Хотя шли они разными дорогами, но вершины гор были для всех главным ориентиром. Князь слышал от бывалых людей, что расщелин и изломов в Камне такое великое множество, что, не зная их, можно зайти туда и не выйти — всю жизнь будешь плутать в каменных лабиринтах.

По северным рекам Двине и Печоре волоками да многотрудными переправами шла зырянская дорога, или «русский тес». Выводил он вначале к Сыгве-реке, к Ляпинскому княжеству, где стоял городок Ляпин. С ратью в четыре тысячи душ пришли сюда великокняжеские сыновья Семен Федорович Курбский и Петр Федорович Ушатый. Они шли по следам смельчаков новгородцев, ходивших через Камень речкой Щугор — правым притоком Печоры. Позднее этой дорогой осмелились пройти другие новгородцы — воеводы Василий Шенкурский и Михаил Яковль. Их рать была вся истреблена самоедью. Но, как известно, русский мужик неугомонен. Этим русским тесом — Щугорско-Сыгвинским путем — прошел и устюжанский воевода Василий Скряба. Он прошел севернее — зырянской дорогой. С Печоры поднимался к реке Усе, оттуда из Соби в Елец,

потом каменным волоком, минуя семь озер, переправился через Камень и вошел в другую Собь, которая впадает в Обь.

Русские князья брали клятву с самоедских князей Калпака и Течина платить дань Новгороду исправно, но все договоренности были нарушены. Обещанная дань в казну так и не поступала.

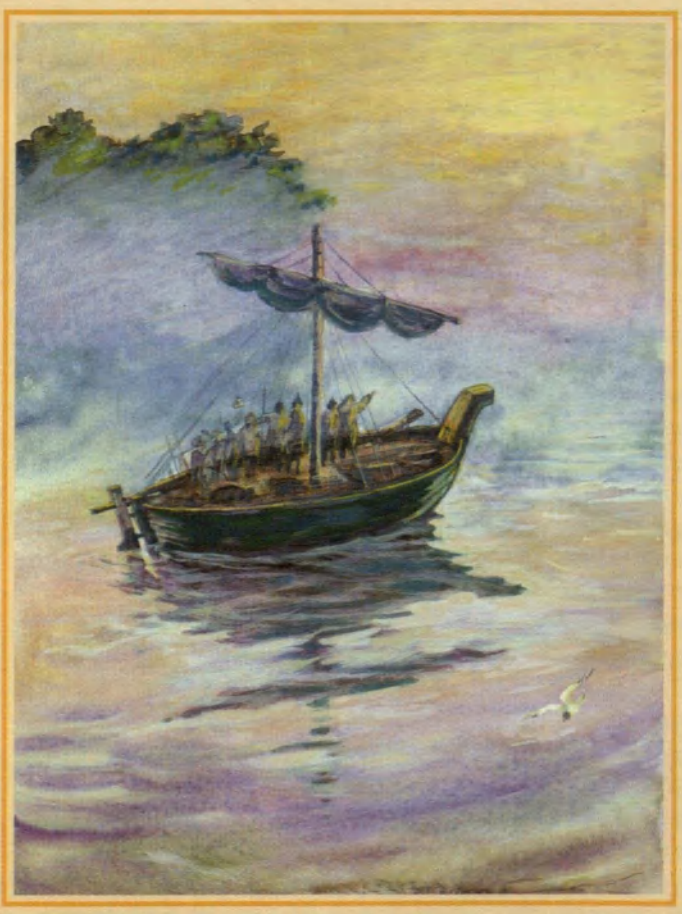
Семен Курбский и Петр Ушатый, оставив кочи, до Ляпина-городка двигались с великими трудностями, обирая каждое поселение, встретившееся на пути. Главной добычей для них были олени да собаки, лыжи да теплая одежда.

Ляпин-городок встретил их пустыми юртами, в которых остались лишь следы забегавших в них любопытных зверьков. Но и такому убогому жилью они были рады. Наутро их ждала печальная новость: несколько ратников были убиты острыми стрелами дикарей. Воеводы, опасаясь еще одного внезапного нападения, распорядились возводить частокол. Бойницы-крепости строили с низкими потолками, над ними — сплошные полати, в стенах множество маленьких отверстий для пищалей.

Узнав от вольных вятичей, вычегодцев, печорцев, что к Великому Камню движется сильная рать Руси, князья самоеди и Обдора на быстроногих оленях стали собирать дань для Новгорода, когда-то обещанную Василию Скрябе. И вот как-то ратники увидели, что Ляпин-городок окружен оленьими упряжками, сплошной стеной воинствующих дикарей, готовых дать бой чужакам.

От многолюдного сборища вооруженных луками инородцев отделилось десятка два упряжек на белых оленях. Это были старшины богатых родов. Выехав на середину реки, они положили на нарты длинные хореи-копья и встали по-хозяйски возле нарт в полной

Упряжка остановилась возле поляны у подножия горы, где горели костры: охотники и оленщики отдавали почести убитому медведю, воспевали главного посредника между Торумом и людьми.



Ладьи с ратниками плыли
по Волге и Каме-реке под парусами.
Надолго к берегам не приставали,
знали, ждут их устюжане со славным
воеводой Леонтием Русиновым.

уверенности, что никто не посмеет их тронуть. На каждого ратника было нацелено не по одной стреле. Со всех сторон слышались удары бубнов. Шаманы сзывали на помощь своим князьям добрых духов. Но не думали робеть и ратники. Отслужив молебен, они натянули кольчуги и тягиляи. Зная силу летучих стрел, они выставили перед собой щиты. Благословясь, князья приказали произвести выстрелы из привезенной с собой пушки. По округе разнеслось громкое гиканье, крики, наводящие ужас. Олени, испугавшись пушечного выстрела, рванули в разные стороны, переворачивая нарты с седоками. И только умелые каюры смогли остановить их.

Подъехав к самоедским старшинам, русичи увидели их растерянность. Среди них выделялся один, старший. Он был среднего роста, его плоское морщинистое лицо казалось грубо срубленным, глаза постоянно слезились. Один из толмачей, привезенный с Печоры, перевел ему слова князя Курбского:

— Русские пришли на эту землю с миром. Мы дадим вам за ваши меха то, чего у вас нет: ткань для одежды, топоры, бусы, ножи, иглы, котлы.

Тут же подъехала груженная товарами нарта. Сбросив оленьи шкуры, ратники расстелили на снегу тюк красной материи, на нем разложили котлы, топоры...

Старший при виде товаров защелкал языком. Подойдя к берестяным коробам с разноцветным бисером, он стал брать его пригоршнями, прищелкивая языком, как токующий глухарь. Бисер сыпался между пальцев.

Над многолюдным сборищем пронесся разноголосый гул. Эти дикари от отцов знали о своем обещании платить дань русским. Один из старших самоедов подошел к оленю и проворно ударил его ножом под левую

лопатку. Животное, не успев издать звук, рухнуло на снег. Подбежавшие соплеменники вмиг его освежевали, чулком стащив шкуру. В освобожденную от внутренностей тушу собралась парная кровь. Все старшины стали пить ее, есть сырые оленьи почки и печень. Это был жест примирения.

По обеим сторонам реки, то в одном месте, то в другом, закурился пар над тушами заколотых оленей. Зазвенели шаманские бубны. Князья ликовали, ратники разрядили бердыши.

Трое суток звучали шаманские бубны. За это время самоеды принесли в казну великого Московского князя положенную дань: с каждого мужчины по песцу и соболю...

Не далеко и не близко от Ляпина остановили свои кочи на зимовку Василий Иванович Заболотский-Бражник да воевода Леонтий Родионович. Их путь был другим. Они приняли дерзкое решение: через Вишеру, отыскав в горах щель, перетащить ладьи и спустить их по горным речушкам на Талтию-реку в Лозьву, а оттуда на Тавду и Туру в Пелымское княжество.

Скоро зима закружила, завьюжила. Безоленному человеку здесь и шага не шагнуть: снег по пояс, разве что лыжи — спасение. Лесовик-охотник Харитон, толмачи и ратники встретили следы лосей, диких оленей, боровой птицы. «С голоду не помрем!» — обрадовался Харитон. А в это время на зимовье их ждали с нетерпением.

Хвори подстерегали людей. На взгорке, где был похоронен уже не один ратник, прибавилось еще немало земляных холмиков с православными крестами. «Русская кость тепло любит», — роптали ратники. Их трудно было сдерживать: все чаще вспыхивали между ними

драки, ссоры. Не раз терпеливому воеводе приходилось усмирять провинившихся прилюдной поркой, чтобы другим было неповадно.

Три лайки, прихваченные ратниками в начале плавания, стали полными хозяевами на зимовье. Они отпугивали шатунов-медведей, соблазненных людским запахом, облаивали бегающих вокруг зверьков: зайцев, соболей, белок. Это случалось по ночам, днем же они, свернувшись калачиком, подремывали в какой-нибудь из землянок, грелись, а к ночи выпроваживались на снег, но и тут они находили место у потухших костров, возле теплой золы.

Бег оленьих упряжек они услышали первыми и затявкали наперебой. Воевода Леонтий Родионович, давно проснувшись, ворочался с боку на бок, вспоминая Алену, ребятишек, тоскующих без него. Неистовый лай собак разбудил многих, но никто не решался подняться; подумали: опять к зимовью шатун-медведь подошел. Оказалось, вернулись толмачи и ратники. Они пригнали с собой оленье стадо. Василий Иванович и Леонтий Родионович с радостью их встретили. Вернувшиеся хоть и устали, но были довольны. Не дожидаясь вопросов, толмач, по-видимому лучше других говоривший по-русски, сбивчиво начал рассказывать, что, подходя к Нёр-ойке, они увидели большое стадо оленей. Пастухи, поначалу испугавшиеся выстрелов, мало-помалу успокоились и позвали их в чум. Стадо, которому пастухи не знали счета, принадлежало старшине Течеку, главный чум которого стоял на Малье-реке, притоке Сосьвы. Пастухи рассказали, что их хозяин сильный и злой. А недавно они слышали, как грозный дух Нёр-ойки повернул одну сторону своей горы, и с нее повалились камни, перегородив узкий проход. Много нарт с войском князя Юмшана упало в пропасть.

Князь Василий Иванович и воевода мало что поняли из торопливых слов толмача. Но ратники пояснили, что в горах случился обвал, о чем пастухи узнали от измученного вогулича, спустившегося к ним на лыжах по каменистым увалам. Еще они узнали, что пелымский князь Юмшан, собрав войско по бунтарской стреле, хотел пройти через Нёр-ойку навстречу князю Василий Ивановичу. По словам пастухов, пелымские вогуличи вернулись назад, а Юмшан, боясь духов Нёр-ойки, собрался ждать русичей со своей стороны Камня.

Князю и воеводе было о чем задуматься. Главным делом стал поиск ущелья, прорезанного ручьями, через которое хотел проехать Юмшан и где без особого труда можно было перетащить ладьи.

Пригнанное толмачами стадо облегчило зимовку. Ратники пристрастились ездить на охоту, есть оленину. А из перемерэших и перемятых руками шкур сшили одежду и обувь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Шаман Хрущ сладко дремал на мягких шкурах, не предчувствуя беды, когда в ущелье разразился снежный обвал. Приоткрыв один глаз, он увидел, как с обрыва, кувыркаясь в воздухе, летят олени с нартами и седоками. В страхе он зажмурился. Но тут он уже сам полетел вниз, мысленно прощаясь с жизнью. Его нарту подбросило в воздухе, олени жалобно замычали. Хрущ услышал, как треснул нар-товый полоз, и, перелетев через оленьи спины, он угодил лицом в снежный сугроб. Вокруг слышался грохот падающих с гор камней, которые вздыбливали облака снега. «Великий Нёр-ойка повернул нам другую сторону, — дрожа и рыдая, думал шаман. — Он прогневался на нас!» Шаман знал, что земля полна добрыми и злыми духами, он часто обращался к ним, просил помочь маленькому человеку. Но ему еще никогда не приходилось видеть великую силу богов. То, что случилось в горах, уже никогда не позволит ему сомневаться в силе Нёр-ойки. «Пропускал же дух раньше по этому ущелью оленьи упряжки»,— недоумевал шаман. Он не мог знать, что обвал случился из-за топота оленьих копыт. Одно дело, когда по тропе пробегало

две-три упряжки, и совсем другое, когда шло тысячное стадо.

Оставшиеся в живых причину происшедшего видели в Емас-экве. Только она одна могла так разгневать великого Торума. Нёр-ойка был вторым сыном великого Торума. Он был спущен с небес на землю и, как самый сильный, был поставлен отцом охранять горы, текущие через них реки, речушки и озера. Ему была дана могучая сила поворачивать горы, закрывать в них ходы и выходы. Только однажды богатырям с Верхней Лозьвы удалось открыть одну из четырех плотин, пустить воду в другую сторону, но с тех пор люди, проезжая мимо этого места, должны были бросать в дар монетку или, связав семь лоскутков, пускать их по течению, чтобы не спугнуть удачу и не перепутать тропы. В этом месте надо было проходить тихо, безмолвно, не оставляя после себя ни соринки, ни волоска. Но двери этой плотины, этого «хрустального дома», никто не видел, никто не мог найти. «Быть может, мы погнали оленей по «хрустальному ущелью?» — подумал шаман.

Мысли о князе Юмшане заставили Хруща приподняться и вылезти из снега. Грохот, сотрясший землю, доносился сзади, значит, нарты с князем Юмшаном успели проскочить ущелье, и быть может, их тоже сбросило сюда. Нестерпимо болели ноги, Хрущ понял: встать у него не хватит сил. Перевернутая нарта с поломанным полозом лежала поодаль. Валялись на снегу бубен и колотушка, хорей и шкуры. И только бунтарская стрела, спрятанная в меховом мешке и крепко привязанная ремнями к нарте, которую передал ему на хранение Юмшан, была на месте. Испуганные олени, перервав упряжь, увязли в глубоком снегу. Где-то вдали виднелись темные пятна: то ли люди, то ли олени.

Собрав все силы, Хрущ дотянулся до обломков нартового полоза и подтянул шкуру, на которой лежал бубен. Сколько раз касались руки его туго натянутой шкуры, содранной со священного оленя. Сколько людских слез и желаний было вверено ему, этому желтоватому кругу, изображающему солнце! Сколько раз его голосом он обращался к Торуму! Он вдруг почувствовал, что в его руках совсем нет силы. Да и колотушки нет. Может, полозом можно стучать по бубну? Но что скажут духи? Громкое мычание оленя-коренника, по-видимому лежащего на снегу со сломанным хребтом, придало решимости шаману, и он помимо собственной воли застучал нартовым полозом по бубну. Глухие звуки полетели над снежной долиной. Оказавшиеся под снегом вогуличи, забыв про увечья и ушибы, восприняли эти звуки как спасение. А Хрущ все стучал и стучал, боясь поднять голову. Вдруг рядом послышались приглушенные голоса. Вдали он увидел пурхающуюся в снегу оленью упряжку, приближающуюся к нему. Вогулич был не знаком шаману. По-видимому, он прибыл к Юмшану, как и многие, по зову бунтарской стрелы.

— Там, там! — показывал он рукой на ложбину, и шаман догадался, что испуганный вогулич говорит о князе Юмшане. Протянутая рука шамана просила приподнять его. Подошедшие вогуличи волоком затащили Хруща на нарты. Он только успел тихим голосом проронить слово «Юмшан», как бубен выпал из его рук и покатился вдоль ложбины. Вогуличи разом вскрикнули, видя в этом недобрый знак. Хрущ больше не издал ни звука. Душа его в этот миг отлетала к богам, на вершину Нёр-ойки.

Надвигалась ночь. Разбушевавшаяся стихия еще не утихла. Далекий грохот падающих лавин снега и камней, содрогавших землю, доносился до долины гулким эхом.

Оставшиеся в живых плохо сознавали, что с ними случилось. «Нёр-ойка, Нёр-ойка», — шептали они со страхом, боясь посмотреть на вершины. До этого вогуличи любили этого духа. По преданиям, Нёр-ойка украл у старшего брата Тагт-котиля жену и утащил ее в свои владения на вершину горы. Убегая от погони брата по ущельям и речушкам, он приморозил ко льду подвязки от кисов. Второпях он не смог из развязать, обрезал ножом и бросил в разные стороны, сказав в сердцах: «Превратитесь в змей, день и ночь точите водой камни, и пусть через ваши спины не сможет пройти ни одна женщина». Возможно, именно поэтому женщины-вогулки никогда не бывали в этом ущелье.

Прибывшие по бунтарской стреле к Юмшану вогулы не знали, что их храбрый князь вез с собой Ёмас-экву. Иначе они ни за что не погнали бы сюда упряжки. А те, кто знал о Ёмас-экве, были уверены, что Нёр-ойка рассердился на Юмшана именно за это. Но вслух об этом никто не говорил.

Сидя на снегу и спрятав лицо в савик, слуга Песик разговаривал сам с собой: «Зачем Юмшан хохотал с ней в чуме? Юмшан никогда не хохотал. Быть может, ее послал к нам сам Нёр-ойка? А теперь мы все замерзнем в снегу. Все превратимся в маленькие камешки». Он дрожал от суеверного страха и холода. Вдруг Песик заметил княжеские упряжки: они лежали на самом дне ущелья. Большерогие олени стояли на ногах. Слуга немного успокоился, увидев внизу шевелящиеся фигуры. Недолго раздумывая, он зажмурил глаза и покатился вниз, как снежный ком. Сквозь меховой савик он ощущал глыбы спрессованного снега. Веселая хозяйская лайка, подбежав к Песику, жалобно заскулила, затем громко залаяла, прыгая возле него. Ее лай подхватили другие собаки. Ложбина полнилась звуками и голосами.

Уцелевшие олени поднимались на ноги, фыркая, стряхивали со спин снег.

Люди, охая от полученных ушибов и ударов, находили в себе силы переворачивать нарты, отыскивать разбросанные шкуры. Позже других сел на снег огромного роста Солян. По-видимому, ему повезло меньше других, он сидел на снегу безучастный ко всему, только большой пригоршней сгребал снег и толкал его в рот.

Песик стал показывать собаке на лежащего под сугробом человека. Пронзительным лаем разразилась та, признав хозяина. Она стала трепать его белые унты, грести снег лапами и вдруг завыла, подняв вверх узкую мордочку. Песик перекатился, не в силах встать на ноги. И тут раздался громкий голос Соляна: «Юм-шан! Юм-шан!»

Юмшан был в беспамятстве.

— Колоть коренника! — сказал кто-то, подползая к князю и ощупывая его лицо.

— Коренника колоть! — настойчиво требовали подъехавшие вогуличи.

На снегу в беспорядке валялись лук, стрелы, шкуры, переломанные нарты. Чья-то ловкая рука набросила тынзян на понуро стоявшего коренника и подтянула к сугробу. Вогуличей не надо учить колоть оленей. Это они делают умело и быстро.

Первая кровь заколотого оленя была собрана для Юмшана. Юмшан, на радость сородичам, выпил ее. Все вздохнули с облегчением. Закололи еще одного оленя со сломанным хребтом...

Над ущельем стояла тишина. Все делали молча: собирали стрелы и луки, подбирали шкуры, устилали ими уцелевшие нарты, изувеченных вогуличей клали на них, поили кровью, кормили свежей олениной.

Только к полудню следующего дня Солян отважился встать на широкие лыжи. Взявшись за большой рог оленя из княжеской упряжки, он сделал несколько шагов. Скрипнули полозья, натянулась упряжь, собаки навострили уши. Эти первые робкие шаги Соляна преобразили людей. Кто-то схватил в руки хорей, кто-то по привычке сел на нарту, но как им обратиться к богам, ведь никто из них не был шаманом. Все были удручены смертью Хруща. И тут к бубну подошел вогулич, прибывший к Юмшану по бунтарской стреле. Он был молод, приехал с высокой Ивдельской сопки. Вытащив из своего мешка два топора, он ловко накинул шаманский халат (он тоже лежал в мешке) и дробно застучал топорами, закружил по снегу. Вогуличи воспряли. Многие посчитали, что этого парня спустил сам Нёр-ойка с одной из своих вершин.

Через какое-то время тот в изнеможении упал на снег. Солян закричал радостно: «Юмшан открыл глаза!». Вокруг стало шумно и суетно, будто враз все ожили, а главное, в них поселилась уверенность, что великий Торум не забыл о бедных вогуличах! К светловолосому молодому шаману подвели упряжки из княжеского стада: олени были белыми и сильными. Этому вогуличу теперь предстояло сопровождать Юмшана. Звали его Перко.

Юмшан возвращался к жизни, будто выплывал из небытия. Прошла ночь, наступило утро нового дня, когда он спросил: «Где Хрущ?» Солян долго говорил ему что-то на ухо, немного погодя, Юмшан позвал к нарте Перко. Еще не пришедший в себя от ворожбы, молодой шаман шел к нарте Юмшана нетвердой походкой. Юмшан не повернул к нему головы, а только протянул руку. Рука Перко показалась ему сильной и горячей. Он подержал ее в своей дольше обычного, что заставило

Соляна подобострастно поклониться молодому шаману и посадить его на белую шкуру.

Юмшан долго не решался выезжать из ущелья. Он искал объяснение случившемуся. Ведь этим ущельем не раз переезжал Великий Камень его отец, и он сам не раз водил сюда соплеменников в набеги на белоглазых людей и никогда не слышал, чтобы горы сбрасывали камни на людей. Он видел причину приключившегося несчастья только в своих личных грехах. Это могло случиться из-за Е мас-эквы, но он не хотел винить в этом несчастную женщину, которая хоть и ненадолго, но согрела его сердце.

Раздумывая над случившимся, он с ужасом понимал, что большая часть сородичей осталась на той стороне Великого Камня, обвал преградил им путь, другие лежат под снежными и каменными глыбами. На то, что поход закончится удачно, не было надежды. Главным сейчас было вывести людей из ущелья и найти корм оленям... Каюры-пастухи уже давно определили, в какой стороне следует искать оленьи пастбища, кто-то уже из них прокружил тропу. Олени нетерпеливо лизали первые попавшиеся на дороге кочки, разбивали копытами наст и отыскивали ниточки примороженного мха. Выведенные каюрами на простор, олени понеслись с неукротимой силой в редколесье, не обращая внимания ни на окрики пастухов, ни на лай собак. Они выбивали копытами глубокие ямы и совали рогатые головы в снег в поисках мха.

Походный княжеский чум вогуличи поставили на середине болота. Растопили чувал, разложили шкуры, все было привычно, только не хватало ловкого слуги Песика, который лежал с переломанными ногами в соседнем чуме с другими изувеченными сородичами. Шамана Хруща и найденных в ущелье вогуличей похоронили

достойно, соблюдая ритуал погребения: закололи в жертву оленей, оставили в деревянном срубе стрелы, луки, лыжи — все, что им принадлежало. Тело Ёмас-эквы не нашли, и поэтому никто уже не сомневался, что сам Нёр-ойка взял ее себе в жены. Больше всего в это хотел верить сам Юмшан. Он лежал на шкурах, маясь в недуге, и, крадучись, плакал, ощущая ее присутствие где-то рядом возле себя.

А пастухи тем временем объезжали ложбины предгорья, искали обратную дорогу. Они наткнулись на огромное стадо пятнистых низкорослых оленей, большинство из них уже сбросило рога. Изловив нескольких, пастухи нашли на их ушах тамги. Они не походили на знаки вогуличей с Лозьвы-реки и Пелыма. Пастухов стада найти было нетрудно. Косматые, черноволосые, не носившие кос, они показались вогуличам очень бедными, хотя и имели много оленей. По торопливым, малопонятными словам и жестам они догадались, что это тундровые остяки. Хозяин велел им гнать оленей по весне с болота на болото, а дальше через увал между высоких скал. Через Камень сам он на нартах не ездит, а ходит пешком. В горах пастухи не бывают, боятся. Недавно слышали, как падали камни, отчего их олени разбежались по болотам, и теперь они собирают их. Они рассказали, что хозяин их богат. Летом он рекой через щель в горах проплывает мимо Нёр-ойки.

«Найдем щель и мы», — подумал Юмшан. Малопомалу он поправлялся от удара, но тревожные думы стали будить его по ночам. Многое из задуманного сделать ему уже не под силу. Напасть на русичей, прибывших с Вишеры, казалось делом несбыточным. Возвращаться же через горы теперь никто из вогуличей не согласится. Напуганные обвалом, отрезанные Великим Камнем от своих мест, они будут искать переход.

«Русичи тоже будут переходить Камень», — думал Юмшан и надеялся встретить их там. Не мог же он возвращаться на Лозьву и Пелым с пустыми руками, потеряв в походе половину сородичей!

В один из вечеров он позвал к себе молодого шамана Перко. Тот облачился в шаманский халат с пришитыми к нему всевозможными украшениями. На нем была шапка с вышитыми на ней змеями и лягушками, отороченная горностаевым мехом, пояс с множеством оберегов, в руках он держал мешок из кожи молодого олененка, в котором лежали топоры. К Юмшану шаман вошел робко. Но, к его удивлению, Юмшан не стал просить его ворожить. Он велел ему сесть рядом и рассказать все, что тот знает о Великом Камне и о дороге, которая минует горы.

Юмшану нравился молодой шаман. Перко был молод и чист лицом, его золотые волосы были заплетены в толстые косы. Князю вспомнилось, что он сам в юности был таким же красивым. Он улыбнулся шаману и даже смутился в первый миг, не зная, с чего начать разговор. А узнать Юмшан хотел у шамана Перко, какой тропой он приехал к подножию Нёр-ойки, а главное, не знает ли он другой дороги через Камень.

Юмшан никак не ожидал, что Перко сразу скажет ему, что неверной дорогой гнал князь своих оленей. Это не понравилось Юмшану. Красные пятна выступили на его лице. Шаман Хрущ никогда не говорил ему, что он, князь, делает что-то не так. А Перко вроде и не заметил раздражения Юмшана и продолжил:

— Наша река Ивдель — маленькая река, но по ней легко приплыть в Лозьву. Ты гнал свои упряжки по долине Лозьвы, олени сделали большой круг. Я ехал на своих оленях три дня, гнал их по руслу реки Ивдель. Там есть река Татлия, там Поясовый Камень узкий,

низкий, затем опять протока. Самая высокая моя гора — Ивдельская сопка. С нее я много-много рек вижу. Они бегут все в одну сторону. Нёр-ойка далеко. Оленям тяжело. Переходить Камень тяжело.

Юмшан не скрывал удивления.

— Зачем тогда шаманишь, если знаешь все дороги? — спросил Юмшан.

— Дороги знаю, — бойко ответил Перко, — но Торума не знаю, — тихо добавил он. — Мало-мало знаю. Мало-мало духи говорят со мной. Слушаю, слушаю. Потому и живу на сопке — ближе к Торуму, и все равно мало-мало слышу.

— Был на Вишере? — спросил Юмшан шамана.

— Был, — ответил он без колебания. — Один гонял оленей прошлой зимой.

Юмшан понял, что Перко знает обратную дорогу, которая минует кручи и ущелья. Потом он велел ему поворожить в чуме. Перко согласился и стал готовиться: достал два завернутых в шкуры небольших топора без топорищ, откинув занавеску от постели Юмшана, подошел и взял деревянный чурбан, на котором часто сидел слуга Песик. Размахнувшись, он всадил топор в дерево. Пристально и долго глядел на Юмшана, потом попросил его отвернуться.

Первый звон топоров, казалось, облетел весь чум, второй был потише, третий еле слышен. После раздалось глухариное котканье, лай лисицы, мычание лося...

Очнулся Перко на закате солнца. Долго сидел с низко опущенной головой. Когда встал, лицо его было белее березы, а глаза цвета ясного голубого неба.

— Твои мысли о том, как перегнать оленей на свою сторону, — заговорил Перко. — Мысли твои путаются. — Юмшан кивнул, но не перебивал Перко. — Ты боишься перехода через Камень. Он кажется тебе

пастью прожорливой волчихи. Ты боишься возвращаться домой побежденным. Ты боишься своего старого отца.

Князь Юмшан закрыл ладонями уши. Он не хотел слышать правдивые слова шамана. Он заставил его замолчать и выйти из чума.

Перко был в недоумении. Сколько он гадал, никто никогда так сердито не разговаривал с ним. Вышел он из чума понурый.

Прошло много времени. Луна обошла полнеба. Юмшан велел Соляну вновь позвать Перко.

— Не бери топоры, — сказал Солян, когда Перко стал вытаскивать их из-под шкур.

На маленьком низком столике была разостлана березовая пластина, на которой стояли берестяные чашки, выдолбленные деревянные черпаки, прессованная лосиная губа, что считается одним из лакомств у вогулов, языки, а главное — свежая оленья кровь и сырая печень только что заколотого оленя.

Юмшан пригласил Перко сесть за стол вместе с ним. Тот смутился. Обычно шаманы не садились с князьями за один стол. Но сейчас — другое дело, угощение было приготовлено для Перко. Юмшан счел нужным угостить смелого молодого вогула.

Тускло горел жировик, еле-еле освещая очертания предметов. Юмшан, умевший держать себя с достоинством, не изменил себе и на этот раз: одет он был в широкую красную рубаху, сшитую из крапивы. Вогульские женщины собирали стебли крапивы после морозов, очищали от листьев. Огромными костяными ножами разделывали стебли, теребили их на волокна, после собирали в пучки, сушили, расчесывали, пряли из них нитки. Нитки красили в разные цвета, краску делали из трав, кореньев, хвои, листьев, а потом их ткали. У Юмшана

было много жен и много рубах. Одни быстро рвались, другие теряли красоту. А эта, сшитая его последней женой, самая красивая, была украшена белым орнаментом. Юмшан для чего-то прицепил на пояс русскую саблю и сидел вполне довольный собой. Перко же он показался усталым, озабоченным. Холодные глаза выделялись на темном лице. По всей видимости, Юмшан долго боролся с собой, прежде чем обратился к шаману:

— Ты знаешь мысли моего отца? — Перко кивнул. — Ты знаешь речку, по которой можно погнать оленей, чтобы выехать на Лозьву? Там остались вогуличи, они ждут меня.

— Ты боишься Великого Камня? — в упор спросил Перко князя. Тот не промолвил ни слова. — Знаю, знаю, — сказал Перко. — У великой реки Вишеры много проток и есть совсем маленькая, ее Почмогой зовут. Она из камней бежит, чистая-чистая. Хариус большой ходит там. Потом теряется. Потом немного камней, — Перко привстал, поднял руку над головой, как бы показывая, какие невысокие камни-валуны. — Олень их не боится, — пояснил он. — Потом река Талтия. Берега широкие, хорошие. Едешь-едешь, потом река Ивдель — широкая. Ее родила Лозьва. По Ивделю сразу попадаешь в вершину Лозьвы.

Юмшан слушал Перко, мысленно пытаясь представить дорогу, по которой проезжал шаман.

— Мало-мало кто знает дорогу. Летом совсем хорошо. Не надо кружить горы.

— Памасибо! — сказал Юмшан. Он очень редко кого-либо благодарил и каждое свое «памасибо» помнил — кому и за что сказанное.

На второй день Юмшан велел Соляну, Перко и еще трем верным слугам речными долинами объехать Камень

Юмшан каждый день слышал недовольство вогуличей, которые говорили о возвращении в свои чумы. Но он все-таки еще надеялся на встречу с русскими, прибывшими в эти края Вишерой-рекой.

В быстро несущихся облаках уже были первые признаки весны. Зашевелились жизненные соки. Уже чувствовались запахи просыпающейся земли.

Возвращения Соляна и Перко Юмшан ждал с нетерпением и, чтобы не перепутать дни, велел новому слуге ставить глубокие зарубки на выструганной им трехгранной сосновой палке. Тот делал это исправно. По прошествии десяти лун в чум Юмшана ввалился Солян, а с ним остальные. Лица их были светлые, румяные от первых ярких солнечных лучей.

— Все по рекам и по рекам. Хорошая дорога, — сказал Солян и добавил, что в одном стойбище, на речке Талтии, встретили шамана Туя. Он приехал с ними. На лице Юмшана появилось недовольство, его вполне устраивала ворожба молодого Перко. Солян решил заступиться за Туя:

— Туй ворожит на бубне.

И тогда Юмшан догадался, что вогуличи соскучились по звукам бубна.

Солян продолжал:

— Перко хороший. Перко твой шаман. Туй хороший. Плясать надо. Мужики мало-мало соскучились.

Узнав о прибытии шамана Туя, вогуличи обрадовались, стали разжигать большой костер в надежде справить большое моление.

Разгорелся громадный костер. Появившийся в полном шаманском облачении, с бубном и колотушкой шаман Туй вызвал возгласы восторга. Прежде чем начать справлять праздник, ударить в бубен, Туй подошел

к Юмшану, сидевшему на узких нартах, устланных белыми шкурами, и сказал:

— У твоих многочисленных вогуличей, твоих многочисленных братьев, которых собрала бунтарская стрела, Торум просит семь оленей, привязанных к ремню, чтобы твоей рукой, готовой к пиру, принести жертву для похода, созвать добрых духов и просить у них спинную силу, брюшную силу!

Юмшан, не раздумывая, пожертвовал оленей. После принятия горячей крови, теплой печени и лакомых оленьих ребрышек Туй ударил в бубен. Начались пляски, сулящие удачу в схватке с русичами. На поясах многих танцующих возле костра блестели медвежьи бляшки, поясные застежки, звенели ножи в ножнах, кресала для высечения огня, разные обереги в виде медвежьих зубов, дятловых клювов, глухариных лап. От резких движений звенели украшения в косах: кольца, пуговицы, цепочки. Они отпугивали злую силу.

Юмшан радовался веселому настроению вогуличей, шаману Тую, а главное — молодому Перко, золотоволосому молодому вещуну, сидевшему рядом с ним.

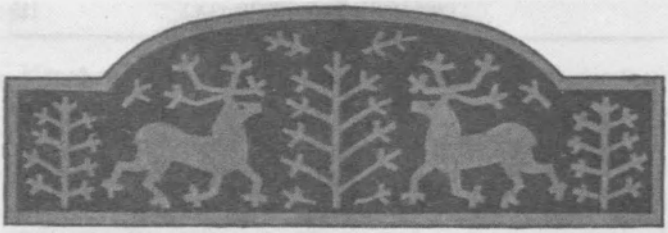
В лучах заходящего солнца трудно было увидеть лица соплеменников, но их движения, то плавные, то резкие, выражали внутреннее настроение вогуличей, под звуки бубна они подражали гордому бегу оленя, ленивому медведю-шатуну, взмахам крыльев глухаря, котканью косача, свисту рябчика. При этом косы вогуличей лихо разлетались в такт движениям. Косы — обязательная принадлежность каждого воина-мужчины. В косах, как они считали, живет мужская сила, их гордость, благородство. О косах пелось в песнях: «Подобен болотной морошке косатый богатырь, подобен болотной кочке сильный богатырь!» Потерявший волосы мужчина терял больше, чем жизнь. Косы искусно украшались

разноцветными нитками, накосниками, медными фигурками птиц и зверей. Юмшан машинально поправил свои косы, лежащие на груди.

Большой костер догорал. Обуглившийся тонкостволый березняк источал горьковатый запах сырой коры. Сгоревшие поленья, рассыпаясь на мелкие угольки, быстро белели, превращаясь в пепел и золу...

Смолкли призывные звуки бубна, и сразу над чумами нависла темнота, будто густые облака ждали этого мига. Но в воздухе еще жили отзвуки людских голосов.

Вслушиваясь в тишину, Юмшан уловил едва слышное журчание воды. Началось медленное таяние снегов на Нёр-ойке. Струйки еще прятались в морщинистых скалистых складках. «Быть может, это Е мас-эква подает знак», — подумалось Юмшану, и он торопливо зашел в чум.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Века пережила в народе поговорка: без оленя в тундре человек — сирота. Те, кому довелось коротать в снеговом царстве не то что годы, а хотя бы даже дни, знают это. Дружина князя Василия Ивановича Заболотского-Бражника и воеводы Леонтия Родионовича Русинова, вынужденная коротать зиму у подножия Великого Камня, поневоле оценила это неприхотливое животное.

По прошествии недели после возвращения из тундры толмачей им уже никто не кричал: «эй ты, немытая харя!» или «эй ты, бестолковый вогулич!». Их стали звать по именам. Старшего звали почтительно Ир-ойка, других звали Ели и Уси. Они ловко управлялись с пригнанным стадом, которое внесло оживление в их однообразную убогую жизнь. Не без интереса относились к занятиям вогуличей русичи. Они научили ратников шить из шкур теплые чарки и заменять ими выношенные и сгнившие дотла бродни, выделывать мягкие крепкие ремни. До многого ратники додумывались сами. Меховой лоскут всегда ласков.

Василий Иванович, побывав в стаде и глядя на вогула, одетого в меховой савик, заметил: «Есть чему

удивляться русскому человеку, одетому в сермяжный кафтан да сшитую из войлока поддевку».

Морозы стояли знатные. Промороженный снег не скрипел, а рассыпался на крупинки. Трещала ременная упряжь, потрескивали нарты.

— На, садись, катать буду! — увидев князя, сказал Ир-ойка, протягивая ему хорей. — Емас! Ветер! — улыбался он, и только тут князь заметил, что лицо вогулича безусое, лишь на бороде редкие волоски. Продубленная ветрами и морозами кожа казалась непроницаемой маской с явно обозначенными морщинами на лбу. «Старый вогулич», — подумал князь, беря из рук толмача хорей.

Проехав на упряжке несколько раз, он уже научился держать хорей — тот не выскальзывал из его рук, правда, управлять оленями было еще сложно. Олени чувствуют руку наездника. Если ими управляет чужой, они могут не сделать ни шага, сколько ни стучи по их спинам хореем. Кроме того, на нартах нужно сидеть умеючи — ноги надо ставить на полоз, а не бороздить ими по снегу. На нарте, управляя оленями, не разляжешься, не наклонишься...

Вогул похлопал ладонью по шкуре, приглашая князя сесть. Тот ловко вскочил на нарту, и олени побежали вдоль берега...

Зимовщики немало кружили вдоль берегов Вишеры, проезжая в глубь каждой реки и речушки, истоками уходивших к Камню. Много позже, по прошествии века, здесь будет проложен путь от Москвы через Чердынь по Вишере и ее узкой протоке... А пока, сколько ни искали дороги, — напрасно.

С приближением тепла снег стал испещрен звериными следами, косачьими токовищами. Сугробы оседали, яснее вырисовывались русла речушек, впадающих в Вишеру.

— Сколько еще будем плыть, сколько тащить ладьи? — вопрошал князь. — Лишь бы перевалить Великий Камень!

Однажды вогуличи увидели летящего по небу чернокрылого ворона. Его прилет вызвал у них восторг. «Ворон небо трет! Ворон весну несет! Солнце птицу ведет!» — кричали они, размахивая руками. Им хотелось рассказать о большом Вороньем празднике, который встречают здесь в каждом жилище. Даже молчаливый вогул Ели, глаза которого в детстве были объедены комарами, запрокинул голову, чтобы посмотреть на гордого ворона.

— Надо и нам пробираться дальше, — сказал Василий Иванович. — В горах снег уже начал таять.

На зимовье застучали топоры. Истосковавшиеся по работе ратники чинили ладьи и кочи, подшивали днища, конопатили мхом малые трещины, заливали припасенной смолой.

Молчаливый вогул Ели неожиданно для всех закричал на Ир-ойку из-за того, что тот совсем не знает Великого Камня и только зря гоняет и мучает оленей. Об этой ссоре рассказали Василию Ивановичу. На следующее утро есаул привел Ели. Тот подобострастно поклонился князю и сел возле порога на корточки.

— Сказывай, про че ты там говорил Ир-ойке? — повысив голос, спросил его есаул. Тот забормотал что-то невнятное. — Говорит, будто Ир-ойка совсем не знает Великого Камня, зря оленей туда-сюда гоняет. Он оленей только знает, горы — не знает, — пояснил есаул невнятный говор толмача.

— Не знает! — глядя под ноги, громко сказал Ели и заговорил быстро, путая русские слова с вогульскими.

— Да он, ваше благородие, болтает, будто через Камень есть одна дорога — от Печоры. Ту дорогу

каждый остяк, самоед и русский боярин знает, а тут дороги нет. Ругает Ир-ойку, что тот правду вам не говорит.

Василий Иванович позвал боярских сыновей, воеводу.

— Вогулич говорит, зря по округе ползаете, — сурово сказал Василий Иванович. — Выспросите у вогулича все как следует, опосля доложите.

Как стало известно, Ели жил по соседству с лесными ненцами и самоедью и с ними не один раз ходил на Печору, переваливая Великий Камень реками, протоками, волоками. Он знает, что на ладьях и кочах ходят по Сыгве-реке, Щогуру, знает, что Камень режут реки Сольва, Сосьва, Сорохта... Далеко эти реки. Надо плыть Печорой, Вишерой, нет легкой тропы, нет больших рек.

— Здесь таскать надо, — заключил Ели.

— Да не может того быть! — выслушав рассказ вогулича, сказал Василий Иванович.— Просто тут никто не бывал. За весну и лето, даст Бог, и перевалим Богом созданную стену!

На следующее утро, когда в воздухе кружились мокрые снежинки, есаул заметил сидевшего на чурбане толмача Уси. Тот сидел, согнувшись, спрятав лицо в облезлый ворот малицы. Услышав приближающиеся шаги, он вздрогнул и стряхнул с савика снег.

— Туда, туда надо идти, — показал он рукой с плотно сжатыми пальцами. — Туда! Там Лозьва, Тавда, Тура, Пелым. Туда, прямо на солнышко. Уси знает, Ели знает. Ир-ойка не знает. Ир-ойка другую сторону знает. Другую дорогу. На Камне много щелей.

Есаул почувствовал, что вогулич немало передумал, если до сих пор не ушел спать в землянку.

— Ели хорошо солнце знает. Сразу дорогу находит.

Как перевалить Великий Камень, думали долго. Жалели, что нет в этих местах лошадей. Придется все взваливать на плечи, придется ладьи тащить.

Решили, что одни пойдут горами, другие поплывут протоками, как только вскроются реки. С пешими пойдет воевода Леонтий Родионович Русинов, в плаванье — Василий Иванович Заболотский-Бражник. Скарба на каждую спину набралось выше головы. Все остальное оставалось в ладьях и кочах. Леонтий Родионович сам хаживал по лесам и знал, что любая засека, любая речушка к жилью всегда выведет. А тут из ущелий попробуй выберись! В загадочных ходах-выходах сам черт запутается. После долгих разговоров и споров Уси отправили с ним проводником. А Ели доверили оленей. Олень и летом нарты таскает. К предгорью скарб перевозили на оленьих нартах.

Весна с каждым днем чувствовалась все явственней. Все, кто спрятался от холода в берлогах, норах, дуплах, под кустами и кочками, теперь выползали, вылетали, выныривали с криками, гоготаньем, торопились навстречу свету и теплу. Защелками клювами глухари, подзывая подруг. Зачертили крыльями снег воинствующие косачи, готовя токовище для брачных игр, зычно заревели медведицы, позевывая и потягиваясь после долгой спячки, надышавшись теплого воздуха, замычали лоси.

Вогуличи, как показали первые версты, оказались скорыми на ногу. Ратники шли между валунами друг за другом, не замечая крутизны дороги, но когда к полудню присели передохнуть и перекусить, увидели необозримую даль с узкой полоской извилистых берегов Вишеры. На взгорьях уже буйствовала весна: кое-где красовался на ветру молодой лист березняка и осинника. Травы быстро набирали цвет. Над путниками неистово жужжали появившиеся комары. Они ополчились на них

с особым остервенением в низинах: лезли в глаза, в нос, в уши. Невозможно было вздохнуть. Эта мелкая тварь, казалось, могла съесть человека живьем. Один из ратников, не выдержав налета кровопивцев, наломал огромный березовый веник и, вскочив на камень, заорал во все горло. Он отмахивался до пота, будто парился в бане, пока не услышал смех попутчиков. Поваленные бурей стволы деревьев, заросшие мхом ямы и трещины в камнях затрудняли поход, но эти трудности не шли ни в какое сравнение с натиском комариных полчищ. Недаром по весне пастухи перегоняют оленьи стада к Уралу, на взгорья, где дуют ветры и меньше комарья. Но, к счастью, начался подъем. Здесь эту тварь будто ветром сдуло. Изможденные нелегкой ходьбой и искусанные комарьем, ратники расселись на крутых отрогах и валунах и долго молчали. Бескрайний величественный вид каменистых вершин вызывал страх. Над головой низкое небо, под ногами каменные валуны. Нагроможденные в беспорядке бесформенные глыбы являли собой картину какого-то страшного побоища духов.

— Боже милостивый, — воскликнул один из боярских детей, пораженный неожиданным величием необозримого каменного исполина.

— Это малы-малы горы. Теперь крепкий лес пойдет, — ответил Уси и зашагал к чернеющим стволам елей, лиственниц, пихт.

Спасением оказался десяток оленей. Похрапывая, они медленно шли за людьми, навьюченные поклажей. После комариного ада всех прижала к земле тяжелая рука сна. Но сырость земли и холод камней скоро расшевелили путников, и они проснулись.

Воевода Леонтий Родионович старался быть впереди и подбадривать ратичей. Его пригожее лицо было искусано комарами. Спасала только кудлатая борода и

усы. Ему, как и многим, порой казались бессмысленными такие мытарства, но он понимал, что поход этот — дело государево.

Легкий, говорливый, еле слышимый шум ручейка остановил воеводу. Он запрокинул голову, чтобы увидеть блестящую струйку в расщелинах каменной глыбы, стекающую вниз тоненьким ручейком. Все кинулись к ручейку обмыть лица и шеи. Холодная вода унимала непереносимый зуд. Припадая губами к струям, ратники делали два-три глотка и отступали, не выдержав ломоты в зубах.

А на вершине горы показалась крохотная фигура человека. Это был вогулич Уси. Он махал руками, делал какие-то знаки. С гор полз густой туман, прятал фигуру вогулича в густых облаках. Отсыревшая одежда была тяжела и холодна. Ноги скользили по мокрым камням. Преодолевая подъем, все думали об одном: правильно ли ведет их вогулич и придет ли когда-нибудь конец каменному царству? Стонали ратники, похрапывали олени, чувствуя, что с каждым шагом они поднимаются куда-то в поднебесье.

— Коли пошли, то надо идти неотступно, — подбадривал всех Леонтий Родионович, хотя у самого болела нога. Он не мог нормально идти, ковылял, приставляя одну ногу к другой. Скоро пришлось остановиться. Густой белый туман заволок все горы. В двух шагах нельзя было увидеть друг друга, и каждый неловкий шаг мог стать последним. Привыкшие, по-видимому, к туману олени улеглись тут же. Ощупью к ним стали подползать ратники, жаться кто к спине, кто к брюху, а кто-то умудрился обнять оленя за шею. Будто из-под земли слышался глухой, надсадный кашель людей. Многим было очень плохо, но отставать было нельзя. Иначе навеки останешься в этом каменном царстве.

Вогулич Ели в отличие от Уси больше шел стороной, редко показывался ратникам. Иногда воеводе казалось, что у него что-то свое на уме, но в чужую душу не заглянешь.

На другой день туман мало-помалу начал рассеиваться. Можно было идти дальше, но ни у кого не было сил. Груз оказался таким тяжелым, что можно было подумать, что кто-то в короба и мешки положил камни. Хотелось все бросить, оставить, но сознание того, что каждая вещь пригодится, заставляло ратичей тащить свой груз.

В это самое время на большом валуне показался Ели. Над головой вогулича рассеялся густой туман и появилось голубое небо. «Уж не знает ли вогулич какое волшебное слово? — подумалось Леонтий Родионович. Он побрел к Ели по серым мхам, по красноватым, ржавым, с пятнами лишайникам. И тут Ели ни с того ни с сего начал пританцовывать, выдергивать из сермяжного кафтана нитки, из редкой бороденки волосы. Всем было невдомек, что этими жестами и «подарками» он одаривал богов, помогших ему найти среди валунов и могучих деревьев дорогу. Поодаль стояла высокая лиственница. Мелкими шажками, приседая, он подбежал к воеводе, схватил его за рукав и потащил к дереву, на стволе которого были вырезаны значки. Ели знал, что так всегда делают люди, преодолевая длинный путь. На деревьях они оставляют свой след, вырезая ножами зарубки, засечки, черточки, кругляшки, которые имеют свое значение. Ели и Уси стали обшаривать стволы деревьев. Не упустили случая поглядеть на вогульское письмо ратники и боярские дети. Вогуличи, кружа возле деревьев, цокали языками, брали в рот застывшую в расщелинах смолу, пробовали на зуб твердость коры и наконец, поклонившись деревьям, сели, прижавшись спинами

к большой лиственнице. Прошло немного времени, и Ели поднялся с земли. Понаблюдав за действиями ратников, заговорил торопливо и не совсем понятно. Леонтий Родионович остановил его и велел Уси растолковать слова Ели.

— По этой тропе пять зим назад пробегало три десятка нарт. Оленей много, мужиков восемь, баб — пять. — Все это Уси показывал на пальцах, сгибал и разгибал их, путаясь и снова складывая. — Туда-сюда, туда-сюда!

По-видимому, вогуличи знали о торговле югорских остяков с пелымскими, лозьвинскими вогуличами. Надо было быть очень наблюдательным, чтобы заметить зыбкую оленью тропу, заросшую молодой порослью кустарника.

— Сюда, сюда! — радовался Уси.

Скоро могучие деревья стали редеть, оставляя место корявым, уродливым березам со склоненными в одну сторону вершинами. Ели громко засмеялся. Он не мог выразить словами радости и стал обнимать воеводу, трясти его руку, показывая в сторону, откуда восходит солнце.

И снова из-за каждой вершины горы стал выползать туман, заволакивая все кругом. Снова прижались люди к каменистой громаде. Немало пришлось передумать Леонтию Родионовичу в эти часы. Но знаки на деревьях убедили его, что они идут правильно: строго на восток. У большинства ратников распухли ноги и суставы, образовались мозоли, и тем не менее никто не хотел облегчить себе путь, никто не хотел оставить поклажу. Обычно таежники оставляют на пути некоторые пожитки, уверенные, что на обратной дороге заберут свое. Но никто из ратников не верил в возвращение домой этим путем.

Белый шар солнца проглядывал сквозь пелену тумана. Громадные ватные клубы опять стали рассеиваться. Скоро перед взглядами путников предстала картина из нагромождений каменных гряд, еще покрытых снегом и облаками тумана, похожими на синие шапки. От величия скалистых вершин захватило дух.

— Вот и восток! — радостно произнес Леонтий Родионович, догадавшись, что они находятся на горном водоразделе, откуда реки должны нести воды на восточную сторону Великого Камня. Он не ошибся. Где-то в стороне слышалось бурное течение водопада. Перекрестясь, скользя по камням, а больше съезжая на задницах, они стали спускаться с гор.

Вдали блеснула вода. Трудно было определить, река ли это, озеро или просто трясина, наполненная сточными водами. Чуть в стороне бежал быстрый, говорливый ручей, омывая громадные валуны...

Спускались с гор двое суток, и опять комариные полчища остановили их. Привал сделали на возвышенности, обдуваемой ветром, разожгли костры. Для Леонтия Родионовича поставили походный шатер, который пронесли через хребет выносливые олени. Впервые за более чем двухнедельный поход воевода уснул на постели. Спал он долго и сладко.

Мысль подарить свой нож Уси, а табакерку Ели пришла ему вчера вечером, но не хотелось это делать в сутолоке, хотелось поблагодарить толмачей-проводников принародно.

Утром сварили уху из хариусов. И тут Леонтий Родионович позвал к себе толмачей. Отстегнув с пояса нож и табакерку, подал Уси и Ели. Взяв из рук воеводы охотничий нож, Уси прижал его к груди и заплакал, лицо его сморщилось. Немало клал поклонов воеводе и Ели. Теперь им предстояло нелегкое дело: отправиться навстречу

князю Василию Ивановичу, который, быть может, давно нуждается в их помощи. Но куда идти? По какой тропе? Леонтий Родионович был из числа тех, кто в трудные минуты умеет, не впадая в отчаяние, не опуская рук, находить выход. К тому же и Бог наградил его ясным умом, волей, смекалкой и силой.

Без особого труда им было определено, что все ручейки и речушки берут свое начало с водораздела, а это значит, что сплавить ладьи и кочи им будет под силу: где вплавь, где волоком, где на горбу. Другое дело — узнать, как и какими протоками направился князь Василий Иванович к водоразделу.

Но Бог пришел на помощь измученным в многотрудном пути ратникам. Увидели они ладьи в ущелье среди высоких каменистых столбов! И не поверили собственным глазам.

— Наши! — задыхаясь от волнения, говорили ратичи, представляя, как мучительно и трудно перевалили они через Великий Камень. Спешащего навстречу князю Василию Ивановичу воеводу остановил шепотом есаул:

— Болеет. Считай, целую седмицу в бреду мечется.

Тем не менее Леонтий Родионович ввалился в каюту уцелевшей ладьи медведем и припал к щеке князя:

— Ваше благородие! Ваше благородие! Одолели Камень! Хоть сей миг вплавь! — еле удерживаясь от слез, говорил воевода.

На бледном лице князя вырисовывались обметанные губы, заострившийся нос. Князь, приоткрыв глаза, не сразу поверил, что перед ним воевода Русинов. Сколько раз в эти трудные дни он вспоминал о нем! Мысленно звал на помощь и держал крепкую веру: не оставит в беде воевода.

— Ваше благородие! Радость-то какая! Ратные люди ладьи чинят, кочи поправляют, плоты ладят. Ваше

благородие, коли признали меня, раба Божьего, воеводу Леонтия Русинова, пожмите мне руку. Считай, главное дело сделали.

Василий Иванович открыл глаза, долго и пристально, как на явившийся ему призрак, смотрел на воеводу...

— У нас на Руси силу за пазухой носят! Поправляйся, князь, — говорил Леонтий Родионович.

Прилетевшие на гнездование птицы тучами закрыли небо. Гогот, крик и кряканье заглушали не только людские голоса, но и стук топоров.

Исхудавший, еле державшийся на ногах священник Фотий готовился к службе. Он был подточен не столько физически, столько тем, что приходилось оставлять в чужой земле бедные христианские души. Так и останутся они здесь, в холодной земле, на чужой стороне.

Княжеский шатер поставили на веселом месте: залитом солнцем, продуваемом ветром и окруженном нарождающейся зеленью.

Перекрестившись, Фотий с силой ударил в церковный колокол. Малиновый звон полетел по округе, эхом покатился к горам, коснулся берегов и рек.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Молодого золотоволосого шамана Перко с Ивдельской сопки князь Юмшан в свой чум приглашал не часто, но наказывал слугам, чтобы его еда была лучшей и чтобы нужды он ни в чем не терпел. О его отъездах на сопку знал только Солян.

Многим было невдомек, чем этот парень заслужил такое уважение князя. А Юмшан стал ему совершенно доверять, когда тот показал короткий путь к Лозьве. Мало кто мог представить, что это значит для вогульских князей, живущих на реках Тавде, Туре, Сольве, Шегультане, Пелыме! Какими кругами, какими берегами водили они своих людей к Камню! Он, Перко, сумел по промерзшим протокам вывести Юмшана на середину Лозьвы-реки. «Большой шаман Перко! Зоркий глаз у него — всю землю увидел. Может, потому, что на сопке живет — ближе к самому Торуму», — рассуждал Юмшан.

После перехода через Камень Юмшан нуждался в совете. Хруща нет. Не просить же хромого Туя! Он славно стучит в бубен, но умеет ли разговаривать с Торумом? «Перко? — мелькнула мысль. — Перко молод, глаза ясные, как у ястреба. Но что могут сказать

После трехдневного плавания стали меняться очертания берегов. Чувствовалась перемена местности: вдали просматривались очертания гор, волны стали круче, встречный ветер рвал паруса.

– К берегу их! - скомандовал князь Василий Иванович. Он стоял на носу карбаса, облаченный в кольчугу, а боярский сын Гридя Ивашков на случай шальной стрелы или выстрела прикрывал его щитом.

топоры?» — сомневался Юмшан. Так проходили дни. А он все думал: то ли вернуться домой, то ли снова идти за Камень. Он знал: в чумах ждут возвращения мужей с добычей, с подарками. И вообще, после такого бесславного похода мало кто станет с почтением и уважением относиться не только к нему, но и к его сыновьям. Нет, не смог он затмить славу отца.

Солнечные лучи уже съели весь снег. Реки вышли из берегов, и олени, таскающие по траве и мхам нарты, скоро уставали. Вогуличи роптали, ничего не зная о завтрашнем дне. Юмшан редко выезжал из чума. Но к каждому выезду готовился: соблюдал княжеское достоинство, требовал менять на оленьих упряжках украшения, привязывать к рогам и копытам разноцветные тесемки из крашеной кожи, чтобы в глазах вогуличей казаться все тем же самоуверенным и загадочным князем. Он часто кричал на свое окружение. Особенно гневался, если видел у кого-нибудь расплетенную косу.

Юмшан, как всякий самовлюбленный человек, нуждался в лести. В этом когда-то преуспел шаман Хрущ. Заметив плохое настроение князя, он умел сказать Юмшану слова, приятные его ушам, он называл Юмшана не иначе как наш богатырь, часто приговаривал: «А как наш богатырь натянет свой лук, оттянет одно плечо, отпустит руку, сразу семерых насадит на свою стрелу! Ветром, произведенным тетивой лука, сметет в кучу, как сор, множество чужих людей». Теперь редко кто говорил ему такие слова. Все, кто был с ним рядом, а это были преданные воины, не умели льстить.

В один из душных вечеров весеннее солнце так нагрело воду в озерах и заводях, что, казалось, в ней можно было сварить уху, а комарье устроило такой пир, что олени, стоявшие возле княжеского чума, стали жалобно мычать, рваться с упряжки. Вогуличи постоянно жгли

костры, пускали по прибрежной траве пал, который застилал дымом округу, отгоняя комаров.

Юмшан после долгих раздумий все-таки не отказался от мысли о походе на русичей, он хотел попробовать перейти Камень еще раз, поэтому наказывал вогуличам смотреть, крепки ли луки, остры ли стрелы и полны ли колчаны.

Перко знал толк в луках. Раньше его отец часто ходил за Камень. Привозил много товаров и даже русских женщин. Ему говорили, что его мать была беловолосой женщиной, но он не помнил ее, только слышал, что с горя она прыгнула с вершины Ивдельской сопки. Ему достались в наследство от нее золотые волосы и голубые глаза. Шаманить на топоре научил его отец — храбрый Молдан, который увел свой народ в леса, где много зверей и птиц. Жить они стали не в чумах, а в деревянных избушках, заводили скот, лошадей. Перко хорошо умел скакать на лошади, владел и большим боевым луком. Он склеил свой из двух деревянных пластин: березовой и сосновой. Сосновую вырезал из твердой и плотной древесины той части ствола, которая обращена к солнцу, называют ее кремлевой. «Я пойду добывать кремлевое дерево для кремлевого лука». Перко умел мастерить разные стрелы: широкие, листовидные, трехлопастные, специальные на птицу и зверя.

Юмшан не мог объяснить своего смущения перед Перко. Как-то он сказал ему, что ждет посланных за Камень вогуличей, чтобы узнать, где расположились русичи, приплывшие по Вишере. Перко на это промолчал. Недавно он видел с горы Шапки идущих ущельями незнакомых людей. Вначале Перко подумал, что шли самоеды, но, увидев, как мужики тащили лодки, понял: это русичи. Внимательно разглядывая идущих за Камень

людей, он думал, что им понадобилось в этом пустынном глухом крае. Сказать об увиденном князю Юмшану он тогда не решился. Но появление вогуличей-разведчиков, прибывших к Юмшану по бунтарской стреле, развеяло его сомнения: русичи перешли Камень. Они уже тут!

Странное чувство жило в шамане. Он совсем не знал русичей, никогда не слыхал их язык, но ему казалось, что этих людей он знает давно.

Юмшану показалось, что молодой золотоволосый Перко кроме того, что умеет шаманить на топорах, знает и другие тайны. Поэтому он не удивился, когда тот признался, что видел русичей, перешедших через Великий Камень. Рассказывал Перко неторопливо, наблюдая, как меняется лицо князя. Оно то покрывалось багровыми пятнами, то становилось белым как снег.

Неожиданно Юмшан потребовал к себе шамана Туя, чтобы тот забил в бубен. Звуки, тревожные и призывные, взволновали вогуличей. В беспорядке носились упряжки по зыбким берегам.

В это время есаул Герасим и боярские сыновья обновляли крепко связанные плоты. Услышав бубен, они остановились, прислушиваясь к ритмичным звукам.

Перепуганный Ели закричал с берега:

— Бубен! Это бубен! — Не без страха он рассказал, что так шаман ведет разговор с Торумом. — Быть может, Торум рассказал Юмшану о русичах, быть может, он давно увидел их, и вооруженные вогуличи перебьют всех ратников. Юмшан храбрый князь!

Подъехав к крутому утесу, Ели стал карабкаться на вершину горы, обходить стороной Камень, не отставали и ратники.

Князь Василий Иванович Заболотский-Бражник объявил сбор. У ратников, привыкших за последнее

время больше к хозяйственным делам, чем к ратным, на сборы и приготовления ушел целый день.

Достали бердыши и лежавшую на дне одного коча огромную пушку длиной в три с половиной сажени. Стрелять из нее умел только есаул.

Первым на речную гладь Лозьвы-реки выплыл княжеский коч: гребцы на местах, ратники-лучники вдоль бортов. Рядом с ними ратники со щитами. Священник Фотий оказался совсем хворым и поэтому не смог отслужить молебен. Князь запретил бить в колокол. Пришлось в тишине осенить себя крестным знамением да просить у Господа Бога удачи.

На небе ярко светило солнце. Неширокая река Лозьва с высокими берегами понесла на своих быстрых волнах кочи и ладьи русских ратников. Первым заметил плывущие суда русичей Солян. Сложив громадные ладони рупором, вогулич закричал неимоверно громким голосом. Юмшан не ожидал от иноземцев такой смелости. Он моментально вскочил на нарты, издал призывный клич, по которому вогуличи должны были приготовиться к бою. Оставив непотушенными костры, кто на нартах, кто бегом помчались в глубь леса.

По команде воеводы Леонтия Родионовича суда стали подплывать к берегу, ратники увидели, как плотным полукольцом шли вогулы, вооруженные боевыми луками. Боярские дети Константин Тиунов и Ипат Карнаухов вовремя подставили щиты перед воеводой. В них вонзилось столько стрел, что трудно было их удержать. Воздух наполнился визгом и жужжанием стрел.

Выпущенная князем стрела с железным наконечником вонзилась в грудь бежавшего к кочу вогулича. Он упал замертво, скатившись к песчаному берегу. Выстрелы из бердышей привели вогуличей в бегство. Пушечный снаряд убил наповал еще нескольких. Раненых

подхватили и унесли с криками. Никогда не слышавшие ружейных выстрелов вогуличи бросились врассыпную.

Отовсюду доносились стоны. Раненых укладывали на хвойные постели на плотах, заливали раны топленым жиром.

Надвигалась ночь: светлая, комариная. Ратники не выходили на берег, готовились к новой встрече с вогуличами.

С простреленной стрелой грудью умирал устюжский боярский сын Михайло Соколик. В агонии он звал невесту Марфу, просил прощения у матушки. А когда очнулся, позвал священника Фотия, который и так уже сидел возле него. Он приложил ухо к горячим губам, прошептавшим последнюю исповедь. Под утро Михайло умер.

Ратники держали крепкий дозор. Тихо и осторожно оттолкнув суда и плоты от берега, они поплыли к середине реки.

Что-что, а вогуличи, прирожденные охотники, знали, как выслеживать зверя. Им пригодилась их сноровка и ловкость, чтобы обхитрить русичей и устроить им засаду.

Юмшан со своими воинствующими сородичами, умчавшись на упряжках в сосновый бор, долго не мог прийти в себя и понять, как проглядел переход русичей через Великий Камень. Сейчас собрать вогуличей, разбежавшихся в разные стороны, будет нелегко.

Русичи, приняв все предосторожности, причалили лодки и поставили на широком пойменном поле походный княжеский шатер. По приказу воеводы вся многочисленная рать была в полной готовности к встрече с воинственными вогуличами. Князь Василий Иванович не хотел с ними воевать, наоборот, был готов показать

инородцам свое доброе расположение, хотел сказать им, что, совершив трудный переход через Великий Камень, ратники великого Московского царя пришли к ним с миром.

Увидев издали поставленный золотой шатер, Юмшан удивился. Он помнил из рассказов старых князей, слышал от отца, что русичи ставят шатры, когда готовятся воевать. Русичи раньше не переходили через Камень, здесь хозяевами были они, вогуличи: от предгорий Великого Камня по многочисленным рекам их земля! Сосчитав оставшихся в живых соплеменников, прибывших к нему по бунтарской стреле, и рать русичей, перешедшую через Великий Камень, Юмшан отметил: силы одинаковы, но он верил в ловкость вогуличей, их умение стрелять без промаха.

«Луки русичей делают гром», — роптали вогуличи. Во время набегов все было по-другому: они нападали неожиданно, и им никто не оказывал сопротивления. Юмшан понимал, что эта встреча с русичами может не принести победы вогулам. Длинные луки, которые делают гром, отправят сородичей в мир мертвых, где вечная темнота и царство Елы Торума. Но отступать на своей земле Юмшан никогда бы не согласился. На совет князь позвал самых храбрых сородичей, которые просили князя померяться силой с русичами, показать им своих сильных соплеменников и вызвать их на поединок. Все с надеждой смотрели на Соляна, который брал в обхват четырех вогуличей и легко нес их, куда прикажет князь.

Робко подходили к княжескому шатру вогулы-толмачи. За ними на расстоянии полета стрелы стояли лучники. Толмачам сказали, что великий Юмшан будет пробовать силу с богатырями: вогулич-богатырь и русич-богатырь.

Уси перевел сказанное князю. Василий Иванович удивился решению Юмшана и велел передать:

— Русичи согласны!

Вогулы послали на битву рослого Карса. На нем была мохнатая шапка, из-под которой виднелись длинные косы; малица, покрытая красным сукном, подпоясанная черным поясом с многочисленными амулетами-оберегами. От русичей вышел боярский сын Ефим Буйный в кафтане-тягиляе, подпоясанном пеньковой опояской. На голове его был шлем, в руках тугой лук.

Сошлись они на песчаном берегу. Кинули жребий — охотничий нож. Острие показало на богатыря с черным поясом. От пущенной стрелы засвистело в ушах. К великому несчастью вогуличей, стрела пролетела мимо, только задела шлем на голове русича. Все замерли в ожидании ответного выстрела Ефима Буйного. Он перекрестился и выпустил боевую стрелу. Богатырь-вогул, сделав несколько шагов навстречу, упал замертво.

Пронзительно крича, вогуличи в панике бросились в лес: кто на упряжках, кто бегом. А русичи обнимали друг друга, не скрывали своей радости. Тут воевода Леонтий Русинов приказал есаулу сделать несколько выстрелов из пушки. С испугу двое вогуличей кубарем полетели с обрыва в реку. Когда дым рассеялся, из леса выскочило несколько нарт, запряженных белыми большерогими оленями. Каюры с гиканьем мчались к княжескому шатру. Разгоряченные олени фыркали. Над спинами животных кружили тучи комаров и оводов.

Ратники нацелили пищали. Но, приглядевшись к нарядным упряжкам, определили, что это кто-то из предводителей вогулов.

Ловко соскочив с нарт, вогуличи сразу положили стрелы, луки на землю и стали громко кричать. Уси

перевел, что вогуличи называют их собаками. Василий Иванович засмеялся, услышав, что вогуличи называют их собаками. Ему, конечно, было невдомек, что, по вогульскому поверью, прибывшие к ним без страха люди могут перевоплощаться в собак и обратно. О богатыре Карсе они говорили, что он вовсе не мертв, не убит, а всего лишь «улетел» к доброму духу Нёр-ойке и скоро вернется.

Увидев вооруженную княжескую свиту, вогуличи приостановились, сделали несколько шагов назад. Князь Василий Иванович внимательно их разглядывал. Были они невысокого роста, смуглые, черноволосые, с заплетенными косами. Несмотря на жаркий день, все были в меховых одеждах. У одних они были сшиты из хвостов лисы, у других — из соболей. Наряд князя Юмшана отличался от остальных собольим капюшоном на спине и шапкой из бурых лисиц. Лицо его, обветренное, покусанное комарами, было серьезно.

Вдруг к ногам Василия Ивановича и воеводы полетели шкуры лис, соболей, выдр, горностаев... Эти дары вогулов были своеобразным знаком примирения. Сородичи вогульского князя подобострастно кланялись им. Юмшан заметно волновался. Ему, привыкшему во всем быть победителем, не просто было пережить поражение. Особенно стыдно перед теми, кто пришел к нему по зову бунтарской стрелы.

— Ясак, — проронил он, глядя на Василия Ивановича. Да, это был настоящий ясак — подать инородцев. Но откуда знал про ясак этот дикий вогул? И кто мог облагать его ясаком? Они никем не были завоеваны, никто не накладывал на вогуличей ясак. Но так или иначе, Юмшан знал это слово. Знал его значение. — Ясак, — повторил князь, взяв в руки шкурку соболя и протянув ее Василию Ивановичу.

— Ясак, ясак, — согласился князь. — Русичи пришли на вашу землю с миром, — велел перевести толмачу Василий Иванович. — Мы дадим за ваши меха то, за чем вы ходите за Великий Камень. Мы будем менять на меха одежду, топоры, котлы, бусы, зеркала, ножи, иголки.

Взятые для мены с вогуличами товары, с великим трудом перенесенные через Камень, лежали в трюмах кочей.

Ратники по жесту воеводы стали носить с кочей рогожные кули, берестяные короба, раскладывать рядом с мехами тюки разноцветных тканей, цветные платки, расставлять в берестяных коробах бисер, медные кольца.

Вогуличи не смогли сдержать восторга.

— Это Торум послал нам в награду, — повернувшись к соплеменникам, сказал Юмшан. На его глазах навернулись слезы.

Вокруг стоял невообразимый гул: гортанная, торопливая речь инородцев, не понимающих русских, беспрестанный говор ратников, не понимающих вогуличей. Тут нашелся есаул. Он, конечно, не осмелился бы произвести выстрел из пушки без позволения князя или воеводы, но, протащив ее через Камень, он считал грехом хотя бы из озорства не произвести выстрел.

— Валяй, Герасим!

Пушечный залп, никем не жданный, всех напугал. Вогуличи в страхе плашмя рухнули на землю, закрыв ладонями уши. Не меньше испугались и русичи. Пока рассеивался дым, на берегу воцарилась такая тишина, что можно было услышать, как в воде играет и плещется рыба.

Олени, привезшие Юмшана и его соплеменников, рвали ременную упряжь, перескакивали через опрокинутые нарты, выпучив глаза, рвались убежать.

— Боже милостивый! — закричал есаул. — Экий учинил переполох не по злобе.

Прошло много времени, пока пришел в себя горбатый шаман Туй. Вытащив из мешка бубен и колотушку, он застучал призывный вогульский ритм, а толмачи Уси и Ели бегали, как горностаи, и успокаивали вогуличей.

Есаул хотя в первые минуты и каялся, но после расхрабрился:

— Пусть знают наших!

Вогулы поняли, что у русичей не только стрелы и луки есть, но и «злой медведь». Они глазели на пушку, но близко подойти боялись.

— Нам — мех, вам — товары, — переводил слова князя толмач Ели.

— Юмшан долго и пристально смотрел на Василия Ивановича. В меховых одеждах было нестерпимо жарко, но никто из вогуличей не снял мехового савика. Они следили за Юмшаном, который наконец подошел к рассыпанным по земле мехам, взял охапку и положил к ногам Василия Ивановича два десятка соболей. Повернувшись к товару, он взял кусок красной материи. Так, по-своему, он предлагал сделать обмен и другим. Василий Иванович кивнул головой в знак согласия. На лицах вогуличей появились улыбки, послышались одобрительные возгласы.

— Юмшан сказал, что они согласны на обмен, но просят клятвы, — перевел Уси, — каждую зиму они будут привозить меха к шаману Перко на Ивдельскую сопку и ждать товары.

— Клятву надо. Клятву запросили вогуличи.

Никто из русских не понимал, что за клятву ждут инородцы. Оказалось, что речь идет о клятве, которая дается на шкуре бурого медведя и сохраняется до конца жизни. Нарушивший ее будет проклят Торумом.

— Завтра, — перевел Василию Ивановичу Уси слова Юмшана.

Вогуличи заторопились уезжать. Привезенные меха так и остались лежать на земле. Юмшан не нашел, что еще сказать князю. Он молча сел на нарты, и каюр, гикнув, погнал упряжку вдоль берега реки, свернув к лесу.

— Завтра, завтра! — повторяли вогуличи.

— Завтра, завтра, — говорил Уси.

Берег опустел. Небо нахмурилось, со стороны Великого Камня надвигались темные тучи, напоминая недавние дни перехода.

К полудню следующего дня на берегу показались вогуличи. Большерослый Солян тащил большую сосну. Разлапистые ветки покачивались в такт его широких шагов, за ним шли другие вогуличи тоже с деревьями в руках.

Толстоствoлая сосна — дерево Отыра, главного покровителя лозьвинских и пелымских вогулов. Сосну на землю не бросили, а, подхватив за комель, осторожно положили. После стали убирать ветки.

Скоро на белых упряжках подъехал Юмшан со своими сподвижниками. Переодетый в новую малицу, с красиво переплетенными косами и вымытым лицом, он выглядел всем довольным.

Вогуличи старательно обтесывали ствол сосны с четырех сторон. Шаман Туй с трудом вытащил из мешка большую шкуру бурого медведя, расстелил ее на земле и велел положить посередине обтесанный ствол сосны. После на шкуру положили два охотничьих ножа лезвиями вверх. Под цоканье и отрывистые возгласы вогулы стали класть на шкуру сушеные рыбу, мясо, печень, почки, орехи, ягоды в туесах. Все это сопровождалось ударами бубна. Так вогулы готовили место для принятия клятвы.

Священник Фотий стоял со свитой Василия Ивановича и удивленно наблюдал за приготовлениями. После некоторых раздумий он вытащил православный крест и положил его на бревно, лежащее на медвежьей шкуре, затем укрепил походный колокол. Священник ударил в него в тот миг, когда князь Василий Иванович подходил к кресту. Разнесся чистый, мелодичный звон. Казалось, что тысячи спрятанных в травах колокольчиков ему отозвались. Первыми перед крестом преклонили колени Василий Иванович и воевода Леонтий Родионович, а за ними все русичи. И сразу же во всю силу забил тугой бубен шамана Туя.

Вогуличи не знали христовой веры, русичи — инородческой, но все почувствовали единение. Заплясали в хороводе вогуличи. Каждый ратник, подходя к кресту, трижды осенял себя крестным знамением. «Кто сей мир изменит, по их праву Бог казни», — сказал Василий Иванович и тут же велел передать эти слова князю Юмшану, который согласно кивал головой, не зная, как высказать словами языческую клятву.

Под вечер запылали костры. Поодаль стали колоть оленей. Прибывающие на нартах вогуличи все везли и везли меха. И не было уже места на кочах и ладьях, негде было их складывать. Долго жал руки русскому князю и воеводе князь Юмшан, повторяя единственное: «Ясак, ясак!»

Пристально и внимательно следил за всем золотоволосый шаман Перко. Своим видом он давно привлек внимание русичей. Толмачи разузнали для князя, что он шаманит на топорах.

Озабоченный новым переходом через Великий Камень, Василий Иванович не прочь был узнать у шамана, сумеет ли он со своими людьми добраться до Вишеры до осеннего рекостава. Скоро привели

Перко. Ели объяснил ему просьбу князя. Тот был смущен.

Перко и без ворожбы было что ему сказать. Он один знал протоки малых рек, по которым можно было на кочах миновать громадные горы. Но прежде ему хотелось прикоснуться к белой руке русского князя. Конечно, без Ели он ничего не смог бы сказать Василию Ивановичу, даже если бы сам Торум спустился с небес.

Для ворожбы на топорах ему нужно было уединенное место. Узнав об этом, князь велел провести его в шатер за княжеский полог. Шатер, сшитый из зеленого шелка и украшенный вышивкой, видывал виды: не раз бывал под дождями, во многих местах был поражен искрами костров. И все равно, выставленный на берег, он удивлял инородцев своей красотой.

Перко несмело зашел в княжеский шатер со своим мешком. Не торопясь стал вынимать из него топоры с толстыми обухами. На этот раз Перко недолго разговаривал с духами, не впадал в забытье, не вел разговоров с птицами и зверьем. Он понимал, что тревожит человека с большой черной бородой, и даже решил, что сам покажет русичам ближнюю дорогу к Вишере.

Ели сидел на корточках у княжеского шатра в ожидании Перко. Но Перко не стал разговаривать с толмачом, заявив, что будет говорить только при князе.

— Не бойся обратной дороги, — перевел толмач слова Перко. — Не надо ходить горой. Перко покажет тебе дорогу по рекам. Мало-мало знают эти реки. Мой отец мне сказал: «Не нужно кружить Лозьву, можно прямо».

У Василия Ивановича от услышанного перехватило дух.

Перко ловко перебрал на руках пальцы, что означало пятнадцать дней, и громко засмеялся.

— Не обманывает? — переспросил князь Ели.

— Перко говорит правду.

Сказанное шаманом обрадовало князя, ведь мысль об обратной дороге через Великий Камень постоянно не давала ему покоя.

Через два дня после принятия клятвы на медвежье шкуре все было поделено полюбовно: товары — вогуличам, меха — русским.

В другое время Перко давно бы уже уплыл на своем обласе к Ивдельской сопке, где пасли оленьи стада его сородичи, но сейчас ему захотелось задержаться. Перко редко бывал у лозьвинских и пелымских вогуличей, только когда местные князья звали его поворожить на топорах.

Василию Ивановичу не терпелось узнать подробности от самого Перко, и он опять позвал его к себе. Тот говорил не торопясь. Ели переводил:

— Лозьва чуть-чуть, — показывал Перко руками, и тут же решительным жестом положил ладонь поперек вытянутой руки, что означало: плыть дальше по Лозьве нельзя.— Лозьва чуть-чуть, — повторил он. — Маленькая река Талтия, — он показал рукой в левую сторону, — потом река Ивдель. Горы высокие, — показывал Перко. — Потом маленькие, маленькие, Чурал, Камень точат, потом протока Почмога, потом река Велсуя — течет-течет и падает в Вишеру! — Перко захлопал в ладоши, будто сам оказался на берегах великой реки.

Из невнятных слов Перко Василий Иванович понял, это есть водный проход через Камень! Но сколько проток назвал Перко?! Кто их найдет в этом океане несчитаных рек и озер? Ни запомнить, ни повторить их названия толмач Ели не мог.

Василий Иванович просил немедленно позвать воеводу, есаула, боярских детей.

— Один без вас, други мои, не решился договариваться с Перко. Его надо просить показать дорогу через Камень малыми протоками. Один он ее знает. Отсюда можно сразу на Вишеру проплыть.

От изумления и радости ратники обомлели. Еще бы! Стоило только вспомнить переход, и сразу темнело в глазах.

— Просить надо Перко показать протоки! — сказал Василий Иванович.

— Не просто просить, а кланяться и просить! — заговорили ратники. — Много подарков дать! — вставлял каждый свое. — К себе на службу взять! Он обличьем на русича похож!

Молодой шаман оказался сговорчивым.

А в это время Юмшан делил полученные товары между вогуличами, чем был очень доволен. Теперь он хоть как-то оправдается за свой неудачный поход за Камень.

В ожидании Перко князю пришлось поволноваться: мало ли что было в голове дикаря?!

Перко приплыл на маленьком легком обласке, прижимаясь к берегу. Его с трудом можно было заметить в буйных ветках прибрежного кустарника. Он даже не предполагал, с какими радостными возгласами встретят его русичи.

Молодой шаман ловко погнал свой облас впереди кочей. Гребцы, налегая на весла, старались не отстать. Скоро вывели кочи и ладьи на середину полноводной реки.

— Талтия, Талтия, — вскарабкавшись на коч, сказал Перко. Спасаясь от комаров, он прицепил к поясу сделанный из бересты и обмазанный глиной полукруглый котелок, снизу проткнутый прутиками. Он был наполнен разными гнилушками, которые не загорались, а шаяли, дымились, отгоняя комаров.

— Потом, — перевел Ели слова Перко, — Талтия бежит с Камня, там чуть-чуть лодки таскать надо. Мало-мало, и будет глубокая речка Чурал, у Чурала есть протока Почмога.

— Ну, Перко, Господь тебя послал нам в помощь, — сказал воевода. — Столько вилять по воде!

Перко, улыбнувшись, поплыл дальше. Приходилось удивляться доброжелательности этого инородца. Он не уставал взбираться на коч и пояснять князю каждую протоку, обманчивый залив.

Небольшой каменный перекат ратники сумели одолеть за двое суток. И страшно было представить, сколько мук, трудов и жизней взял бы обратный переход через Великий Камень, если бы не Перко. Протока Почмога была длинной, омывала валуны, кружила между высоких каменных столбов. Перко успокаивал князя: «Пущай, пущай. Это Камень дурит, дороги путает».

Скоро стало всем очевидно, что без шамана невозможно было бы и мечтать о водной переправе через горный хребет.

— Смышленый, ничего не скажешь. Вот бы такого на царскую службу — ясак собирать, — поделился Василий Иванович с воеводой.

Осень в верховьях Вишеры приходит быстро. Не успели обернуться, как уже стали убывать дни, пожелтели листья.

Перко сказал:

— Ночью лиса пробежала, рыжим хвостом по листу задела.

Толмач перевел слова вогулича, и ратники долго размышляли над словами Перко, который только-то и хотел сказать, что наступила осень.

Дней десять плыли спокойно. Коварная протока Почмога будто замерла, покачивая суда на волнах. Вдруг Перко закричал с обласка:

— Велсуя! Велсуя! — так назывался один из больших притоков Вишеры.

Он остановил облас, вышел на берег и стал пропускать мимо себя идущие кочи, ладьи.

— Перко дальше не поплывет, — крикнул толмач воеводе. — Перко поплывет домой, на реку Ивдель. Говорит, что Вишера совсем-совсем рядом.

— Как так?! — закричал Василий Иванович, но вскоре успокоился и решил отпустить парня. Потом вспомнил, что хотел одарить Перко. И тут же распорядился догнать его. Срочно была повернута одна лодка. В нее поставили большой короб с котлами, двумя медными чайниками, отрезами ткани, еще положили мешочек сухарей. Ратникам тоже хотелось его отблагодарить, они отстегивали от своих поясов кто табакерку, кто нож, кто цепочку...

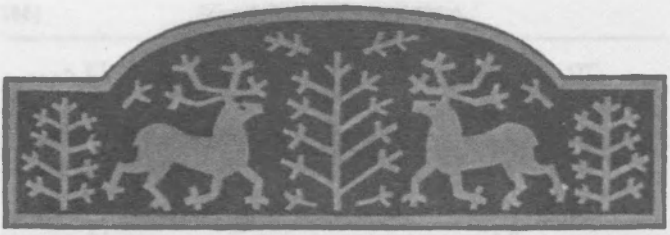
— Топоры, топоры положите.

— Топоров нет.

— Сбивайте топорища со своих и везите Перко.

«Бескорыстные, добрые, как дети», — стоя на палубе, думал князь о вогуличах. Он был уверен, что есаул догонит Перко и передаст ему подарки от русичей, перешедших через Великий Камень.

Случилось это летом 1499 года. «С того времени государи наши всегда именовались князьями Югорскими».



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кто в ту давнюю пору мерял это бездорожье? Кто считал протоки, болота, озера, перевалы? Черт мерял, да веревку порвал! А летописи пишут, что прошли русские ратники путь от Московского великого княжества до Великого Камня в четыре тысячи девятьсот шестьдесят верст!

Этим вишеро-лозьвинским путем была проложена дорога, которой пользовались сотни лет, сообщаясь с самоедскими, югорскими, пелымскими княжествами.

А показал путь через каменные лабиринты на Вишеру молодой вогулич Перко.

— Теперича дома! — облегченно вздохнул воевода Леонтий Родионович.

— Теперича берегом можно дойти. Тута везде люди гнездятся, — молились ратичи, подплывая к месту прошлогоднего зимовья, оглядывая убогие землянки.

По Вишере плыли уже первые хрупкие льдинки. Натянутые паруса покачивали судна на быстрых волнах. На одной ладье на самом носу горел костер. Ратник Гриня, раненный вогульской стрелой в плечо, в большом котле варил уху. Боль не давала парню сомкнуть глаза. Хлопоча возле котла, он отвлекался от боли. Рыбу от чешуи

не чистил, животы не вспарывал, а, как вогуличи, лишь смыв тину, опускал в кипящую воду. Деревянной ложкой помешивал уху, ждал, когда у рыб побелеют глаза, и тогда доставал ее на берестяную пластину.

У князя Василия Ивановича опять разболелись ноги. Один из ратников, видя, как мучается князь, посоветовал слуге:

— В деревянной лохани заварите верес, запарьте кипятком, а для большего прения каленый камень опустите. Сверху накройте лохань лопотиной. Пущай полночи попреет. А как только дух пойдет из лохани да рука терпеть будет, туда и опустите ноги. Сверху закройте войлоком. И поправится князь.

Слуга выслушал мужика, обсказал князю.

— Делай че хошь, — был ответ, — сил моих больше нет, будто кто из жил веревки вьет.

Осень разыгралась в полную силу: травы по берегам поникли, с деревьев охапками срывался лист, кружил в воздухе, забивал протоки, разукрасил берега реки. Стаи птиц, курлыча высоко в небе, прощались с родиной. Тянуло сырью. Солнце на небе не появлялось уже несколько дней, давая простор и волю моросящим дождям.

Слуга заглянул к князю затушить свечу и вдруг услышал:

— Священника позови.

Священник Фотий вошел, ссутулившись, в походе его лицо пожелтело, маленькая бороденка тряслась.

— Какой недуг мучает? — спросил князь, вглядываясь в потухшие глаза священника.

— Мое дело про свои недуги не думать, — ответил тот уклончиво. — Дал бы Бог здравия нашему ратному стаду. Спаситель сказал: «Паси овцы моя!»

— Исповедаться хочу, — сказал Василий Иванович. Священник пристально поглядел на князя.

— Хорошее дело, — ответил Фотий, касаясь его лба. — Жар у тебя, сын мой, — сказал и замолчал. Стал слушать князя со вниманием.

— Взял я у того вогульского князя Юмшана два десятка красивых соболей, да пять чернобурых лис, да пять выдр. Велел сложить в особый мешок. Да попросил у него бунтарскую стрелу со всеми знаками, вырезанными вогуличами. В Московии ту стрелу покажу — пущай на будущий год по ней ясак собирают. По той стреле только с луками пришли сотни вогуличей. А сколько дома осталось? Ежели наш государь с каждого лука по десять соболей решит взять, сколько же это будет? — Князь, вздохнув, добавил: — Есть еще грех, у есаула отобрал ожерелье. Он в том ожерелье толку не знает, у какого-то монаха на починке взял. А коли надумает кому отдавать — обманут. А сопротивляться станет, скажут: украл. Красы то ожерелье неописуемой. Его не девкам носить — боярыням!

Легкую сухую руку Фотий положил на плечо князя.

— Боле за собой грехов не знаю, — помолчав, сказал Василий Иванович.

— Бог простит, сын мой.

Прочитав над ним разрешительную молитву и причастив его, священник ушел.

Василий Иванович хорошо разбирался в камнях, он вообще любил красивые вещи. Приучили его к этому молодые княжны до боярские дочери. Приезжали в Московию купцы с дочерьми с Холмогор, с берегов Двины, устюжские, чердынские. Все в шубах собольих, особенно ему нравились шубы, сшитые мехом внутрь, сверху они были покрыты венецианским шелком. Видел он купчих и с верейской стороны в шубах багряных, черватых, сизых, багряно-зеленых, покрытых «тканым

воздухом», парчой, бархатом, отделанных кованым серебряным кружевом.

До этого жена Василия Ивановича Аграфена Саввична довольствовалась дешевым мехом — белок и зайцев, которых было достаточно в родной вотчине. Да и сам князь не считал зазорным носить шубу из овчины. Зимой такой мех был в самый раз. Если у кого и такого не было — тоже обходились: изладят возле ворота и рукавов какие-нибудь меховые опушки, и ладно. А чаще всего бедный люд шил одежду из нескольких слоев шерстяного сукна. Звалась она шубой «на рыбьем меху».

...Осень начала буйствовать. Две недели плыли без стоянок. На темное небо выползла луна, смотрела на землю одноглазо, заливала матовым светом реку, берега с поникшей осокой. Каждое утро над рекой поднимался туман. Вдруг в этом холодном, промозглом от сырости воздухе раздалось петушиное пение. По-видимому, за темной стеной прибрежного кедровника, прячась от людских глаз, стояло человеческое жилье: деревенька, скит или починок. Ратники заволновались, стали пристальнее глядеть на пологий берег. Истосковавшимся по дому, им не терпелось погреться в избушках, поесть щей и, само собой, пощупать баб.

— К берегу, к берегу! — понеслось на ладьях.

Воевода, ежась от утреннего заморозка, уже не мог остановить возбужденных и прыгающих с бортов лодок ратников.

За лесом стояла деревушка с десятком старых, побитых ветрами и дождями домов. Ранним утром она казалась безлюдной, но неистовое лаянье собак из-под саней, ворот, телег не могло не разбудить хозяев.

Две лошади уже были впряжены в телеги. Один из ратников не стал распрягать телегу, а быстро разрезав

упряжь, вскочил на спину длинногривого коня и поскакал в поле.

— Варнаки! Откель ворвались?! — закричала тоненьким, потерявшим силу голосом старушонка, выбежавшая на середину двора. Она схватила с земли палку, замахнулась и закричала:

— Кабы басурманы были! Тем все едино. Вы, варнаки, откель взялись? Ты, вятич белоглазый?!

— Уходь, карга! — заорал рассерженный ратник.

Громкие крики уже неслись со всех сторон деревни. Хрипло лаяли собаки, во всю силу кричали бабы.

— Кобелье! Кобелье явилось! — кричала во дворе старуха, когда другой ратник обрезал подпруги и стремена у второй лошади. В это время из избы выскочила молодуха с длинными косами, выпавшими из-под платка, в чоботах на босу ногу. Мигом юркнула в низенькую дверь и побежала по тропке куда-то к оврагу.

Земля в деревне задрожала от стука и топота копыт. Ратники, в большинстве деревенские парни, взобравшись на лошадей, носились вокруг деревни по полям, на которых были скошены травы, убран урожай. В маленькой деревенской церквушке зазвенел колокол.

Василий Иванович хотел было сойти на берег, сходить в деревню, но решил не мочить ноги.

Есаул Герасим с воеводой шли в деревню не по тропке, а через лес. Кучка перепуганных крестьян, видать не впервой встречавшая незваных гостей, шла навстречу Леонтию Родионовичу с караваем хлеба на расшитом рукотернике. Рядом с белобородым стариком шли мужики и краснощекие молодухи.

Старик поклонился в пояс и с дрожью в голосе тихо сказал воеводе:

— Укажи, господине, своим варнакам оставить в покое животину. Замучают, загоняют лошаденок ради

потехи, а нам без них помирать! Они у нас и так изробленные. Цельное лето, родимые, в поле. Из избушек всю лопотину вытащили. Откеле, господине, везешь таких воров? — не переставая кланяться, говорил старик, хотя и зажмурил глаза, ожидая оплеухи.

— Издалече, — ответил Леонтий Родионович и хотел было заступиться за ратников, да увидел, как бурая лошаденка, споткнувшись, рухнула возле овсяной скирды.

Достав из-за голенища ременную нагайку, которую редко когда доставал, подошел к скирде и со всего плеча огрел лихого ратника. Тот завизжал от боли и повалился на взмыленную шею издыхающей лошади...

На кочах и ладьях недосчитались десятка два ратников. Они, осчастливив себя крестьянскими лошаденками, поскакали на вольную волю.

Маковки усть-вымской церкви Леонтий Родионович увидел издали. «Вот мое гнездо! Вот и Яр, вот и покосы. Вот и звон благовестного колокола!»

«Нас встречают», — затаив дыхание в ожидании радостной встречи, думал каждый. На берегу уже было видимо-невидимо народу.

По гибким сходням в сопровождении боярских сыновей и свиты выходили на берег облаченные в воинские доспехи князь Василий Иванович Заболотский-Бражник и верный его друг по походу воевода Леонтий Родионович Русинов.

Две городские пушки бабахнули с крепости. С перепугу кони встали на дыбы. Поднятые на крыло голуби бестолково кружили над городом, резали крыльями воздух.

Свою Алену Леонтий Родионович узнал не сразу. Проглядел все глаза, передумал разные мысли, прежде

чем узнал ее в длиннополой шубе, подаренной отцом к свадьбе. Увидев его, она побежала к нему с плачем и причитаниями. Не заставили бабы себя долго ждать: заголосили на радостях! Прибывшие кареты, запряженные нетерпеливыми жеребцами в новых сбруях, били копытами землю. И скоро понесли княжескую свиту в город мимо распахнутых крепостных ворот под неумолчный звон колокола.

Радости прибывших ратников не было конца. В городе их давно уже ждали. Все бани были истоплены, их так топили, что три сгорели от нестерпимого жара. Ратники не столько пили брагу, взвары и настойки, сколько терзали спины и бока березовыми вениками. Стригли кудлатые головы под горшок, отпыхивались от нестерпимого жара, бросались в ледяные протоки, возле которых обычно ставили бани, и снова лезли на каленые полки...

— Ох, тощ же ты, Левонтий, — шептала Алена, поглаживая его бока и спину, а он млел от прикосновения ее мягких рук.

— А знаешь ли ты, что в мягком дереве черви живут, — сопротивлялся Леонтий Родионович, радуясь, что вернулся от вогуличей живым и здоровым.

Воеводский дом был выстроен из сосновых брусьев, скрепленных без единого гвоздя, только зубцами, которые вставлялись в зарубки и выемки паза. Для тепла промежуток между створками дверей и окон забивали мхом. Дом Алена обихаживала умело. Все у нее было в чистоте и порядке.

В переднем углу перед иконами висела начищенная лампада, на столе лежала скатерть, на полах — половики. Но особливо содержалась в чистоте и опрятности постель. Кроватью служила прикрепленная к стене лавка, к которой приставлялась еще одна лавка. На них

клали пуховики, перину, подушки, сверху закрывали все одеялом. К прибытию Леонтия Родионовича Алена велела надеть наволочки атласные, красного цвета, шитые золотом и серебром. Одеяло было на лебяжьем пуху, украшено гривами-каймами. Перины тоже были набиты лебяжьим пухом.

— Неужто еще куда собираешься? — со вздохом спросила Алена обмякшего после жаркой бани воеводу.

Леонтий Родионович молчал.

— Али дома плохо? Али приветила тебя не так? — прибегла к хитрости Алена, видя, как Леонтий Родионович блаженствовал после скитаний по вогульской стороне.

— Про то ли говорить теперь, Алена? — с укором сказал он. — Столько сделано! Столько пережито! Такие ли слова ты мне должна говорить? Разве можно все сделанное так и оставить? Лежать тут в мягких пуховиках и миловаться? Дело-то было царское. И ответ перед государем держать надобно, а ты спрашиваешь, любо ли мне дома?

Алена притихла, замерла. Перебирая пальцами густые, промытые щелоком волосы, сгребая их со лба Леонтия, она увидела у висков седые пряди.

— Рано еще седеть-то тебе, — со вздохом примирительно сказала она.

— Вот недельку еще побудем с Василием Ивановичем тут, наберемся жиру и в Москву, к самому государю!

— Ой ли! — приподнялась Алена. — В Москву? К государю? А че там делать, в Москве-то? Тама, сказывают, черт знает че творится. Царь себе вторую жену выписал из-за моря-океана. Она будто на свой лад Москву переделывает, а нашим князьям, боярам, кто супротив, языки режут.

— То царские дела, не наши, — ответил Леонтий Родионович.

— Царь, сказывают, как ее привезли, в тот же день обвенчался с ней. Имя ей сменили. Зоей звали, теперича Софьей Фоминичной величают.

— Больно много знаешь, — строго сказал Леонтий Родионович. — Женился царь и женился. Наше дело — служить ему, а не всякие наговоры слушать. Царица — она и есть царица! Мое и твое холопское дело величать ее великою княгинею государя всея Руси. Молиться за нее.

Немного погодя, уже успокоившись, Леонтий Родионович будто между прочим спросил:

— Сорока, че ли, на хвосте такие вести принесла?

— Православные тут мимо проходили. Пошли, говорят, в леса, скиты ставить да веру Христову хранить. Царица-то из чужих земель.

— Государь наш Иван Васильевич характеру крепкого, — сказал Леонтий Родионович.— Не позволит! Станет держать под крепкой рукой мелкие княжества. Не всем поглянется.

— Я не про князьев говорю, — сказала Алена. — Про веру.

— Да нам самим надо веру хранить: мне, тебе, детишкам нашим. Богу молиться, посты блюсти, чаще в грехах каяться. Не царей судить надобно, а самих себя.

В слюдяное оконце стала заглядывать луна. На небе засветились звезды.

— К холоду, — сказал Леонтий Родионович, представляя, сколько еще холодных ночей пришлось бы им коротать, не покажи им ближний путь через Великий Камень вогулич Перко.

— Помоги ему, Господи, — сказал вслух Леонтий Родионович.

— За кого просишь Господа?

— За одного вогулича.

В другое время Алена засмеялась бы и фыркнула, но тут, вздохнув глубоко, добавила:

— А в Москву, поди, ехать страшнее, чем к вогуличам, за Великий Камень?

— Будет, голуба, будет. Главное дело мы спроворили, теперича надо появиться перед очами самого Ивана Васильевича — государя земли русской. А уж его милостью может и голова с плеч!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Князя Василия Ивановича парили в бане двое боярских сыновей попеременно. Только к исходу третьего дня он изрек:

— Буде!

Квасу за эти дни было выпито два берестяных ведра, медовухи не меньше, браги — никто не считал. Голиков березовых был полон угол, в другом углу — гора сырых крапивных полотенец. На широкую лавку клали сено, покрывали его крашениной из лощеного холста.

Уезжать от воеводы Василий Иванович не хотел. Бог его знает, как встретит его государь. Только когда повалил снег и по первопутку на легких дровнях поехали мужики за луговым сеном, стал князь готовиться к отъезду. Ратники же, напротив, стремились поскорее добраться до родных мест. Пятидесятники и сотники дожидались бумаг от своих воевод: вятских, вологжанских, устюжских, двинских, печенегских. Им не терпелось поскорее попасть домой. Ждать санного пути им было уже невтерпеж. Как только они получили грамоты, тут же отправились домой, к родным местам. Кто получал вспоможение от Василия Ивановича, тот нанимал лошаденку, а кто и пешим уходил восвояси.

К выезду в Москву князь Василий Иванович и воевода Леонтий Родионович готовились старательно. Княжеский стремянной, не раз сопровождавший хозяина в столицу, знал все тонкости дальних путешествий: от запасов продовольствия (хлеба, мяса, рыбы, сала, меда, мороженого молока) до украшения лошадиной сбруи. Седла были сделаны из сухого дерева или сухих жил, украшались узорами и кистями, узда на княжеской и воеводской лошадях была с серебряными ухватами и оковами, цепочками, издававшими звук при каждом движении лошади. Сани для легкости делали не деревянными, а из коры или лубья. В таких санях умещался только один человек, его закрывали медвежьей шкурой, называемой медвединой, сверху полстью из простого войлока. Сани обивались по желанию хозяина.

Утром, перед выездом из города княжеского поезда, проехали кречетники и проторили дорогу. Санный поезд тронулся под звон церковных колоколов. Немалое число городского гарнизона отправилось сопровождать и охранять собранный для царской казны ясак, чтобы доставить его в полной сохранности. Десятки верховых скакали впереди, кричали и свистели, давая знать встречным, чтобы те сворачивали с дороги, а также подавали знак подорожной яме готовить лошадей. Ночевать останавливались в крестьянских курных избах, где был такой нестерпимый жар и такая вонь, что задерживаться не хотелось. В Вологде, Великом Новгороде путешественников, ходивших за Великий Камень, встречали с почестями. А через день-другой перед их глазами снова виднелась снежная даль, по сторонам маленькие деревеньки с низкими избами, соломенными крышами. Громкоголосые собаки да ребятишки, высыпавшие на обочину дороги, с любопытством глазели на проезжающий, растянувшийся на целую версту санный поезд.

Вот впереди появилась и Москва. Всяк слышал про нее, да не всяк бывал. Вечерело. Морозная дымка окутала город. То в одном, то в другом месте слышались перестуки околоточных. Памятуя, что все дела надо начинать с восходом солнца, торопились на ночлег.

К удовольствию Василия Ивановича, на обширном кремлевском дворе был отдельный стрелецкий посад для служивых людей. Рядом были слободы казачья, пушкарская, дальше слободы промышленные: бобровников, рыбных ловцов, сокольников.

У порога в карауле стояли служивые, и у Василия Ивановича при их виде поднялось настроение. Двухлетнее пребывание в походных условиях, каждодневное общение с чернью притупили в нем чувство щепетильности и брезгливости, которой он отличался от своих друзей в молодые года.

Просторные, чистые покои понравились князю. Очутившись в тепле, он успел только помолиться и крепко заснул. Проснулся рано, ни свет ни заря. Было еще темно, но уже чувствовалось приближение нового дня. Сегодня для него был особенный день: предстояла встреча с государем.

По такому случаю спальник еще с вечера достал кафтан вишневого цвета, он был одновременно и прост, и изыскан. Зато пояс был необыкновенный: с белыми, червонными и лазоревыми полосками, в каждой полоске свой узор. Пояс застегивался на крючки. Шапка была с суконным верхом, спереди украшена жемчужной нитью. Из черепаховой коробочки он вынул несколько перстней. Вдруг он неожиданно замер. Оглядев себя в зеркало, велел спальнику достать одеяние, в котором ходил в поход за Великий Камень. Слуга удивился, но виду не подал. Через некоторое время он стоял, облаченный в тягиляй — кольчугу с широким кожаным ремнем с при-

стегнутыми к нему саблей, ножнами с ножом, кресалом, рогом, несколькими амулетами-оберегами и колчаном со стрелами.

К Кремлю князь, воевода и боярские сыновья подъехали на красивых белых лошадях с разукрашенными чепраками, красивыми попонами. Их сопровождал вооруженный отряд царских стражников. Зеваки сторонились по обочинам дорог. Любопытные бежали до самых кремлевских ворот.

Вот и обширный кремлевский двор с башнями: Боровицкой, Беклемишевской, Петровской, Никитской...

Путешественников препроводили в Кремль. С волнением поднимался Василий Иванович со спутниками по ступеням парадного крыльца. В два ряда стояла царская стража. От невиданной красоты захватило дух, кто-то из боярских сыновей, заглядевшись и разинув рот, споткнулся на мягком кармазиновом ковре.

Царица Софья в исключительных случаях сама принимала послов и на этот раз решила смотреть на царский прием из потаенного окна Грановитой палаты. Сегодня она вела разговор с Максимилианом о сватовстве своей дочери. Распорядилась подарить ему несколько белых кречетов и четырех красных, водившихся на Крайнем Севере и высоко ценившихся у охотников.

Софья сидела с боярынями на полатях, устроенных над дверями палаты.

— Пригожие-то какие, — не удержалась одна из боярынь, торопливо прикрыв рот ладонью.

— Это князь Василий Иванович Заболотский, — сказала Софья, разглядев его еще во время въезда на царский двор.

Вдруг раздался громкий голос: «Московский князь всея Руси!» Наступила тишина, было только слышно, как потрескивали свечи в подсвечниках.

Дверь распахнулась. На троне, стоящем на постаменте, покрытом бархатной полостью малинового цвета с серебряной бахромой, восседал царь Иоанн III. Он был сухощав, но широк в плечах, с волнистыми русыми волосами и с проседью в густой окладистой бороде. На смуглом лице из-под нависших бровей смотрели когда-то голубые, а теперь совсем выцветшие глаза. Одет он был в ферязь — длинное мужское платье, сшитое из золотой парчи и украшенное драгоценными каменьями. Над головой висела украшенная самоцветами корона, из под которой спускался балдахин из голубой парчи с серебряными звездами. По сторонам в карауле стояли рынды в длинных белых кафтанах и высоких меховых шапках. На правом плече они держали маленькие топорики с длинными серебряными рукоятками.

Князь Василий Иванович Заболотский на почтительном расстоянии поклонился в пояс царю, чему последовали его товарищи. В это время вошла царица Софья. Она была без свиты. На ней был плащ из парчи и соболей, накинутый на пурпуровое платье, золотые украшения, жемчуг на голове. Подойдя к царю, она подала ему кованый ларчик. Взглянув на воинство Заболотского, улыбнулась. На белоснежном лице Софьи Фоминичны блеснули черные глаза. Василий Иванович успел заметить над ее губой черненькие усики, которые не портили ее благородного лица.

— Я помню тебя, князь, — сказал вдруг государь Василию Ивановичу. — Я наслышан о тебе и доволен твоей службой. — Он открыл крышку кованого ларца, достал из нее по золотой деньге для ношения на груди. Это был знак высшего отличия. Не обошла царская милость и воеводу.

В это время соболятники, знающие толк в мехах, на вытянутых руках внесли несколько десятков сороков

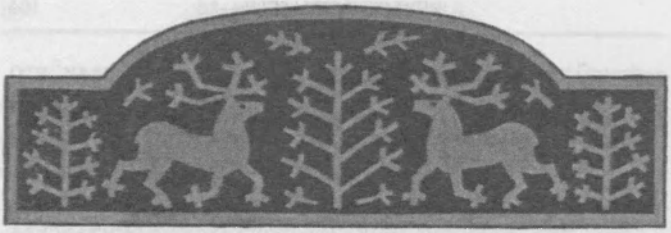
соболей, лис, бобров, горностаев. Как все понимали, это была лишь малая толика привезенных мехов. Поверх соболей лежал неказистый меховой мешок. Василий Иванович подошел к соболятнику и, развязав мешок, вынул из него стрелу, на которой были нанесены значки.

— Это, великий государь, вогульская бунтарская стрела. По ней вогульский князь Юмшан собирает людей в походы. На ней и на медвежьей шкуре вогуличи поклялись платить тебе, государь, ежегодную дань — ясак...

— Благодарю, князь. Ты и воевода с боярскими сыновьями, ходившие в поход за Великий Камень, возымеете царскую милость. — Протянув руку, он попросил подать ему бунтарскую стрелу.

Долго держал в руках Иван III обыкновенную четырехгранную палку, почерневшую от прикосновений к ней многих рук, искусно разделенную на мелкие квадратики, заполненные хитроумными знаками.

Щедра княжеская милость. Кроме жалованья деньгами государь наградил за военную службу и почестями. Был жалован в князья воевода Леонтий Родионович Русинов, богатые вотчины были пожалованы и боярским детям.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

При московском государе Иване III шло присоединение земель к Руси. Большинство бояр, ставших его верными слугами, были беззаветно преданы этой идее. В Успенский собор в Москву были перенесены иконостасы из храмов присоединенных городов.

Русский народ назвал Ивана III Грозным, как впоследствии и его внука Ивана IV. И действительно, это был грозный, требовательный царь. Вместе с тем, по свидетельству современников, он отличался чрезвычайной отзывчивостью ко всем общественным бедам. «Иван Третий оставил государство удивительное пространством, сильное народом, духом православия, то, которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным Отечеством».

После его кончины править государством стал старший его сын Василий Иванович. Он не мог по-отцовски обуздать бояр, старавшихся возвыситься друг перед другом. Местничество наносило страшное зло, вызывало бесконечные ссоры. Василий Иванович не имел опыта и гибкости в управлении, многие его затеи были обречены на провал. Это и неудачный поход на Казань с целью

наказать казанского царя Магмет-Аминя, и война с Литвой и Ливонией. Нелегко проходило присоединение Пскова к Московскому государству, взятие Смоленска, не без труда были присоединены к Москве два больших удельных княжества: Новгород-Северское и Стародубское.

Именитые московские фамилии, а также и братья Василия Ивановича, получившие в наследство от отца гораздо меньше наделов, были слабой ему опорой. К тому времени уже не было в живых его мудрой матери Софьи Фоминичны, которая могла бы со своим прозорливым умом и мудрыми советами отвести его от многих рисковых поступков, особо в вопросах с иноземными государствами.

Не был счастлив Василий Иванович и в семейной жизни, хотя женился по любви. Виду он был богатыр-ского, лицом пригож, жену себе выбрал сам. Объезжая как-то с отцом свои владения на южной заставе, где Сабуров был поставлен наместником для охраны России от набегов татар, увидел он его дочь. От роду Соломонии в ту пору было пятнадцать лет, и вряд ли поверил Сабуров в серьезность намерений Василия Ивановича, когда услышал от него, что он хочет жениться именно на его краснощекой дочери, до недавнего времени жившей с отцом в самом северном крошечном городке Новгородского края, в Переяславле-Залесском. «На Руси здоровых да краснощеких княжон полные терема», — шутил отец.

Но Василий видел, как вспыхнули щеки Соломонии, распахнулись большие синие глаза в густых ресницах, когда он на нее взглянул.

Через год наместнику Сабурову велено было с дочерью явиться в Москву. Захлопали крышки сундуков и коробов, зашуршали ткани заморские, купленные в приданное Соломонии.

На смотрины было собрано со всей Руси около полутора тысяч девиц благородного звания. Из такого числа было отобрано в царские палаты только десять. Дьяк в красном кафтане стал вызывать их по списку. Взволнованные, побледневшие и разрумянившиеся девушки делали круг по царской палате, подходили к молодому князю с низким поклоном. Когда очередь дошла до Соломонии и громкий голос дьяка произнес: «Соломония Сабурова!», она вся задрожала, ноги ее подкосились. Под пристальными взглядами робко и несмело шла она к царю. И вдруг знакомый взгляд! Великий князь, сидевший рядом с отцом и матерью, привстал и поклонился. По роскошной Грановитой палате пронесся возглас, похожий на вздох.

Для Соломонии наступила счастливая пора. Князь любил ее нежно, со всей страстью своих робких, неумелых, но искренних чувств. Но, к великому несчастью, княгиня Соломония оказалась бесплодной. Мог ли кто подумать, что пышущая здоровьем и красотой величественная Соломония, созданная Богом для рождения здоровых и сильных наследников, не оправдает надежд государя. Сколько слез было пролито, сколько молебнов отслужено, сколько хождений сделано к святым местам! Двадцать годов прожил государь Василий Иванович с Соломонией в ожидании наследника. Отсутствие наследников печалило их. После кончины Василия Ивановича престол должен был перейти к его брату Юрию, человеку, совершенно не способному продолжить трудное дело — служение Руси.

Как рассказывают летописи, будучи за городом и увидев птичье гнездо, Василий Иванович горько заплакал: «Горе мне! На кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и оне плодовиты; и на зверей земных не похож, потому что и оне плодовиты; и на воды не

похож, потому что и воды плодовиты — волны их утешают, рыбы веселят! Господи! Не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, Господи!» Обратился Василий с плачем к боярам: «Кому по мне царствовать на русской земле и во всех городах моих и пределах?» От бояр услышал ответ: «Государь! Князь великий! Неплодную смоковницу посекают». Этим боярским ответом была решена судьба несчастной Соломонии. Уходить из мира она не хотела. Велики ли ее годы? Еще нет и сорока! Но крепче слова царского нет! Объявление о разводе состоялось в ноябре 1525 года. Но по церковному указу Василий не мог вторично жениться, если жена постригается с согласия мужа. Тогда сам муж должен отказаться от мира... Но митрополит дал Василию благословение на второй брак. Тайно Соломонию вывезли из Кремля и постригли под именем Софии в Рождественском монастыре, после перевели в суздальский Покровский монастырь.

Горько переживал государь разлуку с Соломонией. Долго еще стоял в ушах грохот кареты, увозившей навсегда его любимую женщину. Тяжек жребий государя! Еще свежи в памяти ласки и слезы Соломонии, пусто и холодно опустевшее ложе. Во сне он ищет теплую руку, мягкую грудь, уста не перестают повторять любимое имя. В покоях тишина. Из-за двери доносится сонное бормотание спальника, слышно, как выскочившая из-под пола мышь скребет в дальнем углу. Томление и тоска давили сердце. Хотелось выбежать из хором, крикнуть: «Заложить упряжку!» и помчаться в монастырь за Соломонией! Но не может он не думать о своей высокой ответственности перед Отечеством.

Ловчий Никита — главный псарь-распорядитель всем порядком псовой охоты — держал собак впроголодь,

всегда готовый к выезду. Он хорошо знал царские привычки: в трудные для царя часы и дни он всегда был востребован: охота была главной его утехой.

Непуганого зверя в Подмосковье много, ловчий умел выбирать места с помощью деревенских людей.

На этот раз Василий Иванович выехал на охоту не один, а с литовскими князьями, пожаловавшими в гости.

По дороге говорили о короле Сигизмунде...

— Да таки ли речи говорить сей час? — хихикнул князь Михайло Плещеев и, подъехав к государю, лукаво шепнул: «Семен Курбский прячет от тебя племянницу князя Глинского. Летами еще не выдалась, а собой пригожа-а-а!»

В это время собаки гнали лис. За ними, нахлестывая коней, мчались егеря. Показалось Михайле, что государь не понял, о чем тот шепнул ему на ухо.

После охотничьего пиршество государь подозвал к себе Семена Курбского. Тот, расталкивая всех, разгоряченный от выпитого заморского вина, вытаращил на него глаза, ожидая услышать похвалу за хорошо выученного кречета, который с одного круга сшиб жертву. Появившиеся холопки распевали веселые песни, взбадривая душу...

— Не покажешь ли девку, которую от моих глаз прячешь? — спросил государь, прищурив глаза. — Семен обомлел от услышанного, не мог вымолвить ни слова. Он был в догадках: кто мог донести государю о молодой княжне Елене Глинской?

— Слышал я, княже, что скрываешь ты от меня племянницу князя Глинского, — повторил государь. — Сказывают, ты намереваешься ее своей женой сделать.

— Молода она, — сказал Семен, и слезы навернулись на его глаза.

Василий Иванович вроде не заметил его волнения, продолжил:

— Может, позволишь мне позреть на красоту княжны Елены?

— Да как же, государь, милости прошу, — ответил, заикаясь, Семен Курбский.

— Завтра явлюсь. Не забудь ворота распахнуть.

Вроде бы и не государево это дело самому ехать к князю, да и то: кому какое дело? Захотел и поехал. Взыграла кровь. Взглянул на себя в зеркало да вроде и не узнал: в глазах блеск, на щеках румянец, волосы густы, в бороде еще сединки не видать.

Разными яствами уставлен большой дубовый стол Семена Курбского. Не бывал государь на таких смотринах. Неловко, неуютно садиться за стол вдвоем, но сам так пожелал. Разговор не складывался. Что ни пытался говорить Семен, все вроде некстати. Не говорить же о политике, о заключении договора с литовским королем Сигизмундом, по которому Литва признала за Москвой земли, завоеванные Иваном Васильевичем. Мир тот величали вечной грамотой, хотя понимали и в Москве, и в Вильно: тишине быть недолго.

Скоро из потайной двери вышла молоденькая девушка, статная, белолицая. Черное бархатное платье отделано жемчугом, из-под длинных рукавов видна нарядная сорочка, собранная на руках во множество складок. Волнистые русые волосы стянуты на затылке в тугой узел. Белые маленькие ручки, белая шея. С поклоном подошла она к столу, опустив голову. А как глянула на Великого государя, так он и зарделся, не меньше, чем молодая княжна. Семен Курбский, ловко подскочив, подставил ей стул.

Государь сказал Семену Курбскому:

— Негоже княжне Елене жить у тебя. Завтра перевести ее в царские палаты.

Сам себе налил большой кубок вина, встал, жестом приглашая княжну и Семена разделить с ним тост. Испив полный кубок, он весело и ласково поглядел на княжну.

— Собирайся, князь, служить наместником в Псков. А князю Михайле Глинскому, поступившему ко мне на службу, отдаю на прокорм город Малый Ярославец, еще села под Москвою...

— Быть свадьбе, — проводив гостя, плакал Семен Курбский. — Для него-то она тоже дитя, — сокрушался он и боялся лишний раз взглянуть на Елену, чтобы не порвать себе сердце.

Ждать пришлось недолго. В январе 1526 года было объявлено о свадьбе Великого князя. Вся Москва знала, что проходила она в Брусяной избе, при большом стечении народа, с точным соблюдением христианского обряда. В хозяйственных постройках и службах, расположенных большей частью особыми дворами, двери ходили ходуном.

Бывший есаул Герасим Титыч Чагин, ходивший в поход с князем Василием Ивановичем Заболотским за Великий Камень, каждый раз вздрагивал, когда узнавал, сколько раздаривается мехов иноземным гостям и сколько их выгребают из царских закромов не жалеючи. Рассказывая про свадьбу государя, Дмитрий Оса, служивший в ту пору царским спальником, шептал: «В изголовье велено было класть по сорок соболей, других соболей держат для опахивания Великого князя и Великой княгини. Венчальные свечи с обручальными кольцами тоже были перевязаны соболями. В Успенском соборе, где венчали Василия Ивановича с Еленой, на место, где сел царь, положили сорок соболей, а ей — два сорока. Постель, постланная на три девяти снопах,

обкладывалась дорогими тканями, в четырех ее углах втыкались четыре стрелы, на которых вешали по сорока соболей»

— Соболя-соболики! Везде соболя! На себе, под собой! На шубах и шапках! — бурчал постаревший Герасим Титыч.

Он понимал, что мало еще кому приходят в голову мысли о растранжиривании меховых закромов. Жил бы он в покое, если б не знал, каких трудов стоят эти меха, а то, считай, на каждую шубу посмотрит, сразу прикидывает в уме, сколько на нее ушло соболей. Нет-нет да князя Василия Ивановича вспомнит. Про воеводу Леонтия Родионовича часто вспоминал, приветы через кречетников ему передавал и от него получал. Сказывали: он еще бодр, вовсю рыбалит, зимами в лесу живет — охотничает. А годы? Так их не убавишь — не прибавишь. Только каждый год незаметную отметину оставляет.

25 августа 1530 года в семь часов утра во время сильной бури родился царский наследник.

Народ высыпал из домов, крестясь и шепча молитвы, радуясь счастью государя, дождавшегося наконец законного наследника. Молодая Елена Глинская три года родить не могла. Дождались наконец.

— Дуйте на площадь, — закричал уличным ребятишкам Герасим Титыч, — ловите царские милости. — Золото сыпалось без счета, вино лилось рекой. Первопрестольная гудела.

Через десять дней Василий Иванович повез своего наследника в Троице-Сергиеву лавру. Там его окрестил игумен Иосиф, а восприемниками были столетний инок, праведный Кассиан Босой, и известный сподвижник Даниил Переяславский. Взяв сына из купели, государь положил его на раку с мощами преподобного Сергия и,

как пишут летописцы, обливаясь слезами, просил святого быть ему заступником во всей его жизни.

Большинство холопов Герасима Титыча успели побывать на кремлевской площади. Возвращаясь, они тащили в холщовых подолах разные угощения. Все радовались, один Герасим вздыхал:

— Ох и полетят опять из закромов соболя-соболики! На торжества иностранные послы прибудут, а им подавай меха!

Он слышал от спальника Дмитрия Осы, что мехов в царскую казну из-за Камня не поступает уже несколько годов. Пополняется казна только северодвинскими мехами, немного пермскими да из Обдории самоеды шлют скудное количество песцов да лис.

— Негоже это, — протянул Герасим Титыч, — вогуличи нам клятву давали на медвежьей шкуре. Привезли мы бунтарскую стрелу — знак их верности. Они клялись ежегодно доставлять меха в государеву казну. За ясаком самим ездить надо. Че сборщики-то делают? Али неохота? — рассуждал Герасим Титыч. — А как наша тропа да зарастет? Да как потеряют ту щель, которую шаман Перко показал, не много охотников найдется энтакий поход делать. Сколько ратичей погублено, сколько страданий принято!

— Да, поди, ужо про ту тропу и забыто, — спокойно отвечал Дмитрий Оса. — Теперешним сборщикам ясака великое послабление вышло от государя — освобождение от податей. Слыхивал я от боярина Кошкина, что уже нет тех людей, которые тогда через каменную щель к вогуличам ходили. До Вишеры, сказывают, добираются, а оттуда возвращаются пустыми, хотя на обмен товару грузят немало.

— Как это, людей нет? — возразил Герасим Титыч. — Я тут под боком живу, а про меня все забыли.

— Сказывал я боярину Кошкину про тебя, так он, улыбнувшись хитро, изрек: «Куда ему? Годов-то скоко?»

— Елки-моталки, — заерепенился Герасим Титыч. — У него что, язык отсох у меня спросить? Потерять-то легко, а вот найти пущай попробуют! Прознав про такую потерю, государь быстро башки-то заставит отсечь да в Москву-реку бросить. Такой убыток государева казна имеет, а боярину Кошкину все едино? Челобитную буду писать! Эко заговорили: «все постарели!» — бурчал Герасим Титыч. — Князь, воевода, может, конечно, и постарели. Но ведь ходили и боярские дети.

— А теперь не хотят идти. Вас-то как посылали? Ратичи — люди подневольные, а теперича все по-другому. Находятся охотники, соблазн берет — надел земли получить, а как попробуют до Усть-Выми или Услюга да Чердыни добраться, так и обратно. Товару-то много дают, да оставляют там, чтоб ответ не держать, и домой. Снаряжение дают хорошее: лошадь, съестного до первого города, мешок толченого проса, до десяти фунтов солонины, соль. Каждому выдается топор, огниво, медный котел или горшок.

Удивился Герасим Титыч, но вида не показал.

— Кроме того, дают лук, стрелы, костени, сабли.

— Сабли-то зачем? Вогуличи по бунтарской стреле и на товар меха отдадут. Разве что князьям в подарок?

Вспомнив о Великом Камне, заныло сердце у Герасима Титыча, появилась охота поговорить с самим боярином Кошкиным. А коли он станет артачиться? Может, пойти к дьяку, попросить его написать самому государю: мол, так и так, бьет челом бывший есаул Чагин Герасим Титыч, ходивший с князем Василием Ивановичем Заболотским в поход за Великий Камень. Привезли оттуда государю вашему батюшке Ивану III бунтарскую

стрелу — знак клятвы вогуличей с земли Югорской. Теперича меха с той стороны не поступают в казну государеву по причине нерадения. А меня, раба вашего, берет опасение: забудется та щель через Великий Камень, которую нам шаман Перко показал, и тогда снова великие труды понадобятся, чтобы через этот Камень перевалить.

«А что, если тряхнуть стариной? Сходить еще раз за Камень? А что, и схожу, ежели уговаривать станут. Сдюжу. Акулина моя, конечно, завопит, ну и пущай. К Настене будет чаще бегать да с внучатами в лес ходить али сказки рассказывать. Насочиняла их про вогуличей, они и слушают, все просят: расскажи, как дед на ладьях плавал, да как татарский караван останавливал, да как через Камень переходил, да с вогуличами плясал».

Боярин Кошкин, дородный и рыжебородый, встретил есаула в хорошем расположении духа. Говорили о том, о сем, главное, о государевой радости.

— А что, ясак-то с Югорской стороны как след поступает? — спросил Герасим Титыч.

Боярин вспыхнул, надул щеки, засопел. С другим он не то что разговаривать, да и смотреть бы в его сторону не захотел, а тут перед ним не кто-нибудь, а Герасим Титыч, ходивший к Великому Камню.

— Плохо с ясаком, — признался боярин. — И послать не знаю кого. Пал бы тебе в ноги, да совестно: годы твои какие?

— Какие? — переспросил Герасим Титыч. — Ты не гляди, что лысина на голове. — В поход-то с князем Василием Ивановичем когда ходил, мне только двадцать стукнуло, а с тех пор тридцать лет прошло. Мне теперь что, в гроб ложиться?

— Но не в такую же тьмутаракань идти!

— Там не тьматаракань, там тьма комарина!

— Да кто туда пойдет? Где ту щель зимой найти? Или сам спробовать можешь? — удивился боярин, испытующе поглядывая на Герасима Титыча. — Неужто?

Вошедший дьяк, увидев боярина Кошкина с Герасимом Чагиным, не заметил, как из-за уха выпало гусиное перо, задрожала жидкая бороденка.

— Неужто согласен? — сквозь слезы спросил Кошкин. — Теперича, Герасим Титыч, не то что тогда, когда всю дорогу горе мыкали. Теперича каждому воеводе бумага с печатью будет послана: везде велено справных лошадей вам давать и во всем помогать. — Помолчав, добавил: — Но никто не дает своего согласия туда идти. Я уже не говорю про тутошних мужиков, но ведь и в Усть-Выми, Чердыни на Вишеру идти не соглашаются. Через Печору согласны, а вашей щелью — никто. Мы уж и рукой махнули. Как при князе Василии Ивановиче было зимовье, так и осталось. В прошлом годе, сказывают, когда по воде тесины завозили, на двух землянках-сараях крыши поправили, кое-какой товар оставили. Идти к вогуличам никто не желает. Вы-то, сказывают, какими-то речушками ладьи вывели на простор Вишеры.

— Зато через Камень к вогуличам, считай, на брюхе ползли, ладьи разбирали да все волоком, волоком.

— Вот всех и берет страх, кто переходил Камень, кого ни позовем, кого ни спросим — у всех брюхо болит. Да и то подумать: ближний ли свет? Пять тысяч верст, Боже милостивый!

— Рискну. Где наша не пропадала! — неожиданно ответил бывший есаул.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Выехали к вогуличам поздней осенью, по первому снегу. С собой Герасим Титыч взял только троих

молодых казаков, скорых на ногу, ловких в деле, проворных в седлах. Сам ехал в крытом возке. Помог им во всем мезенский воевода — стоило только вынуть и показать государеву бумагу. Мезенские мужики дорогу на Вишеру с закрытыми глазами знали. Лошади выносливые, низкорослые, неприхотливые.

Место зимовья определили быстро. Неистовый собачий лай будил снежные берега, он то терялся в снежной дали, совсем умолкая, то с новой силой летел по реке, подхваченный ветром. Лошади, почуяв скорый отдых, кряхтя, торили дорогу, встряхивали головами, ссыпая снег с челок и грив. Вдали показались две черные точки.

— Один-то Феоктист, с осени привезенный за сараями глядеть, а кто другой — не ведаю, — говорил рыжий колвенец Герасиму Титычу, высунувшемуся из возка.

Сердце его забилось при виде зимовья, где они провели долгую сибирскую зиму, похоронили немало товарищей. Закружило голову, в горле будто комок застрял. На глаза навернулись слезы.

Феоктист оказался мужиком тщедушным, обросшим клочковатой бородой. Голова и плечи его тряслись. Бойкая собачонка, охрипшая от радостного лая, шмыгала возле ног приехавших. Поодаль, натянув на лоб платок из грубой холстины, стояла высокая девушка. От испуга и смущения она прикрывала лицо вязаной варежкой. В ее больших зеленых глазах, казалось, застыли льдинки.

— Экие глазища-то! Моргни, че ли! — буркнул Анисим, безродный казак, согласившийся пойти с Герасимом. — Отколь взялась?

Феоктист, услужливо помогая Герасиму Титычу вылезти из возка, сказал:

— Приблудная она. Как есть приблудная.

Затаскивая овчинный тулуп в землянку, Феоктист, будто вытолкнутый кем-то обратно, запнувшись о низенький порог, затараторил, обращаясь к девушке:

— Че стоишь на ветру-то? Ступай в тепло, а ужо опосля всех разглядишь. — И опять за свое: — Радость-то какая! Радость-то. Людей увидел. В тепло, в тепло все заходите. Мы здесь затопили, как Белка вас учуяла.

В землянке было тепло и чисто. Вся утварь, вычищенная, вымытая, стояла на месте. Высушенная с лета трава была аккуратно сложена на широком деревянном настиле и покрыта войлоком.

Герасим Титыч, не долго думая, забрался на настил, вытянул ноги и постанывал от наслаждения, легкости во всем теле. «Сколько же нас тут зиму коротало? — осматриваясь по сторонам, спросил сам себя и ответил: — Восемь! И всем места хватало». Сморенный теплом, он моментально уснул, громкий храп наполнил землянку.

Анисим, отогревшись возле сбитой из глины печурки — не печурки, чувала — не чувала, не замедлил спросить Феоктиста:

— Не из-за этой ли приблудной тебя в дрожь бросило? В землянке жара, а у тебя зуб на зуб не попадает.

— Не губите! Не увозите от меня Пелагею. Навсегда тута жить останусь. Про все на свете забуду, тока Пелагею оставьте. Она ничья. Она Божья. По тундре блуждала. Вот Белка ее и нашла.

— Больно баска Пелагея. На себя-то хоть когда-нибудь глядел? Лишку тебе этаку бабу.

— Лишку. Сам знаю. Но все одно не губите.

Зимой рассвет на севере приходит поздно. Герасим Титыч с непривычки отлежал бока. Набросив на плечи овчинный тулуп, вышел из землянки. «Боже мой, будто и не прошло тридцати годов! Те же вершины гор, те же

хмурые кедрачи, одетые в снега, и бескрайняя снежная даль. Кажется, вот-вот и услышу хриплый голос воеводы», — с грустью подумалось Герасиму Титычу.

Под маломальским навесом хрустко жевали сено лошади. Привыкшая к запаху мужиков, веселая Белка кружила возле ног растроганного воспоминаниями Герасима Титыча. За ночь метель улеглась, очистились от туч небеса. Он подошел к саням, где лежали широкие охотничьи лыжи, подшитые мехом, подошел к лошадям, похлопал каждую по крупу. Буланому мерину сказал: «С нами пойдешь, дорогу торить будем».

Сборы были недолгими. Нехитрый скарб положили на сани. С Герасимом Титычем кроме Анисима были еще двое: Демид да Пахом.

Гоношился, сновал туда-сюда Феоктист. За все утро он не проронил ни слова, надеялся, что мужики забудут про Пелагею. Но она объявилась сама.

— Куда ты? — взвизгнул Феоктист, намереваясь толкнуть ее в дверь.

— А может, она с нами идти захотела? — в шутку сказал Анисим, подмигнув. Пелагея кивнула головой. — Так надевай лыжи, и айда!

— Это ты так, Пелагея, за мою-то заботу? — завопил Феоктист и заревел громко, с причитаниями, как деревенская баба над покойником.

Память у бывалого есаула была еще крепкой, спина прямой, ноги ходкие. Широкое русло реки Веслуи, впадавшей в Вишеру, узнал сразу, хотя уже сильно темнело.

Ночевали все возле подводы. Пелагее место определили на возу.

— Я по-стариковски рядом с тобой, — сказал Герасим Титыч. Не проморгал и Анисим, прижавшись с другой стороны.

Пахом занялся лошадью. Освободив ее от подпруги и чересседельника, вытащив дугу, вывел из оглоблей. Сметая рукавицей куржак со спины и боков мерина, проговаривал:

— Измаялся в сугробах, отдохни, голубчик, да шибко-то жилы не рви. Коли сильно увязнешь, так стой, мы помогем. На-ка, поешь овса, — надевая на шею лошади торбу, приговаривал Пахом.

Немного погодя мерин перестал жевать, скосил на мужика большой черный глаз в коротких заиндевелых ресницах и тихо заржал, отчего с длинной челки полетели снежинки.

— Выходи, выходи, — потянул он мерина за уздцы, стараясь поставить с подветренной стороны. — Рогожину-то сюда давай, — вытягивая ее из-под сена, говорил Пахом и положил лошади на спину.

Оглобли, перемерзшие на морозе, заскрипели, когда он стал поднимать их. «Чтоб нас видно было, ежели снегом завалит».

— Мелешь че попало, — сказал наблюдавший за ним Анисим.

Герасим Титыч давно уже позабыл все названия мелких речушек, но, главное, он знал, что идут они к вогуличам правильно. Речушки, извиваясь, виляли между горами по проложенному руслу.

Через две седмицы в перелеске между болот на снегу появился нартовый след. Пелагея, присев возле него, долго разметала варежкой снег, трогала ладонью.

— Три дня назад проехали вогуличи, — обрадованно сказала она.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Горемычные путешественники еле держались на ногах. И сколько Герасим Титыч ни ерепенился, мужики все-таки настояли, чтобы какое-то время он отдыхал на санях.

Охотники-вогуличи, давно заметив чужаков, кружили и петляли стороной, сопровождая их до самого устья реки Талтии.

— Вогуличи близко, — сказала Пелагея. — Они следят за нами.

На рассвете нового дня, когда обласканный Пахомом мерин склонил голову под хомут, раздался неожиданный крик. Появились оленьи упряжки, вогуличи на нартах в длинных меховых савиках, забитых снегом. Они кричали что-то непонятное, размахивали руками, окружив путников.

Вскочивший на сани Герасим Титыч что-то тоже кричал им, но только имя шамана Перко заставило успокоиться вогуличей.

Никто и не подозревал, что Пелагея умеет говорить по-вогульски.

Она, появившаяся на свет от бедной вычегодской крестьянки и разухабистого ямщика, справлявшего

конную гоньбу в Усолье, была украдена ляпинскими вогулами, у них она и жила в чуме с собаками и множеством хозяйских ребятишек, как равная. Но с годами стала отличаться от других ростом, белокурыми волосами, большими зелеными глазами. Как-то вечером мать-вогулка пила с беззубым остяком «огненную воду» и решила продать ему Пелагею за пару важенок. Услышав их разговор, Пелагея спряталась под шкуры к дремавшим там братьям и сестрам. В последнее время проезжающие вогуличи обращали внимание на ее непохожесть и часто шептались с матерью. Остяк, отдавший матери двух важенок, велел показать ему Пелагею. Мать искала ее, бурчала, ругалась, потом сдавленным голосом позвала: «Пе-ля-кея. Пе-ля-кея». Девушка, обливаясь слезами, не отзывалась, боялась, что пьяный беззубый остяк свяжет ее и увезет к себе. Рассерженная мать стала сбрасывать со спящих ребятишек шкуры, в темноте ощупывала их головы. Она искала Пелагею, косы которой были толсты и длинны. В это время Пелагея проворной белкой упала на одну из нарт, толкнула хореем коренника в упряжке и, не поднимаясь, стала расталкивать других. Олени, повинуясь, побежали в сторону болота. Никто не заметил, не услышал этого и не пустился в погоню. Пелагея нащупала среди шкур савик, залезла в него. Она не знала, в какую сторону гнать оленей. Оказавшись на болоте, олени стали искать ягель. Загулявшие остяки, по-видимому, давно не кормили их. Весь следующий день сытые олени таскали упряжку вдоль берегов речушек, перелесков, несколько раз переезжали собственные следы. С наступлением полной темноты коренник остановился и лег, легли и два других оленя, понурив в дреме большие головы. Мороз крепчал, по небу плыла одноглазая луна, будто высматривая Пелагею. Девушка встала с нарты и спряталась под

брюхом одного из оленей, пригревшись, она утонула в глубоком сне. Потом еще несколько дней олени таскали ее по тундре. Когда веселая собачонка нашла ее и неистово лаяла на упряжку, Пелагея уже не способна была радоваться своему спасению. Перед глазами все плыло и качалось. Она не верила, что собака настоящая, а не приснилась ей. Только когда Белка стала лизать ей руки, та открыла глаза. Олени, почуяв запах дыма, притащили нарты на зимовье, где коротал дни стареющий бобыль Феоктист, подрядившийся за прокорм караулить старые амбары с каким-то давнишним товаром.

Все это произошло нынешней холодной и снежной осенью, сразу же после рекостава. Феоктист одновременно обрадовался и испугался, увидев Пелагею. Надсажаясь, сволок ее с нарты, затащил в землянку. Отогрел, отпоил. Другой мужик при появлении бабы на зимовье, не рассуждая, овладел бы ею, но не Феоктист. На него напала робость, даже страх: он не знал, что ей сказать, и уж совсем онемел, когда она велела занести в землянку шкуры. Девушка говорила быстро и сбивчиво, путая русские слова то ли с вогульскими, то ли с остяцкими.

— Ты, кажись, не вогулка? — тихо спросил Феоктист.

Она покачала головой, свернувшись клубочком возле теплого очага.

Феоктист, давно не касавшийся женщин, испытывал по отношению к Пелагее только жалость и участливость, и лишь однажды, когда она во сне отбросила в сторону маленькую белую руку, его вдруг обнесло жаром. Сконфузившись сам себя, Феоктист отвернулся и прочитал про себя молитву. Жить рядом с Пелагеей Феоктисту было радостно. Он видел, как, освободив-

шись от страха и отогревшись душой и телом, Пелагея разрумянилась, как ожили ее глаза.

Приезд на зимовье мужиков испугал Феоктиста. Сердце затрепетало в недобром предчувствии, но он никак не мог подумать, что Пелагея сама согласится отправиться с ними. Феоктист не сдюжил тогда и разрыдался. Да и Пелагея не могла понять, почему так поступила.

Когда, остановившись на ночлег, она залезла на воз с сеном, то рядом с ней, будто свалившись с неба, оказался Анисим, который сразу озорно с ней заговорил:

— Ну, Пелагея, погрей меня! Из-за меня же ты оставила своего Феоктиста! — И шепнул он ей на ухо: — По глазам видел — из-за меня.

И Анисим был прав. Разве мог сравниться дряхлый Феоктист с таким крепким и здоровым парнем? Волосы русые, борода округлая, усы пушистые, в которых прятались горевшие огнем пухлые губы. Пелагея инстинктивно оттолкнула его локтем, не думая, куда угодит ее острый локоть.

— Но, ты, — возмутился Анисим. — Не объезженная, что ли? — И захохотал. Через какое-то время, сбросив с себя удалецкую прыть, припав к савику, тихо сказал:

— Не бойсь. Придвигайся ко мне, теплее будет. — Пелагея затаилась, как мышь. — Да двигайся ко мне. Не съем я тебя, не пообижу. Все едино моя будешь, — сказал и, немножко помолчав, добавил: — Ежели этот старый хрыч тебя не щупал.

При встрече с вогуличами Пелагея заговорила так бойко и ладно, что Герасим Титыч от удивления разинул рот. Когда он достал из мешка старую бунтарскую стрелу, раздался панический крик, вогуличи стали торопливо перетаскивать шкуры с нарты на нарту, показывая жестами, чтобы путники садились на них.

Шаман Перко так и жил на большой Ивдельской сопке. Место там привольное. Необозрима ширь лесов, прорезанная многочисленными руслами рек. В зимнюю пору покрытые искристым снегом, они казались серебряными лентами, украшающими темно-зеленые бескрайние леса.

Выглядел Перко матерым, как осенний медведь, вылулявшийся в медоносных малинниках. Силен и крепок еще. Редкая седеющая борода, волосы, заплетенные в тугие косы до плеч, лоснились. На щеках играл румянец. От него исходило здоровье, доброта и уверенность, этим он отличался от остальных вогуличей. Вряд ли Перко узнал бы сейчас Герасима Титыча. В ту пору есаул мало чем отличался от других ратичей. Пожалуй, мог запомниться лишь тем, что выстрелил при нем из пушки. Другое дело князь Василий Иванович или воевода Леонтий Родионович! Долго бы пришлось Герасиму объяснять, кто он, если бы не бунтарская стрела, более тридцати лет пролежавшая в закромах среди меховых тюков в царском сундуке. Взяв в руки стрелу, шаман разволновался: ноги в коленях согнулись, он подтащил к себе сосновый чурбан, заменяющий в юрте лавку. Быть может, в этот миг он вспомнил и князя Юмшана, и клятву на медвежьей шкуре. Будто спохватившись, Перко бросился обнимать Герасима Титыча и других, не скрывая радости. Он не переставал повторять: «Рума, рума!» Он уже говорил окружившим его вогуличам, что эти русичи — друзья. Он держал бунтарскую стрелу над головой и что-то говорил сородичам на своем языке, возможно, рассказывал о той давней встрече.

Пелагея, стоя с закрытым лицом возле Герасима Титыча, переводила отдельные фразы Перко. Так бывший есаул узнал, что князь Юмшан прошлым летом ушел в верхний мир, не раз произносилось слово «ясак», при

этом шаман покачивал головой, сокрушался, что вогуличи и русичи нарушили клятву.

Горели костры, варилось оленье мясо. На берестяной скатерти появилась строганина, сушеная рыба... Герасим сидел у огня и думал, что снова оказался на краю света, но уже по собственной воле, думал и над тем, как бы после не забылась дорога, которая станет служить государеву делу.

Не прошло и трех дней, как к юртам на Ивдельской сопке стали подъезжать оленьи упряжки с мехами. Герасим Титыч удивлялся живости и проворности вогуличей. Здесь, на ветру и морозе, они выглядели иначе, чем тогда, измученные жарой, искусанные комарьем.

— Че бы мы делали без Пелагеи? — признался Герасим Титыч, когда пожилой вогулич просил оставить ему лошадь взамен привезенных соболей. Он просил ее для того, чтобы заколоть в жертву Торуму, который собирается взять к себе его жену. Вогулич лепетал, плакал. Как ни старался Перко, не мог объяснить просьбу вогула, только Пелагея поняла, что если за лошадью гнать оленей на реку Конду или Евру, то за это время жена уйдет в другой мир.

— Спроси, довезут они нас до Вишеры, до зимовья Феоктиста?

Столпившиеся вогуличи ответили радостными кликами. Они были рады исполнить просьбу русичей.

В юрте шамана, не переставая, горел чувал. Три женщины тихо заносили сухие полешки, раскладывали их возле чувала и ждали, пока вспыхнет огнем хоть одно из них. Какое-то время они сидели на корточках, пошевеливая угли.

Ночевали в юрте Перко на разостланных на полу шкурах, накрывались одеялами из легких шкурок неплюя. Пелагее освободили угол в юрте одной из жен

старшего сына. Наевшись мяса, усталые мужики скоро сладко захрапели. Только Анисим тормошил Герасима Титыча разными вопросами:

— Значит, до нас сюда так никто и не попадал?

— А кто? — самоуверенно отвечал Герасим Титыч, искоса поглядывая на вогульского шамана.

Чувствовалось, Перко хочет говорить с русскими мужиками, но без Пелагеи им было не понять друг друга.

Так Пелагея невольно стала толмачом. Ей куда легче было понимать Перко, нежели Герасима Титыча. Русских слов она знала меньше, чем вогульских, и только хорошая память, бойкий ум помогали ей связно переводить суть вогульских и русских речей. Герасим Титыч узнал, что у Юмшана было много сыновей и что в его пауле живет старший сын Суклём. Этот князь много гуляет, но не умет пускать бунтарскую стрелу, ни разу не ходил за Камень и не любит ворожбу на топорах. К нему приезжают шаманы с бубнами и после ворожбы долго пляшут. Суклём и его племя живут в низовьях Лозьвы-реки и редко поднимаются по Ивдели-реке.

— Соболь тут, — сказал Перко. Он вышел из юрты, взял в руки палку и стал чертить на снегу на первый взгляд что-то непонятное.

— Нёр-ойка, — показал шаман конусообразные фигуры. Герасим Титыч улыбнулся, вспомнив название горы. — Нёр-ойка, — повторил Перко и начертил дугообразную полоску. — Лозьва. — Потом сделал небольшую черточку вправо, обозначив ею Ивдель-реку, которая угодила в самую середину Лозьвы. — Тут соболь, — еще раз сказал шаман.

Несведущий человек вряд ли бы разобрался в его рисунке, но Герасим Титыч сообразил, что речь идет о верховьях Лозьвы.

Привезенных соболей считали сороками — ровно столько требовалось шкурок, чтобы сшить хорошую шубу. Вогуличи делали это так: втыкали в снег дугу из лошадиной упряжи (такая была в хозяйстве шамана Перко) и начинали складывать под ней шкурку на шкурку. Когда хозяин проталкивал под дугу последнего соболя, то начинал трясти дугу, и если сложенные шкурки не скатывались, стоявшие рядом кричали: «Сорок!»

Чтобы получить котел или чайник, их нужно было тоже наполнить шкурками. Мен шел без обид, но не всем досталось привезенного товара... Обещали все сполна отдать на вишерском зимовье. Вогуличи согласились.

В последние дни Герасим Титыч сильно ослаб. Он ничего об этом не говорил, но мудрый Перко сразу это заметил и наказал женам варить ему мозговые оленьи кости, кормить густым, жирным бульоном. Герасим Титыч не жаловался на боль в ногах, но ходил, не разгибая колен, больше лежал на шкуре. Его одолевала забота: как бы не забылась эта тропа через Великий Камень. Много ли найдется еще людей, желающих сюда пойти? Он, простой есаул, получивший от государя почести и надел земли, понимал, что сами вогуличи нуждаются в дружбе с русскими людьми, в обмене товарами, и если не наладить с ними дружбы, дикие племена снова и снова будут пускать бунтарскую стрелу, нападать на русские поселения, грабить, жечь их, уводить русских женщин. Может, у государя нет уже таких князей-богатырей, как Василий Иванович Заболотский-Бражник, Семен Федорович Курбский, Петр Федорович Ушатый? Он даже испугался своих мыслей. «Господи, спаси и помилуй раба твоего!» — взмолился Герасим Титыч. Может, такие мысли пришли к нему в связи с завтрашним расставанием с шаманом Перко и пониманием того, что больше уж никогда ему здесь не бывать.

Вдруг до его слуха донесся веселый смешок Пелагеи. В этих краях он редко слышал смех! Может, оттого, что здесь земля суровая, жизнь тоскливая, а быть может, вогуличи вообще не умеют смеяться? «Варнак Анисим, видать, что-то учудил. Глаз не спускает с девки, ан теперь подкараулил», — подумал Герасим.

Ему и в голову не могло прийти, что Анисим уговаривает Пелагею остаться здесь жить с ним и просит узнать у Перко, не убьют ли их вогуличи, дадут ли земли.

Пелагея не понимала до конца намерений Анисима, но то, что он хотел остаться с ней, развеселило ее. Не имея представления о семейных отношениях, ей трудно было понять его слова: «выходи за меня замуж». В этом мире Пелагея была оторванным листком, с такой же судьбой: кто знает, куда унесет ее ветер, к какому берегу прибьет волна? Никому во всем мире не было дела до нее. Согревали душу воспоминания о теплом чуме да беззаботных играх с шаловливыми вогульскими братьями и сестрами.

Анисим же, познав все беды батрацкого труда, готов был бежать куда глаза глядят. Вот и подался в казаки.

— Вначале обо всем скажем Герасиму Титычу, — серьезно сказал Анисим, когда Пелагея перестала смеяться.

— Вот и подсказал сам Господь, как сохранить сюда тропинку, услышал меня, — со слезами на глазах ответил Герасим Титыч Анисиму.

Шаман Перко, поняв, в чем дело, долго молчал. Но, поверив, что к Анисиму станут по зиме приходить обозы с товаром, нехотя согласился, хотя и понимал, что пребывание здесь чужих может вызвать у сородичей недовольство. Для переговоров с князьями и старшинами он попросил оставить ему бунтарскую стрелу. Герасим Титыч согласился.

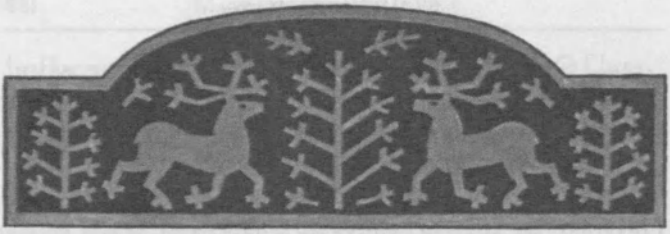
— Ох, соболя-соболики, какая морока с вами! А боярин напялит шубу из сорока соболей и не подумает, сколько трудов в ней. Да кабы наши бояре, а то все заморские гости мехов просят.

— Ну че, останешься? — при всех спросил Анисим Пелагею. — А коли нет, садись на нарты, и дён через десять будем на Вишере, в землянке Феоктиста! Выбирай! Мне одному тута тоже делать нечего.

— С тобой, — выдавила Пелагея.

Скоро упряжки тронулись. Перко стоял с бунтарской стрелой в руке.

— Господи, благослови вас, — сказал на прощание Герасим Титыч, спрятав лицо в башлык савика.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Стоило оленьим упряжкам с пушниной скрыться за поворотом Ивдельской сопки, как вдруг наступила такая тишина, что можно было расслышать шорох снежинок, подхваченных ветром, разметающихся по насту. Скрипели на снегу шаги шамана Перко, куда-то враз исчезли толпившиеся вокруг нарт вогуличи. Анисим с Пелагеей оказались одни-одинешеньки, продуваемые со всех сторон порывистым ветром.

— Иди сюда, — позвал Пелагею Анисим. — Дура ты, дура, — говорил он ласково, притягивая ее к себе. — Эко скоко снегу-то на плат накидало, — стряхнул осторожно ладонью. — Че согласилась? А вдруг да я лютый?

Пелагея ничего не ответила. Слово «лютый» она слышала впервые. Она просто схватила Анисима за руку, прижала к себе. Анисим смутился.

В приоткрытой двери юрты появилась голова шамана. Слов его трудно было понять, но можно было догадаться, что он зовет их к себе. Перко не скрывал от них, что пойдет ворожить на топоре, чтобы услышать от Торума, правильно ли он сделал, оставив жить в лозьвин-

ской долине чужих мужика с бабой. По тропке спустился с горы вниз со своим неизменным мешком с топорами. С утра до середины дня по округе раздавался звон топоров. Вернулся он в юрту усталый, лег, не проронив ни слова.

На другое утро к чуму подъехали вогуличи на трех больших упряжках и о чем-то долго и громко говорили. Потом Перко подошел к стене, на которой висели савики, снял два и бросил их под ноги Пелагеи и Анисима. Пелагею посадил на чурбан и заговорил, бросая взгляды на каюров, которые в ответ ему кивали. Пелагея мало что понимала, но узнала, что каюры отвезут их на оленях далеко, на Лозьву-реку. Пелагея еще поняла, что в стороне, куда они едут, нет гор.

После, выйдя из юрты, Перко показал на вырезанный уголок на ушах оленей. Это была метка-тамга шамана, по которой каждый мог узнать хозяина оленей. Хлопнув ладонью по спинам трех оленей, сказал, что отдает их Анисиму.

На прощание Перко им сказал: «Земли много-много, зверя много-много, рыбы много-много».

— Ну и слава Богу, — вздохнул Анисим, когда Пелагея пересказала ему слова Перко. — Знать, не помрем.

Каюры за всю дорогу не проронили ни слова. Олени мчались среди мелколесья к подножию гор. Бородатые коренники часто поднимали рогатые головы, приостанавливали бег. Каюры молча останавливались, проворно ощупывали губы и ноздри животных, освобождая их от инея и льдинок. Время от времени они доставали из-под постланных на нарту шкур промороженную оленину и раскалывали ее камнем. Мелкие кусочки отскакивали от нее, как льдинки. Мясо ели все. Вогуличи шумно шлепали губами.

— Ивдель, Ивдель, — показывали они на русло реки, на котором виднелся еле приметный нартовый след.

Мороз крепчал, особенно чувствовалось жгучее дыхание ветра. Громоздившиеся с обеих берегов каменные утесы словно пытались сдерживать его. Прорываясь сквозь щели и проломы в горах, ветер издавал невообразимые звуки. Клубы снега перекатывались, как волны. Каюры въехали в прибрежный кустарник. И, чтобы не мучить оленей, остановились там на ночлег.

— Не бойся, Пелагея, — притягивая к себе девушку, говорил Анисим успокаивающим голосом. — Возле меня теплее, чего ты все жмешься к оленям?

Когда розовая полоска расчертила горизонт и ветер стих, до слуха стали доноситься однообразные звуки. Каюры знали, что здесь течет незамерзающий водопад, и не обращали на шум внимания, они гнали оленей берегом, не выезжая на реку. Перед глазами появился пенистый, бурлящий, похожий на громадный котел перекат-водопад. Вода клокотала по скользким, обледенелым валунам. Над ним курился туман, поднимая столбами брызги. Морозный пар, похожий на дым, навис над водопадом. Каюры, взяв коренников за упряжь, старались успокоить животных, не привычных к грохоту и шуму.

Впереди расстилался простор. Исполинские горы, между которыми бежали упряжки, оставались позади. По берегам потянулись леса. Они будто строем спускались с предгорий плотной стеной.

Каюр, лицо которого заиндевело, превратившись в снежную маску, улыбнулся и сказал, показывая рукой в сторону бескрайней снежной равнины: «Лоссемья!» (Так манси называли в древности многоводную Лозьву.) Здесь они остановили упряжки, сбросили с нарт шкуры. Вокруг стояли могучие кедрачи. Вогуличи о чем-

то говорили между собой. Именно здесь шаман Перко велел им поставить для Анисима и Пелагеи небольшой чум. Вогуличи долго и старательно утаптывали снег, покрыли его оленьими шкурами. Очистив место до земли, развели костер.

Выполнив приказ Перко, вогуличи молча развернули упряжки и уехали. Анисиму и Пелагее они оставили нарту с тремя оленями, охотничьи лыжи, лук со стрелами и две холки оленины.

Анисим занес в чум мешок со скарбом, оставленным ему Герасимом Титычем.

— Ну вот, Пелагея, мы и остались одни. Теперича до Росеи Бог знат когда доберемся. А может, и совсем не доберемся. Тама теперя уже тепло. От земли пар поднимается, травы пошевелились, птицы гнезда вьют, — с тоской в голосе сказал Анисим, — а мы тута, в снегу.

— Скоро и тута будет много птиц, — тихо сказала Пелагея, поглядывая на мешок, который усердно развязывал Анисим. В мешке лежала пищаль, нашлась деревянная ложка, толченое просо, несколько фунтов толокна, соль, ржаные сухари, похожие на речные камушки. Пелагея, как помнит, за всю свою жизнь раза два пробовала хлеб, и то когда жила у Феоктиста на зимовье. Увидев топор и медный котелок, который положен был каждому казаку, Пелагея не смогла скрыть радости, обняла Анисима за шею. Она давно хотела обнять его, но не смела, а тут получилось само собой.

Анисим вышел из чума и стал рубить сухие ветки для очага. Затащив большую сухару, положил ее на середину, скоро она загорелась, осветила темный чум. Огонь потрескивал, разговаривал с ними, рассказывал, что жить здесь совсем не страшно.

— Вот теперь грейся, Пелагея, грейся и не бойся меня. Я смирный. Только когда пьяным бываю, буйство

берет. А тута где оно, вино-то? Да и было бы вино, ты меня все одно не бойся. Я опосля сам каюсь. Все у нас с тобой будет хорошо... Ты ноги грей. Костерок-то будем передвигать с места на место, а ты на теплую землю ноги ставь. У нас дома мать все время велела на печку забираться и ставить ноги на кирпичи. От ног по всему телу тепло подымается.

Спали они рядышком, каждый в своем савике.

— Этак, Пелагея, и я на Феоктиста стану схож. Бобылем проживу на Лозьве-реке, — громко засмеялся Анисим. — А че, Пелагея, вогуличи-то всегда в савиках спят? А отколь тогда у них столько ребят? — Пелагея разговор не поддержала. — Я-то ведь здоров, не худосочный какой! — не унимался он, пытаясь разговорить Пелагею, но она молчала.

Утром, когда Анисим, зачерпнув в котелок снега, растаяв и вскипятив его, заварил просо, Пелагея долго принюхивалась.

— Тоже хлеб, — пояснил Анисим, отхлебывая ложкой варево.

Потом они нашли болото, ездили кормить оленей. Пелагея ловко справлялась с ними.

Недели через две они услышали издалека собачий лай и скоро громкие звуки: «Э-ге-эге-эге!»

— Это вогуличи, — сказала Пелагея, выбегая из чума.

— Откуда им взяться? — прислушиваясь, удивился Анисим. — Они, кажись, кричат со всех сторон.

Не было ничего удивительного в том, что вогуличи заметили на снегу след незнакомых нарт. Упряжки неслись к оленям.

Соскочив с нарты, один вогулич подбежал к оленю, схватив за ухо, стал рассматривать тамгу. Он не поверил увиденному. Подбежал ко второму, третьему. На всех

был одна и та же тамга. Вогуличи долго разговаривали между собой, прежде чем подойти к чуму.

— Вы украли оленей у шамана Перко, — войдя в чум, закричал один, видимо, старший. За его широким ремнем висело много соболей. У других их тоже было немало. Очевидно, они возвращались с охоты.

— Нас привезли олени шамана Перко, — по-вогульски сказала Пелагея, чем немало удивила вогуличей.

— Руси! Руси! — со злобой кричал старший вогулич, с каждым сказанным словом белая пена пузырилась в уголках его губ.

— Руси! — ответил Анисим, не давая воли вогуличу, ощупывающему кожаные ножны. Бог знает, чем бы закончилась эта встреча, не будь Анисим казаком, умеющим постоять за себя. Если бы ловкий вогулич сумел убить Анисима, то Пелагею отвезли бы в чум старшего сына Юмшана Суклёма.

Неистово лаяли собаки, будто передразнивая вогулича, не дававшего Пелагее сказать слова. Нащупав пищаль, Анисим достал ее и, направив дуло вверх, в отверстие чума, выстрелил.

Невообразимый крик заглушил лай собак. С паническим страхом вогуличи выбежали из чума и бросились к нартам, не разбирая, где чья. Перепуганные выстрелом олени метались, кружили, мешая друг другу. Много соболиных шкур валялось на утоптанном снегу.

Вернувшись в чум, Анисим увидел спрятавшуюся под шкуры Пелагею. Она дрожала и боялась смотреть на него. Он попытался успокоить ее, объяснить ей, что пищаль у русских, что у вогулов лук со стрелами. Пелагея мало-помалу успокоилась.

О том, что произошло в их чуме, вскоре были оповещены все вогульские князья.

После похода Юмшана лозьвинские вогуличи, а особенно младшие его сыновья, жившие по берегам многочисленных речушек, жили спокойно, бунтарскую стрелу по чумам не пускали. Они строили небольшие городки, укрепленные рвами и деревянными частоколами. Каждый носил звание князя-богатыря и прозвище. Одного звали Кольчугу с сотней торчащих рожков носящий богатырь, другого — Звенящую кольчугу из блестящих колец носящий богатырь, третьего — Богатырь с остроконечным мечом. У некоторых из них были сабли, мечи, шлемы, кольчуги, они были приобретены в обмен на меха у плавающих по рекам ушкуйников.

Суклёма — князь-богатырь — имел большую прислугу: одни шили ему меховую одежду, другие варили мясо и рыбу, третьи кормили собак, а большинство каслали с оленьими стадами. Сам Суклём был хил, низкорос и до того капризен и привередлив, что до сих пор не мог выбрать себе жену. Больше всего он любил ездить с братьями-князьями на охоту. Часто устраивал пиры и состязания. Состязания проводились за частоколом, где ставили чумы бедные, безоленные вогуличи, князья там соревновались в стрельбе из лука, беге, метании тяжестей, прыжках через нарты или натянутые между столбами ремни. Большинство братьев Суклёма отличались красотой, они были сильны и имели не по одной жене.

Напуганные выстрелами Анисима вогуличи повернули упряжки сразу к князю Суклёму с тем, чтобы рассказать о громе в руках русского мужика и о бабе, которая умеет разговаривать по-ихнему. Выслушав их рассказ, Суклём не поверил, что на ушах оленей стоит тамга шамана Перко, поэтому позвал своего шамана с бубном, чтобы тот поведал ему о мыслях Перко, а к нему самому послал своих людей узнать, правда ли, что тот давал

русичам оленей. Суклём нервничал, кричал на шамана Хунзи, который не мог сказать ничего вразумительного.

— Духи не хотят разговаривать, — сказал шаман Хунзи. У Сулёма не хватило терпения дождаться возвращения посланных каюров к шаману Перко. По близлежащим речкам побежали быстрые упряжки сзывать сородичей. Те на разнаряженных оленях, в красивых, расшитых узорами савиках явились к Суклёму с подарками. Узнав от него новость, удивились дерзости русичей. Сразу высказали готовность поехать к устью Ивделя и сжечь чум, мужика привязать ногами за нарты и привезти к Суклёму. Бабу же белую привезти в подарок. При упоминании о русской бабе на лицах вогуличей промелькнули улыбки. От старых людей они слышали, что их деды часто привозили из-за Камня русских женщин и что мать Юмшана была русской. Но когда Суклём сказал соплеменникам, что мужик умеет делать гром, все приутихли и стали думать: зачем этот мужик с бабой поселились на их земле? Кто-то высказал мысль: быть может, это Торум спустил их с неба или это волчицы, сумевшие превратиться в людей.

Стали ждать посланных к шаману Перко. Когда они вернулись, то рассказали Суклёму о русичах и о бунтарской стреле, которая теперь у шамана Перко, и о том, что он собирается приехать к Суклёму гадать на топорах, а заодно покажет и бунтарскую стрелу. Первой на ней стоит тамга Юмшана.

— Вам показал Перко бунтарскую стрелу? — строго спросил Суклём каюров.

— Показал, — в голос ответили они. — Там тамга Пагина, Чаги, Ивашаки, Лачи. Много, шибко много.

Суклём молчал, царапал голову, прикусывал губу. Он со старшинами думал, как справиться с теми, кто

поставил чум в его княжестве. Все были согласны привезти в пауль к Суклёму русских мужика и бабу.

Жребий пал на младшего брата Теба. «Будем стрелять из лука!» — сказал Суклём. И все поняли, что Суклём хочет в состязании победить русича. Суклём, стреляя из лука, попадал белке в глаз! К князю стали съезжаться вогуличи, чтобы посмотреть, чем закончится этот поединок.

Отправляясь за русичами, Теба вооружился множеством стрел, надел рубаху, обмазанную рыбьим клеем, которая защищала от стрел (стрелы, попадая в нее, отскакивали, наконечники ломались). Сопровождавшие его сородичи не забыли набить его и свои колчаны стрелами.

Анисим догадывался, что в покое вогуличи его не оставят: так или иначе придется встречаться с кем-то из их вождей. Пелагея, не переставая, говорила:

— Вогуличи нас убьют. Они всегда убивают русских.

— Это когда они сами переходят Камень. Едут разбойничать. А мы-то смирные.

— Како смирные, — возразила Пелагея, много дней с опаской поглядывая на пищаль. — Экий страх навел. Теперича они к нам явятся с луками, стрелами, дубинами, капканами.

Спала Пелагея плохо, все время прислушивалась к шорохам, выходила из чума, приставляла ладонь к уху.

— Не бойся, Пелагея, — успокаивал ее Анисим, хотя и у самого было неспокойно на душе. «Мало ли что может взбрести в голову диким вогуличам?»

Они явились поутру. Как и в первый раз, окружили чум со всех сторон. Откинув оленью шкуру, заменяющую в чуме дверь, ввалились трое. Очаг еще не горел, в нем шаяли угольки, разглядеть кого-либо было невозможно. Но Пелагея, приподнявшись со шкур, закричала таким голосом, будто ее неожиданно облили кипятком.

Один из приехавших осипшим голосом сказал:

— Князь Суклём велел мужика и бабу привезти в пауль.

Пелагея еле понимала вогулича, а Анисим готов был еще раз выстрелить из пищали, напугать их и тут же уехать к шаману Перко, а оттуда вернуться на Вишеру. «Оставайтесь вы тут в своем холоде с соболями-соболиками».

— Че князю от меня надо? — сердито спросил Анисим, хотя и знал, что вогуличи не понимают его. — Ладно, поедем, Пелагея.

Надев савики, они вышли из чума и увидели остальных вогуличей, у каждого в руках был лук с натянутой стрелой. Один из них, одетый в белый савик, показал Анисиму и Пелагее на свободную нарту.

К стойбищу подъехали через сутки. Проезжая по заснеженным берегам Лозьвы, они часто сворачивали в небольшие протоки, где стояли одинокие чумы, крытые оленьими шкурами. Жители встречали проезжающих ласково. Женщины были с закрытыми лицами, определить их возраст можно было только по согнутым временем спинам да по морщинистым рукам, держащим накинутый на голову платок.

— А ты не закрывай лицо, не закрывай. Пущай видят, пущай смотрят. Мы с тобой другой веры, — настаивал Анисим, заметив, что мужчины не могут скрыть своего удивления, глядя на Пелагею. По их поверьям, открытое женское лицо сзывает злых духов, соблазняет их, а они приносят в чум несчастья, разные болезни.

Заливались лаем веселые остроухие собачонки. Они подпрыгивали и подскакивали на снегу, словно вытанцовывали какой-то собачий танец.

Когда Суклёму сказали, что упряжки с руси подъезжают, он велел подать новый савик из белых шкур

с узорами из черного и коричневого меха и шапку, сшитую из чернобурой лисы с длинным хвостом.

Суклём надумал решить судьбу руси, устроив состязание в стрельбе из лука. Ему казалось, что в этом деле ему нет равных. В действительности это было не так, просто никто из охотников не хотел впасть в немилость, поэтому они пускали стрелы мимо цели.

Князь был важен и надменен. Сородичи никогда не видели его таким. Из юрты он вышел с высоко поднятой головой, пренебрежительным взглядом окинул всех. Это насторожило соплеменников.

— Суклёма придумал, Суклёма придумал! — пронеслось между вогуличами. Но что именно придумал князь, еще никто не знал.

Анисим и Пелагея стояли, тесно прижавшись друг к другу. Грустно было русскому казаку принимать смерть не в боевом поединке, а по прихоти дикаря. Анисим уже много раз пожалел, что не удалось ему взять с собой пищаль. «Попугал бы их, может быть, и успокоились бы», — с горестью подумал Анисим.

Суклём что-то сказал соплеменникам, они с криками восторга побежали в острог. В это время князь, прищурив раскосые глаза, обходил Анисима и Пелагею, не скрывая любопытства. Особенно злила его белая баба, которая посмела стоять перед ним с непокрытым лицом. Хотя именно на лицо Пелагеи глядел он во все глаза.

К ногам Суклёма положили два больших лука и колчан, полный стрел. Вогуличи догадались: они будут стрелять из луков, а затем побежденного русича привяжут ногами за нарты и, разогнав их, отпустят без каюра бежать вдоль берега. Этого хватит, чтобы человек окоченел. Так не единожды поступал Суклём.

У Анисима не было выбора, надо было соревноваться. Невдалеке стояла вековая лиственница. К ней и

направился Суклём, за ним соплеменники, а сзади, подталкиваемые в спину, шли Анисим и Пелагея.

— Не бойся, Пелагея, не бойся! — уговаривал он ее. — Ежели меня убьют, беги на Вишеру, к Феоктисту, али куда сама захочешь.

Суклём остановился, стал снимать савик, чтобы было удобнее целиться. На очищенном от темной коры стволе виднелись следы от стрел.

Суклём долго топтался, выбирая позу, затем, натянув лук, стал целиться. С визгливым свистом стрела пронеслась над головами. Стрела-певунья с костяным наконечником с силой вонзилась в обозначенное место. Гул и крики восторга долго не смолкали. Суклём улыбался. Семь стрел выпустил он, семь раз угодили они одна рядом с другой. От удовольствия он тер ладонями грудь, потом, подняв вверх руки, ждал, когда на него наденут савик. «Господи, помилуй, Господи, помилуй», — шептала Пелагея, обученная Анисимом. Эти слова будто всегда помогали ему в трудные минуты.

Скинув савик, подаренный шаманом Перко, Анисим оказался в красном зипуне из грубого сукна, сермяжном кафтане. Это одеяние вызвало у вогуличей возгласы удивления. Они ничего подобного не видели, но строгий взгляд Суклёма охладил их. Анисим встал на место князя.

Пелагея сжалась и замерла. Она не знала, ловок ли Анисим, умеет ли стрелять из лука. Перекрестившись, Анисим поднял лук и, прицелившись, пустил стрелу. Пелагея открыла глаза, когда среди наблюдавших вогуличей пронесся ропот. Стрела угодила в середину княжеских стрел. Не останавливаясь ни на мгновение, Анисим пускал стрелу за стрелой. Все семь нашли себе место по соседству со стрелами Суклёма.

Воцарилась тишина. Все ждали слов князя, он был в неистовстве: пинал бегающих вокруг собак, топтал брошенную на снег лисью шапку, пытался через колено переломить свой лук. Подозвав к себе одного из приближенных, заговорил быстро и неразборчиво.

— Дайте им собаку! — закричал он. — Еле-еле живую, и отвезите в чум. Пусть живут, если не сдохнут.

— Ну, Пелагея, теперь жить станем. Никто нас не тронет. Вот и собаку в подарок дал, — сказал Анисим. — Пелагея плакала, спрятав крохотного щенка под савик. Анисим не успокаивал ее, только крепче прижимал к себе.

Олени бежали ровно, оставляя на снегу глубокий серебряный след.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

По приезде от Суклёма Пелагея захворала. Она была в жару и скоро впала в беспамятство. Маленький, еще безымянный щенок, прижавшись к ней, жалобно повизгивал, не хотел, чтобы Анисим трогал его. Анисим всю ночь менял место очага, на теплую золу перетаскиваю шкуру, чтобы согреть Пелагею.

За чумом свистела и вьюжила метель, Анисим, присев на корточки возле огня, грел руки, притрагивался к пылающим щекам, шее Пелагеи.

— К зиме избушку поставлю, — шептал он ей. — Не без рук же я. Экие дикари живут, веселятся, ребят родят. Али мы погибнем? Слава Богу, день стал длиннее, ты токо поправляйся.

Чувствуя, что Пелагея безучастна к его словам, он еще с большей искренностью говорил свои сокровенные мысли.

— Ты, Пелагея, пригожая. И ребятишки у нас будут на тебя схожие. Много ребятишек. Отчего им не быть-то? Мы покуда еще молоды.

Размечтавшись о достойной жизни с Пелагеей, он ненадолго было прилег, но тут же вскочил.

— У тебя ноне росинки не было во рту, — вспомнил он и закопошился возле очага. В берестяной чуманчик налил воды, смочил воспаленные губы Пелагеи. Она не подавала признаков жизни. Тоненькая струйка воды скатилась с губ. «Губы-то опаленные. Че я сижу? Может, погнать оленей к Перко, но как оставить ее здесь одну? — являлись разные мысли. — Вогуличи, поди, тоже хворают? Может, поехать по речке и найти чей-нибудь чум?» — И тут он вспомнил рассказ Герасима Титыча, что главное лекарство вогуличей — свежая оленья кровь.

Размышлять было некогда. Заколов оленя, долго свежевал его. Теплый пар курился над оленьей тушей. Он торопливо собрал кровь в берестяной чуман, наполнил ею туесок. Приподняв голову Пелагеи, тоненькой струйкой вылил в рот теплой оленьей крови. Пелагея сделала глоток. Щенок, учуяв запах, нехотя выполз из-под Пелагеи, замахал маленьким хвостиком и облизал запачканные руки Анисима.

— Пей, пей. Нас теперича не одолеет никакой мор, никакая хвороба, — говорил Анисим, слизывая с губ тоненькие струйки и ощущая солоноватый вкус сырой крови.

«Сам-то, когда порежу палец, беру в рот — ниче», — уговаривал он себя. Отрезав кусочек печени, бросил щенку, который урчал, кружился на месте.

— Еще есть-то не умеешь, — ласково сказал Анисим, поглаживая дрожащую спинку щенка. В котле варилось оленье мясо...

Пелагея открыла глаза на пятый день. Бог знает, какие мысли были у нее в голове, на слова Анисима ответила легким прикосновением руки. И никогда бы не подумал Анисим, что прикосновение к нему крохотной женской руки вызовет в его душе такую радость.

Вьюжило много дней подряд. Белым снегом замело все следы. Чувствуя непогоду, щенок не вылезал из оленьей постели Пелагеи. Иногда у него появлялось желание поиграть: схватив зубами край шкуры и упираясь передними лапами в лопастые ветки, застилающие пол, повизгивал, трепал шкуру, а наигравшись, снова пробирался к Пелагее.

Тем временем Герасим Титыч на упряжках, груженных мехами, сложенными в мешки из налимьей кожи и в берестяные короба, подъезжал к берегам Вишеры. Надо ли говорить, с какой тревогой ждал их Феоктист, тайно надеясь на возвращение Пелагеи.

— Девку-то где оставили, нехристи? — закричал он на Герасима Титыча, когда, обежав все нарты, не увидел Пелагеи. — Продали? Променяли? Вам все нипочем. Плохо ли ей туто жилось? Лучший кусок ей отдавал.

Мужики начали было посмеиваться над ним, но, видя, что Феоктист заходится не по-доброму, махнули рукой.

— Будет выть! — прикрикнул на Феоктиста всегда молчавший Демид. — Экая девка с тобой туто должна помирать, че ли? Кто хоть ее продавать собрался? Али ослеп? Анисима-то нету. Он тоже там остался.

— У вогуличей? — завопил Феоктист.

Спустя какое-то время он успокоился, замолчал, но ни с кем не проронил ни слова, ни о чем больше не спрашивал, ни о чем не говорил.

Герасим Титыч наказал ему обновлять дорогу, сказал, что сборщики ясака хоть раз за зиму, но будут приезжать на зимовье. Феоктист замкнулся, не отвечал, будто оглох.

— Лошаденку тебе оставим, овса, сена... — говорил Герасим Титыч, пытаясь приободрить Феоктиста.

После отъезда обоза он три дня три лежал на настиле, как неживой. Когда ноги и руки его стали коченеть, а оголодавшая Белка стала грызть порог, Феоктист поднялся и дрожа растопил печь. К жизни возвращался медленно и неохотно, все больше лежал, но из жалости к Белке и коню машинально справлял дела.

С приходом весны, когда с крыши землянки закапал подтаявший снег, душа его тоже стала оттаивать. Уже оголились берега, когда он впервые запряг лошадь и проехал вдоль берега до своротки к протоке. Увидев вдали темные кедрачи, подумал, что это любимое дерево вогуличей, в густых ветках которого живут соболиные семьи, белки. В них тешатся кедровки, жируя на орехах. А там, дальше, ране всего поднимается солнце. Тама где-то живет его Пелагея...

К весне Пелагея стала выздоравливать. Она больше сидела возле очага, кипятила растаявший снег с веточками смородины или с хвоей сосны, варила из оленины суп, приправляя его щепоткой толокна или размельченного проса, которое хранилось у Анисима в походном мешке. Щенок, подросший и обласканный, был резв и не убегал далеко от чума, откликался на имя Стрелка.

— Весенние ветры самые обманные, — говорил Анисим, — оне несутся с гор по реке, яко дым в трубе. А лед на реке почернел, того и гляди, пойдет.

Ждать пришлось недолго. Ночью содрогнулся чум. Лед, оторвавшись от берегов, медленно пополз. Буйствующие волны Ивдель-реки, подпрыгивая на перекатах, с силой выбрасывали на берег куски льда, переворачивались в воде поваленные разливом деревья. Возле впадения в тихую Лозьву льдины с грохотом громоздились одна на другую. Вода стала затоплять берег и скоро подступила к чуму. Пришлось разбирать его и перевозить версты за две, на возвышенный берег.

Чум ставили вместе. У Пелагеи все получалось лучше: и расстановка жердей, и складывание шкур, и обвязка их ремнями из оленьих кож. Чум поставили на подсохшем взгорье, где начинала проклевываться трава.

«Спасибо шаману Перко», — всякий раз повторял Анисим, запрягая упряжку. Стрелка, радуясь, бегала взад-вперед.

— Избу надо рубить, — говорил Анисим Пелагее, которая привыкла жить в чуме и была абсолютно безразлична к его затее. — Вот поставим избу, постелим в ней пол, уж бревна-то я обстрогать сумею. К стенам прилажу лавки, сплету из лозы скамейки. Лавку для постели смастерю широченную... токо ты боле так не хворай. Напужался я, Пелагея, до смерти, когда ты воды глотнуть не могла, — признавался Анисим, хотя раньше перед бабами никогда своей слабости не показывал.

— Я со страху захворала. Когда твоя последняя стрела летела, у меня в глазах потемнело.

Так они высказывали друг другу свою любовь.

С наступлением погожих дней комарье не заставило себя долго ждать. В небе летели караваны птиц: уток, гусей, лебедей. Большей частью они пролетали высоко, торопились дальше на север. С полудня уставшие стаи начинали снижаться, отыскивать места для кормежки, отдыха, а больше для того, чтобы вить гнезда и выводить птенцов. Мало-помалу река очистилась ото льда, по крутым волнам она несла деревья, вырванные с корнями, множество птичьих перьев, вымытых из прошлогодних гнезд. От воды тянуло сыростью и холодом.

Заливистый лай Стрелки разбудил сонный берег. Из кустов выскочил заяц, поднялись на крыло пурхающиеся в кустах рябчики.

«Собака понапрасну не взлает», — подумал Анисим и вышел из чума посмотреть, что встревожило

Стрелку. Оказавшись на самом краешке берега, она заливисто лаяла и даже подпрыгивала от своей собачьей нетерпеливости. Приглядевшись, Анисим увидел посередине реки плывущие три большие ладьи. Мужик оторопел. Если бы не Стрелка, они могли бы и не заметить чум, а тут, привстав, внимательно вглядывались в берег. «Ушкуйники», — догадался Анисим. Выбежавшая из чума Пелагея только и сумела проговорить: «И тута нету покоя», — и встала рядом с Анисимом.

— Это ушкуйники, — сказал Анисим, — речные шаромыги. Тайком от всех с вогуличами торгуют. Они, поди-ка, нас боле испугались, чем мы их.

— Пася, пася! — кричали ушкуйники, направляя ладьи к берегу. Одеты они были в теплые короткие чуги, короче обыкновенного кафтана, подпоясаны кушаками, и каждый с деревянной сулеей на шнурке. На головах войлочные шапки, сшитые колпаком, подбитые изнутри мехом.

— Поклон, православные! — поклонившись, закричал Анисим.

— Ух, твою мать! — закричал ушкуйники, дружно выскочившие на берег. — Вот уж не думали тута русака встретить. Радость какая! — Оказавшись на берегу, мужики поочередно обнимали Анисима, похлопывали по спине. — Это каким же путем тебя угораздило тут оказаться?

— Лозьвинские вогуличи издавна по клятве на медвежьей шкуре обещали ясак платить, да, видать, запамятовали, али наши сборщики сплоховали. Вот и пришлось им напомнить.

Узнав от Анисима, что от Вишеры через Камень есть щель по малым протокам, немало были удивлены.

— Считай, мы тута плаваем заместо царевых сборщиков. Вогуличи клятву помнят.

— Бога побойтесь, — не оробев, сказал Анисим.

— Вот ужо десятый год плаваем тута. Дорогу через Вишеру не знаем. Мы через Печору, по Ляпин-реке, Щекурье сразу за льдинами по Лозьве заглянем на Сосьву, Тавду, Шегультан. К осени приплываем на Туру, оставляем лодки — и восвояси. Вогуличи ждут! — подмигнул старший.

Грело солнце, дул легкий ветерок, отгоняя комаров. Чувствовалось, что никому больше не хочется рассказывать про себя. Хлебальщик поглядел на небо, была пора подкрепиться. Он потащил на берег мешок с припасами.

— Че бабу-то не кажешь? Вдвоем на берегу стояли.

— Придет, придет Пелагея. Вас испугалась.

— Пелагея, Пелагея, — несколько раз повторил старший. — Имя, как у моей матушки, славное.

И начался на берегу пир. Из висевших на кушаках сулей было выпито все вино. Хлебальщик полез в закрома...

— Мне ведь надобно вас потчевать, — говорил Анисим, отхлебнув из горлышка каждой сулеи. Голова у него закружилась, берега качнулись. Анисим знал силу зелья, бывало, напивался до беспамятства, но тут верх взяла осторожность. «Пелагея такая дикая, как бы эти кобели не пообидели ее», — так подумалось, когда один раскрасневшийся от вина запел срамные песни.

Из-за Волги кума
В решете переплыла,
Веретенами гребла,
Юбкой парусила.
Ой, кума, моя кума,
Кума милая...

Хлебальщик вытащил из мешков много яств, разложил их на расстеленную рогожину. Ничего так не хотелось Анисиму, как попробовать кусочек хлебушка.

— Пелагея! — закричал он. — Айда!

— Че она, вогулка?

— Не вогулка, — протянул Анисим. — Просто диковата.

Все тот же краснорожий добавил:

— Диковата, диковата, ан залезла с тобой в один чум.

Тут Анисим, не успев опьянеть, отрезвел.

Вышла Пелагея. Поклонилась гостям. Они стали здравствоваться, а у Анисима ревность взыграла, румянец по щекам пошел. Сам слышит, как кровь внутри вскипает. «Дать бы одному по роже!» — так и чесались руки, но стерпел.

— Хороша, да худа больно, — сказал старший про Пелагею, и в голосе его Анисим уловил зависть.

Ушкуйники расселись вокруг скатерти, на которой лежали пироги печеные с грибами, репой, капустой, румяный каравай, маслом помазанный, яйца, соленые огурцы, сало. Анисим подал Пелагее отломанную краюху. Она не стала сразу есть, а поднесла к лицу и стала нюхать.

— А косы-то толсты, — не унимался опьяневший краснорожий ушкуйник. — И зубы ровные да белые.

— Не пяль зенки, — строго сказал старший.

Только к ночи потянулись гости на струги. Кто-то оступился на берегу, угодил в воду, громко и долго ругался, а краснорожий, разухабистый никак не мог укротить себя, все вопил:

Ой, кума, моя кума,
промеж ног у тя луна...
Ой, кума, моя кума...

Утром на стругах громко ругались. Эхо разносило брань по берегу, но разобрать слов было невозможно.

— Ох, Пелагея, тебе бы, как всем русским бабам, надо бы на голове повойник носить, волосы скрывать, вишь, краснорожий-то сразу косу приметил.

Пелагея молчала. Ни о каком повойнике она и слыхом не слыхивала, но все-таки спросила:

— Это чтоб, как у вогулок, лицо не все видели?

— Чтоб меньше на баб заглядывались. У русских-то баб волосы, как шапка меховая. А ты ешь хлебушко-то, ешь.

— Я его во рту держу.

— Как только к нам обозы придут, первым делом хлеб возить станут.

— Вогуличи тоже любят хлеб, — подтвердила Пелагея.

— Хозяин! — вдруг донесся голос с берега. К ним шел навстречу краснорожий мужик. — Нам любо было русского тута встретить, слово молвить. Впереди как есть — все вогуличи.

— Вот избушку поставлю к зиме, — мечтательно сказал Анисим. — Весной вас ждать будем.

— Избушку? Один-то пуп сорвешь.

— Топор есть, и то слава Богу.

И в самом деле, быть может, пришлось бы Анисиму пуп сорвать, но ушкуйники сами напросились помочь ему. На берегу облюбовали сосняк, повалили и на пеньковых веревках натаскали к холму.

— Теперича стучи топором, как дятел, поднимай избушку. Мы боле для себя старались. На другой год в гости жди, — наработавшись, мужики снова принялись бражничать.

— Коли не попадемся таможне да не свяжут наши рученьки, — добавил старший, перекрестившись. — Теперича у нас тут стоянка будет. Ну, пора отчаливать. Тебе, русак, подарок, — протянул он Анисиму лучковую пилу.

Анисим низко поклонился. Пелагее подарили крашенины на платье и платок из грубого холста, а в придачу булавку.

Стрелка, подобравшая крошки и остатки еды ушкуйников, заснула от сытости и поэтому не вертелась, как обычно, около ног.

На прощанье краснорожий все-таки не удержался, спросил Анисима, показывая на Пелагею:

— Откель такую взял? У кого украл?

— Бог послал, — был ответ Анисима.

С грустью провожали они ушкуйников. Кто знает, как они доплывут? Вдруг да вздернут их на первой перекладине, если дознаются, что ездят они обманом собирать ясак вместо государевых сборщиков.

— Не кручинься, Анисим, — заметив горькую ухмылку на его лице, сказал старший. — Теперича в Московии всем не до сбора ясака. Государем стало дитя неразумное. Мать его царица только Богу молится, слушает думских бояр, а ссоры у них идут несусветные. Друг друга в темницы толкают. Казну государеву разворовывают. Кому теперича до ясака? Теперь наше время, ушкуйников.

— Неужто правду речешь?

— Истинную. А какое лето не приплывем, знай, загубили наши головы. Помолись за нас.

«Экое несчастье», — подумал Анисим с искренним сожалением о неспокойствии в государстве.

Ладьи отплывали. Гребцы дружно заработали веслами. Стрелка запоздало тявкнула и побежала вдоль берега провожать ладьи.

— Вот и осиротели, — сказал Анисим, усаживаясь на бревна.

От свежеповаленных деревьев шел крепкий сосновый дух. Поглаживая рукой кору, Анисим радовался, что спроворена такая трудная работа.

— Сейчас шкурить зачнем, — сказал он Пелагее, которая многого не поняла из разговора с ушкуйниками. Она спросила:

— Откуда, Анисим, ты знаешь так много слов?

— Так я же, Пелагея, русский.

Мысли унеслись, перелетели через Великий Камень, через реки и долины, через поля и овраги и оказались в Москве.

— Поди, Герасим Титыч уже дома, — опередила Анисима Пелагея. — Поди, вспоминает нас.

— Да уж, ему откликнется эта дорога. Но матер бывший есаул! — с улыбкой и восхищением в голосе сказал Анисим.

Возвращался Герасим Титыч в первопрестольную без особых приключений, пользовался всеми предписаниями к воеводам, которые, не желая видеть у себя приезжих людей, отправляли его спешно и ласково. Будучи в Ярославле, он узнал, что Великий государь Василий Иванович на радостях по случаю рождения наследника выстроил руками всего народа храм во имя Иоанна Предтечи на Ваганьковском поле. На радостях Герасим Титыч сходил в храм, помолился, отстоял литургию.

Возле самого порога первопрестольной вдруг напало на Герасима Титыча нездоровье: по спине вроде кто дубиной огрел. Весь он сгорбился, выпрямиться не мог. Нарочному велел скакать в канцелярию, доложить дьяку о прибытии Чагина со стороны Великого Камня.

Поход Герасима Титыча не остался незамеченным. Большими царскими милостями был он одарен: получил право бывать на царских развлечениях, сидеть в одном ряду с верховниками — уважаемыми государем людьми.

— Вот оно, время! Думал, зайду в царские хоромы этаким гоголем, все будут спрашивать: это тот самый

Герасим Титыч Чагин, что дважды за Великим Камнем бывал?! — разоткровенничался он перед женой Акулиной Михайловной. — Потом подумал: «Кто спросит? Кому надо?» Государь-то, сказывают, на радостях все отойти не может, гостей потчует до того, что ни руками, ни ногами шевелить не могут. Всех по домам развозят. Я ужо за Камень сходил, а все рекой льются пиво да мед. А ныне государь отправился со своей семьей поклониться живоначальной Троице в Сергиеву лавру, а оттуда в Волок Ламский тешиться осенней охотой.

Все знали, что государь любит забавляться охотой, особо на зайцев, любит сам водить своих собак, первым спускает их, а уж после остальные. Этакий азарт...

— А я слыхала вечор у боярина Тататоркина такой сказ про государя, — склонив голову набок, проронила Акулина Михайловна и сбавила голос: — Будто у государя на левой стеге появилась малая болячка с булавочную головку, гноя в ней нет, а сама багровая.

Не долго удержалась в тайне болезнь государя. Скоро зазвенели колокола по кончине государя, жившего заботами собирания земли русской. Недолго помнили царя рыдающие у его гроба. Скоро опасения государя стали сбываться: начались распри и ссоры между боярами и князьями.

Великая княгиня Елена Васильевна, убитая горем, не смогла властвовать, не под силу ей было подавить вражду среди близких людей. Во цвете лет, полная сил, она вдруг среди бела дня умерла. Шел 1533 год. В ту пору царскому наследнику Ивану IV шел только седьмой год.

Спесивый, грубый и алчный боярин Василий Васильевич Шуйский, взяв в свои руки полное правление государством, заботился только о собственном обогащении и славе.

Многое пережили царские сыновья Иван и Юрий во время своего сиротства. Правда, подрастающего государя, приобщая к делам, приглашали на заседания думы. Никто и не подозревал, что четырнадцатилетний отрок круто повернет дело и возьмет власть в свои руки.

29 декабря 1543 года во время заседания думы, на котором произошли очередная ссора и неразбериха, вдруг встал наследник престола рядом с Шуйским и неожиданно для всех твердым и властным голосом прервал его.

— Полноте! — сказал молодой государь, сверкнув глазами. Его громкий, не набравши мужской силы голос вызвал оторопь среди бояр-временщиков, захвативших в государстве власть. И тут же с убедительной твердостью он стал обвинять Шуйских.

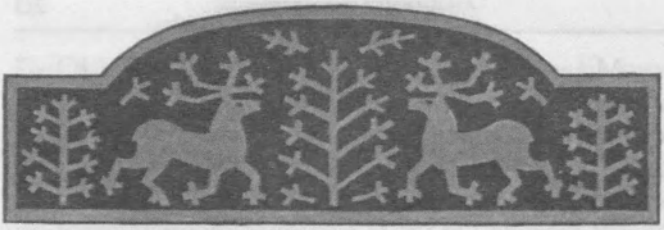
— На псарню его! На псарню! — указал он тонким перстом на Андрея Шуйского. — На псарню! — опять неожиданно закричал он, когда кто-то хотел успокоить отрока. Онемевшие бояре умолкли, не смея сказать ни слова.

Стража, находившаяся в зале заседания думы, схватила Андрея Шуйского.

— С глаз моих долой! — указал Иван на сообщников Шуйского — Федора Скопина и Фому Головина. Стража взашей вытолкала и их.

Скоро стало известно, что псари по дороге убили Шуйского, а дружки его и другие сообщники разосланы в разные глухие места.

«С той поры начали бояре от государя страх иметь и послушание».



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

От лошадиных спин валил пар, запряженные гусем передние брели сквозь снежные переметы, протаптывая дорогу остальным, груженным хлебом. Мужики, давно сбросив с себя длиннополые овчинные тулупы, шли сзади подвод, отсчитывая путь до Чердыни.

В воздухе то и дело разносились разноголосые посвисты ямщиков, подбадривающие выбившихся из сил лошадей. День клонился к закату. Мороз крепчал, и разыгравшаяся метель, будто нарочно, бросала им в лица колючие снежинки. Вдруг лошади остановились. Мужики не заставили себя долго ждать, разразились бранью. Не сдержался и стрелец Данила. Стремглав вскочив на воз, он перескочил через облучок и угодил лицом в заиндевелую лошадиную морду. Чертыхаясь, он стал сгребать рукавицей куржак с ее челки. «Ты тоже не видишь белого света», — ласково проговорил он. В это время с задних подвод перепрыгивали через груженые сани мужики, пытаясь узнать причину остановки обоза.

— Гуж порвался! Гуж порвался! — доносилось с передних подвод.

— Поневоле конь гужи рвет, коли мочь не берет, — буркнул вятич Афонька, много лет ходивший с обозами. — Глядеть надо в оба. Поди, заместо ременных гужей мочальные изладили. Знаю я этих хитромудрых колвинцев: за ними глаз да глаз нужен. Оне тока с виду этакие ласковые, мягко стелют, да жестко спать. Гужи порвались! Долго ли едем? Вторые сутки.

— Так ведь все тащимся по переметам, — заступился за колвинских мужиков Данила.

— Че по переметам? Впервой ли? Ясное дело, обманули. Изладили заместо ременных мочальные, вот и порвалися!

Заунывный ветер свистел в голых ветках деревьев.

— Еще в этом осиннике остановились. Ненавижу эту бесплодную, трясучую осину. Вечно возле них обозы останавливаются, то лошадь увязнет в перемете, то гужи перетрутся.

— Осину черт колышет, — поддакнул Данила Афоньке.

— Вот я и говорю: этот осинник с нечистой силой водится, людей подкарауливает, поссорить хочет. У нас на Вятке, — подпрыгивая на месте, рассказывал Афоня, — один мужик надумал завести дружбу с лешим и отправился в лес, перевернулся через голову семь раз между осиновыми пнями и волком стал. А волк, он и есть волк.

Как раз в это время под полозом скрипнул снег. Лошади тронулись с места.

— Про че я сказывал? Это леший вбил осиновый кол в оглоблю! — засмеялся вятич и, отскочив в сторону, стал пропускать подводы.

В густом осиннике завывал ветер, издавая какой-то монотонный звук.

Обоз с хлебом и другими припасами шел через Вишерский волок на Лозьву-реку, сейчас он подходил к Чердыни.

Город Чердынь, стоявший на берегу реки Колвы, притоке Вишеры, был бойким местом: в летнюю пору грузы завозились реками, суда оставлялись на зимовку. В зимнюю пору товары завозились обозами. Были там и солеварницы купцов Строгановых. Всякого приблудного люда было много.

Город был расположен на семи холмах, на одном из холмов стоял Кремль с шестью сторожевыми башнями, обнесенный частоколом и земляным валом. Торговые ряды, склады, казенные избы располагались на других холмах.

Оставив снежные переметы, лошади прибавили шаг, а быть может, они раньше, чем мужики, почувствовали в воздухе запах дыма или дух печенного в избах хлеба. Скоро залаяли собаки, а вслед за ними послышались и людские голоса.

За первым холмом показались длинные ряды складов под общим тесовым навесом. С горы во весь мах бежало несколько человек — караульщики складов.

Сопровождавший обоз есаул Осип Старков не заставил себя долго ждать, крикнул зычно:

— Повертывайтесь! Повертывайтесь!

— Че это повертывайтесь? Куды?

Из саней Осип вылез со стоном, прицепил к поясу саблю и пошел к складам. Набежали конюхи, стали распрягать лошадей. Обозники, прихватив дорожную снедь, отправились в выстроенные для приезжих просторные хоромы с широкими лавками вдоль стен и полатями. В это время расторопная девка вышвыривала за порог голые, без единой хвоинки, еловые ветки, затаскивала свежие в натопленную избу и раскладывала их

на земляном полу. Изба наполнялась запахом еловой хвои.

— Уморить, голуба, надумала? — сказал Афонька, громко чихнув несколько раз кряду. — Этак можно весь ум из башки вытрясти.

— Нешто у мужиков ум есть? — не глядя, спросила она, делая свое дело.

— Энтова добра у мужика лопатой не выгребешь, — не заставил себя долго ждать Афонька.

— Неужто? — громко засмеялась девка и выпрямилась. Черный платок, повязанный вокруг головы, оттенял ее бледное лицо с густыми рыжими бровями и совсем белесыми ресницами, в которых светились насмешливые зеленые глаза. Афонька на какой-то миг оробел, но нашелся:

— Мужику умом жить надобно.

— Может, и надобно, — согласилась она, — только у всех мужиков совесть через край лыком шита.

— Ох ты! — взъерепенился Афонька, но в это время с шумным говором вваливались в избу мужики, затаскивая промороженные мешки, тулупы. В крохотные оконца, затянутые бычьим пузырем, свет совсем не проникал. Зажгли воткнутые в щели лучины, стали устраиваться кто где. Скоро с верхних полатей послышался громкий храп.

«Пришел милый и повалил силой», — сказал кто-то из мужиков, но и самого тут же сморил сон.

— Ты че стоишь столбом? — спросил Данила Афоньку. — Али очумел от елового духа? Бывает поперворсти. От багульника можно и совсем одурманиться. Ложись. Я вон сено принес, запашистое, мягкое.

Афонька послушался. Лег на брошенное на лавку сено, укрылся тулупом, но уснуть сразу не смог: все думал над сказанными девкой словами, уж больно они разумны.

— Дарья, не забудь бадью водой наполнить, — услышал Афонька голос бородача, хлопотавшего возле приезжих.

— Полно ведро, — успокоила она бородача и тихо вышла, попутно задув догоравшую лучину.

«Знать, Дарьей кличут», — подумал Афоня, засыпая.

Чердынский воевода Мефодий Гришкин днем раньше пришел с охоты. Седмицы две ходил с бывалыми соболятниками на лыжах-поволоках по соболиным следам и умаялся вусмерть. Первую ночь после бани стоном стонал от боли в ногах. Знахарка шептала наговор, втирала в икры «молоко» рыжих муравьев. Мало-помалу боль в ногах утихла, зато затрясло все тело. Именно в это время и пришел обоз, который ждали месяцем раньше. Он должен был доставить не только хлеб, но и порох для пищалей, который надо было переправить за Камень, на Лозьву-реку. Царская грамота, которую он получил и спрятал за божницу, была строга, но на охоте он позабыл о ней, теперь же достал из-за божницы, разложил на столе и стал перечитывать. «Се Аз Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея Руси... в земли послан есми к вам по свою дань Ивашка Васильева сына Иконникова, да Нечайка Иванова сына Вычегжанина, да Афоньку Федорова сына Гогунина да Ваську Лаптева и как к вам посыльщики по нашу дань придут... а ты нашу дань всю сполна со всякого человека по соболю, а собрав бы есте нашу дань... послать к Москве... а не зберете вы нашея дани со всякаго человека по соболю и к нам в Москву не пришлете, и мне на вас послать рать и вострая сабля...» И опять пот выступил у воеводы на лбу, зачесался затылок. Он успокаивал себя тем, что такая царская грамота пришла не ему одному, но и другим воеводам: вычегодскому, устюжскому, усть-вымскому.

Перед охотой у него не хватило времени вчитаться в текст, но сейчас он вникал во все: «...И людям добрым от городка к городку, от людей до людей, и беретчи наших данщиков по всему порядку... Ся вам наша грамота жалованная и описная писана на Москве лета 7065. У подлинные Великого Государя грамоты печать на шелковом мутовозе серебренная и вызолочена, а на печати Великого Государя Иоана Васильевича в лице орел двоеглавый с хоруны, а позади той печати чеканено Великий Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич».

«О, Господи», — взмолился Мефодий, немало наслышанный о характере молодого царя. К этому времени он уже с немалыми трудностями покорил Казань и Астрахань, Псков и Новгород. Завоевав Казанское царство, поставил на берегах Волги и Камы укрепленные русские поселения. «А далеко ли от нас Кама?» — вздохнул Мефодий. Сказывали, будто государь сам высматривал удобные места для крепостей и будто сам плавал по Каме до Соликамска. Но во время своего пути по Каме, проезжая мимо разрушенного города, прозванного в народе «чертовым городищем», царь сильно заболел, дальше плыть не мог и со всей своей свитой высадился на берегу. Стоял там царский шатер до полного царского выздоровления. И велено было государем заложить на этом месте церковь во имя Покрова Богородицы с двумя приделами: Ильи Пророка и трех святителей. И еще велено было основать монастырь с двумя церквями для распространения в этих местах веры Христовой. «А кабы дале по Каме поплыл? Тута и до Чердыни недалече», — крестясь, думал воевода. Еще он был наслышан о каких-то опричниках, но толком ничего о том не знал. Земля слухами полнится! Но проезжавшие мимо Чердыни купцы рассказывали, будто вступившие в царскую опричнину имели от царя особую милость

и разъезжали по всей русской земле, чтобы искоренять царскую измену, и будто те опричники ездят на конях, привязав к седлам собачьи головы, а сзади метлы. Тут Мефодий снова прочитал: «...на вас послать рать и вострая сабля».

Крикнув служивого, наказал ему немедля бежать в съезжую избу, где определялись места для приезжих, и узнать от прибывшего человека обо всех правдах и неправдах из его собственных уст.

Есаул Осип Старков к воеводе не торопился. Попробовав с дороги пьяной браги, сваренной из ржаной муки с малиной, явился к воеводе во хмелю и сразу с порога стал просить не отправлять их обоз вскорости, а дать отдохнуть мужикам в Чердыни.

— Уж этого обещать не могу! — был ответ Мефодия.

Осип поперхнулся и вместо вопроса несколько раз кряду икнул.

— Многие товары завезены водой на Вишерский волок, но груз твой тамо ждут не дождутся. А вот и царская грамота, поди, читать обучен? — И протянул ему царскую бумагу.

Осип облизнул губы, посмотрел осоловелыми глазами.

— Че? — протяжно переспросил.

— Грамота царская! — крикнул воевода так громко, что дремавший на приступке печи рыжий кот спрыгнул и стремглав юркнул в голбец через прорубленную в полу дыру. — Коли не сберем с вогуличей соболиную дань, государь пришлет сюда свою рать.

Осип потряс головой, подошел к стоявшему в углу берестяному жбану с водой. Пил, захлебываясь.

— Боже милостивый! — прошептал враз отрезвевший Осип. — Видел я нашего царя. Видывал. — Упершись ладонью в плечо воеводы, не пуская его встать

с лавки, он тихо продолжил: — Когда на площади казни шли. Боярам головы секли, руки, ноги, кипятком шпарили. Вопли стояли.

Воевода, выпучив глаза, стал креститься в передний угол:

— И его царские очи все это видели?

— Царь был на белом коне, в парчовом кафтане, на голове сверкал золотой шлем, у пояса сабля, в левой руке копье. И царевич Иван рядом.

— А че тогда страшно, коли государь рядом?

— Он, царь-то, сказывают, самый главный опричник, он и затеял прилюдную казнь.

Мефодий обхватил голову руками, поверив в правдивость слов есаула, потом буркнул:

— Читай.

Есаул уставился на большой царский лист с печатями, зашевелил губами, пытаясь сложить буквы.

— Ладно, потом прочитаешь. Давай, голубь, собирайся: коней меняй, грузы как след перевязывай, сбрую накажи всю обсмотреть. Дорога на Лозьву-реку — не ближняя. Около избушки Феоктиста на Вишерском волоке никого нету. Вряд ли там кого встретите. С тобой десятерых стрельцов пошлю: лес рубить, чтоб опосля лодки строить. Знаешь, где твои-то остановились? Лука! — крикнул Мефодий и постучал кулаком в стену. Немного погодя появился сухопарый мужичишка, встал возле порога, угодливо скосил голову. — Отведи к обозникам.

В ту пору в Чердыни было триста четыре двора, раскиданных по холмам. Разрезала город единственная дорога на центральном холме, где стояла небольшая церковь и строился новый храм.

Осип с сопровождающим шли молча, за всю дорогу не проронили ни слова. Снег хрустел под ногами, будто

выговаривал какие-то слова. Зазвонили колокола. Улица вдруг стала многолюдной. Из-за каждого угла неказистых изб выбегали люди и торопились в церковь.

Обозников есаул застал в полном опьянении, вести с ними какой-либо разговор было бесполезно. Махнув рукой еле державшемуся на ногах Афоньке, сказал:

— Ежели не остановитесь бражничать, всех оставлю в Чердыни. С собой наберу новых мужиков.

Осип не шутил, он действительно был полон решимости так поступить, памятуя царскую угрозу «послать рать и вострая сабля».

Мефодий Гришкин сидел за широким столом посреди воеводской напротив молчаливого есаула и вел с ним непростой разговор, это было видно по лицу Мефодия, залитому густым румянцем.

Вдруг дверь воеводской широко распахнулась, и в нее, подталкивая друг друга, ввалились пятеро девиц.

— Эко? — вырвалось у Мефодия. — Каким ветром? — удивился он.

— За Камень собираемся пойти, — преодолев неловкую паузу, нашлась одна из них.

— Энто какие еще бабы за Камень? — вставил тут же есаул. — Кто вас тама не видал? Тама и мужикам-то белый свет не мил.

— Экие понятия у тебя! — ответствовала ему одна из девиц. — С обозом по собольему следу уже ушли две и живут припеваючи. Одну ушкуйник в жены взял, другая — Нюшка усть-вымская — за какого-то беглого замуж вышла и теперича ужо дите ждет.

— А хлебушко где возьмете? Тама пусто вокруг, ни колоска нету и милостыню никто не дает.

— А ты нас вместе со стрельцами на довольство поставь. Мы тоже лес ронять будем.

— Не мелите пустое! — сердито сказал Мефодий. — Али тебе, Дуська, плохо в Чердыни живется?

— Там, сказывают, город ставить будут на Лозьвереке. И реки там — не нашей Вишере ровня. А про Анисима слыхал? — подходя к столу, осмелела Дуська. — Он с одним топором был, теперича возле него заимка стала. Всякий место находит, коли без злого умысла. И вогуличи с ними ладят.

— Откедова знатье такое? — удивился воевода. — Счастья искать собрались?

— А может, и счастье.

— Вона кого спрашивайте, — показал Мефодий на есаула. — Он обоз поведет, с него и спрос будет.

Воевода расхаживал по широким сосновым плахам, крепко стянутым меж собой деревянными штырями. Высокие чуни, сшитые из лосиных кож, поскрипывали. Синий кафтан из грубого сукна был подпоясан синей опояской. На указательном пальце правой руки красовался перстень с рубином в серебряной оправе.

— Толмачи в Чердыни перевелись. Вогуличи здесь совсем не бывают. Все дела на заимке делают, Анисим говорить научился по-ихнему, а уж Пелагея сызмальства по-ихнему понимает. А рыжий двинец, ну, который колокольщиком у нас был, его еще Пугачом звали, так этот Пугач взял с собой корову и повел через Камень. Сколько и как шел — один Бог знает, а на заимке у Анисима видали эту корову с двумя телками. Знать, перевел ее через Камень. Вота ноне сбирается Гринька Окунь с Лукерьей и тоже корову берут.

— В такие морозы? — удивился стрелец.

— А че? Сено будет, а на вымя, сказывают, Лукерья мешки сшила: один из войлока, другой из беличьих шкурок, да так мудрено, чтоб каждый сосок свое гнездо знал.

Тут зашел в воеводскую отец Фома сказать о нехватке тесин для кровли колокольни и невольно оказался свидетелем разговора. Не удержавшись, вставил свое:

— Ладно ли, что столько народа идет за Камень, а слова Божьего не несут? У каждого православного только крест на шее да иконка за пазухой.

Лицо воеводы опять покрылось густыми багровыми пятнами. Еще в прошлом году он получил бумагу из Патриаршего приказа ставить рядом с крепостями церкви и обеспечивать священнослужителей таким же денежным жалованьем, как и посланных для несения службы стрельцов, коли возможно, то давать им пахотные земли, сенные покосы близ самой крепости.

— Тогда и сбирайся сам, с Богом, — то ли в сердцах, то ли всерьез ответил воевода. — Вскорости в Чердынь из Перми новый батюшка прибудет.

Разговор, быть может, еще продлился бы, да в распахнутую дверь вбежала перепуганная стряпчиха.

— Дерутся! Из-за Дарьи дерутся! Насмерть дерутся, — кричала она.

Пришедшие с есаулом обозники бражничали, вовсю орали песни, пугали благообразных чердынцев вольной разухабистостью, а тут еще ударились в драку.

— Че не поделили? — поправляя на боку саблю, возмутился есаул.

— Вестимо, бабу. Из-за нее, видать, и дерутся. Ну, эта Дарья! Хоть бы скорей замуж выходила, все время из-за нее грех меж парней. Когда этих-то успела лбами столкнуть? Ну, кобыла! — ругался воевода. — Рыжая, с конопушками и зиму, и лето. Ваши-то еще глаза не разули, а уже из-за нее морды квасят. Поди, с солеваром Митькой? — спросил воевода.

— Кабы он один! С ним солеваров толпа, и энтим обозникам счета нету!

— Да вот она только тута была. За Камень идти собралась, — сказал воевода.

— За Камень?! Этакая мокрохвостка? — закричала баба. — Тама одно мужичье!

— Дарья девка хоть куда! — захлопывая дверь, сказал воевода. — У нее язык, яко нож. Мужичье с ней справиться не может, вот в задоре и бьют друг другу рожи. Разве впервой? Сватает ее Митька-солевар. Только на что он Дарье? Напьется, распустит нюни.

Воевода только уселся на лавку, как снова настежь распахнулась дверь:

— Нещадно дерутся! Приезжих-то за второй холм угнали, да все с кольями, с палками. Гробы заказывать надобно-о-о! — кричала чья-то баба, видно, жена солеварщика.

На дальние холмы, к месту мужичьей драки, бежали бабы, подметая длинными подолами истоптанный снег, другие стояли поодаль и кричали разными голосами.

До темноты, никого не слушая, мутузили мужики друг друга. Вятича Афоньку в приезжую избу приволокли за ноги. Ивашку Иконникова пришлось вытаскивать из сугроба ни живого ни мертвого. Митьку-солевара поднять так и не смогли. Чтобы не замерз, пришлось запрягать лошадь. Сгружали на сани-розвальни дружков и недругов, развозили кого куда: по избам, по баням, в приезжий дом.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Можно было бы есаулу оставить в Чердыни избитых мужиков, да в такой дороге каждый сгодится. А уж эта, что лежит через Великий Камень по малым рекам, по соболиному следу, особо трудна: не наезжена, попутчиков не сыщется, разве что Гринька Окунь с Лукерьей да девки, готовые сами от себя убежать куда глаза глядят, да поп с дьячком и помощником. «Надо ждать, когда мужики оклемаются», — думал есаул, отыскивая по Чердыни знахарок, знающих разные наговоры от сглаза, болей за грудиной и в брюхе, от расслабления в теле и тяжести в голове. Поили они мужиков разными травами.

В это время воевода Мефодий заказал молебен от страсти к пьянству иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша», священномученику Моисею Мурину и мученику Бонифантию...

Осип все чаще заходил в воеводскую и подружился с Мефодием, который поименно знал в Чердыни каждого жителя. Сам он прибыл из Устюга четыре года назад. Жена его, Таисия Макаровна, женщина крепкая, розовощекая, из поморских краев, за пятерыми сыновьями следила строго, считала, что все мужицкие дела по

дому должны делать они: взять из рук отца топор и пилу, бежать наперед его на рыбалку и на пахоту тяжелой, не плодородной земли. А им говорить слова супротив старших, особенно отца, было на век заказано. Мефодий все собирался побывать за Камнем, который видел только издали, бывая на Вишерском волоке у старика Феоктиста, который нынче совсем захворал.

Много он был наслышан об Анисиме, который по собственной воле остался среди вогулов, чтобы строго следить за сбором ясака в государеву казну и за вогуличами, которые все реже и реже стали делать набеги на русские поселения.

После покорения Казани все чаще стали нападать на вогуличей и остяков татары хана Едигера, забирать у них ясак, собранный лозьвинскими и пелымскими вогуличами. Вогулы стали просить защиты у русских.

Над Чердынью стояли страшенные морозы. Белесой дымкой были окутаны не только дальние дали, но и близлежащие избы. Куржаком покрылась каждая жердь, доска, каждая ветка на дереве.

— Экий морозище! — говорил воевода с есаулом. Находясь в последние дни в раздумье, сказал: — Отправлю с тобой десяток стрельцов. Пищалей дам, пороху. Не дай Бог байки про хана Едигера правдивые. Я ноне такой сон видел. — Воевода не то улыбнулся, не то ухмыльнулся. — Острую саблю во сне видел, и будто эта сабля висит над моей головой. Я все прятался, а потом взял да убег в лес. Там и потерялась эта сабля.

— Мне с твоими стрельцами не справиться. Даже если тут, в гарнизоне, на них управы нет. А там?

— У меня есть стрелецкий сотник Григорий Елизаров. Он с виду вроде прост, а воли крепкой. Мне кажется,

он боярский сын, но, видать, хвативший лиха. Как тебе сказать? — призадумался воевода и добавил: — Сердцем мудр.

Старуха, подававшая обозным мужикам питье и еду, все охала да рассказывала:

— Они, наши солевары-то, злющие. Хозяин-то их чуть че — сразу в зубы! Какая провинность — на правеж. Есть у них на солеварне чулан с крючьями и веревками. Их тама в страхе держат. А как выйдут за ворота, вот свое зло и показывают. На Дарью-то все навет! Она в их сторону не глядит, а они то да потому: выходи за Митьку замуж. Дарья-то экий цветок, а он медведь медведем. Нынче летом по Вишере на дощанике парни грузы приплавили. В город пришли погулять. Тоже кто-то на Дарью глаз бросил. Так эти солевары опять в драку. Одному башку до мозгов проломили и других изувечили. Им тока под руку попади! Тогда двух из них стрельцы плетками пороли. Воевода велел. — Старуха говорила бойко, то и дело поглядывала на дверь. — Ваших-то они хряпали умеючи. Сами поутру все едино на солеварню потащились: кто хромал, кто горбился, а у кого на роже така чернота была — куре некуда клюнуть! Ну ладно, христовые, теперича поправитесь. И морозы оттрещали. Потеплело. В трубах дым пошел столбом!

По прошествии двух седмиц обоз двинулся. Впереди на легких санях-розвальнях, сидя на брошенной в сани копне сена, с коробом церковного добра, торил дорогу чердынец Васька Махотин. Низкорослая северная лошадка всхрапывала, по привычке буровя снег. За ней тянулся обоз в три десятка саней: с поклажей, возами сена, государственным грузом, съестными припасами. Народу, как и говорил воевода, собралось много. Кроме

извозчиков было десять стрельцов, во главе стрелецкий сотник Григорий Елизаров, Гринька Окунь с бабой Лукерьей и привязанной к возу коровой, пятеро девок, среди которых и Дарья. Была она одета в овчинную шубу, ворот и рукава которой были подбиты каким-то другим мехом. Под вязанной из собачьей шерсти шали выставлялась узенькая полоска темного платка. Глядя под ноги, Дарья тихо, незаметно для всех, плакала, глотала слезы и вспоминала слова матери: «Ступай, коли собралась. Все едино мужики в покое не оставят, пока бабий хомут не наденешь».

Хотя и прошел день солнцеворота, но на северной земле солнечные лучи освещали только по утрам дальний край неба.

Собаки, бежавшие с обозом, не смогли сразу найти себе места: впереди — бездорожье, стороной бежать — пурхаться в снегу по брюхо, сзади — вроде не по их собачьему норову. Пробежав версты две по снегу, умудрялись прошмыгнуть к кому-нибудь под ноги или сразу за санями, не подавая голоса. К вечеру вдруг разразились громким собачьим лаем.

— За поворотом Вишерский волок, — вскочив на сани, орал Васька Махотин с передней подводы, не раз бывавший в этих местах.

Все уже давно забыли, когда Феоктист, вечный сторож на волоке, бывал последний раз в Чердыни. Старые бабы еще помнят его молодым и шустрым. Запомнился он тем, что с ранней весны и до поздней осени таскал бабам разные травы и коренья. Они в благодарность поили и подкармливали его, а сами сушили травы для долгой зимы, делали отвары и настои от разных напастей и болезней.

Васька, стоя на возу, пялил глаза на возвышенный берег в надежде увидеть там Феоктиста, который,

только заслышав урчание своих собак, оболокался в длинный тулуп, выходил на берег и, приложив руку ко лбу, ждал появления обоза. На этот раз его на берегу не было. «Поди, помер», — мелькнула мысль, но Васька тут же успокоился, заметив струйку дыма над крышей.

Феоктист не вышел и тогда, когда стали слышны мужицкие голоса и скрип груженых саней. Он лежал на лавке, застланной оленьими шкурами, закрывшись большим тулупом. Приподняв с лавки голову, Феоктист прищуренными глазами отыскивал среди приезжих знакомых.

— Хозяйствуйте сами, — слабым голосом сказал он, — берите че надо, — задохнувшись кашлем, уронил голову на подушку.

— Все найдем, — сказал есаул Осип, наслышанный о старике еще от Герасима Титыча, и добавил: — На обратной дороге воевода велел тебя в Чердынь взять.

— А на что мне в Чердынь, и здесь погост есть. Вона на взгорок зайти, там еще видны холмы ратичей... Вас не дождуся, — вытянув из-под тулупа руку, дотронулся холодными пальцами до есаула: — Пущай твои мужики перед уходом дров мне в избушку натаскают...

Лукерья, поставив корову между двумя возами сена, к ночи сдаивала молоко в берестяной туесок. Зайдя к Феоктисту, угостила старика молоком, который от такого внимания завсхлипывал, как маленький ребенок.

Расторопный сотник Григорий Елизаров не дал стрельцам покоя до тех пор, пока те, осмотрев старые землянки, не нашли две, подходящие для ночлега.

Разбудила всех драка собак. Лохматый, постаревший, как и хозяин, пес с рассветом огляделся, принюхался и, подчинившись собачьему зову, побежал за шустрой лайкой. Та огрызнулась. Псы, дремавшие

в санях-розвальнях Васьки Махотина, бросились в драку. Афонька, выскочив из избушки, разогнал собак, но сон уже улетел.

Оглядываясь вокруг, он угадал следы давнишней стоянки князя Заболотского, ратичи которого с великими трудностями первыми перевалили Великий Камень. Отметил стоявшие поодаль сараи, высокую избу с покосившейся крышей, куда вели свежие следы. «Тама, наверное, наши девки, — подумал Афонька в надежде увидеть Дарью. Объяснить ее поступок добродушный вятич не мог. — Другие-то ладно, видать, с миру собраны, а вот Дарья зачем пошла? Девка по всем статьям ладная...»

Лошадей впрягли гужем. Шли они по промороженным руслам нешироких речушек, то сворачивали на берег, мяли снег возле исполинских кедрачей, то спускались в ложбины, не теряя из виду русла рек.

Лошадей берегли, на ночлег останавливались под кронами вековечных кедрачей. Разводили костры, варили солонину, заваривали кипятком толокно. Лукерья подливала молока, кому достанется.

На одном из привалов не на шутку поссорились Афонька с Васькой Махотиным. Один утверждал, что в дороге они третью седмицу, другой кричал, что уже четвертую! Довод у Василия был один: синяки на его роже заживают на третью седмицу, а, как видно по его лицу, следы от драки в Чердыни уже прошли.

— Так на тебе, как на собаке, все заживает, — гневался Афонька. — А вона у Данилы все еще глаза, яко у лешего, красны, али у Михайлы зеленью плесневеет щека.

В спор ввязались стрельцы. Есаул Осип вытащил из своей возницы необструганную палку с зарубками и подал девкам:

— Считайте! Я каждый день ставлю отметину ножом.

Такую же палку принес сотник Григорий Елизаров. Дарья взяла палку Осипа, провела пальцем, ахнула: «Столько много!»

— Да нет, — остановил ее Осип, — эти зарубки до Чердыни, а ты вот отсюда считай, с другого конца.

Все присели возле костра.

— Четвертая седмица! — закричал один из стрельцов, просчитав зарубки на палке сотника.

— Четвертая, — согласилась Дарья. — Афоня говорит правду. — Вятич вытаращил на нее глаза. Дарья назвала его Афоней, а то для всех он был Афонька да Афонька.

— Экая даль, и конца не видать, — вздохнул кто-то из мужиков.

— Боле половины прошли-проехали, — сказал Васька Махотин, бывавший не единожды с обозом. — Вот солнышко взойдет, глядите направо, Ивдельскую сопку увидите, оттуда только руку протянуть. Теперича на сопку не заходят, в объезд изладили дорогу, чтоб не тревожить шамана Перко и его сородичей. Состарился он и не любит, когда приходят люди из-за Камня. Это он первый русским дорогу показал и Анисима на устье Ивдель-реки на своих оленях увез. Свою тамгу дал — чтоб не трогали. А вогуличи хотя и не трогают Анисима, боясь ворожбы Перко, зло все время держат.

Проехать незамеченными мимо Ивдельской сопки не удалось. Из хмурого кедровника задом наперед выходила старая женщина с распущенными волосами. Посмотрев на приближающийся обоз, она, наклонившись, положила поперек тропки ветку и не посторонилась.

Обоз остановился. Васька Махотин, зная несколько вогульских слов, перекрестясь, подбежал к старухе. По

всему было видно, что она не испугалась пришлого человека.

— Перко помирал, — буркнула старая женщина. Это была старшая жена шамана. Только она одна в эти грустные дни могла вступать с кем-нибудь из посторонних в разговор и уходить с кладбища последней. Остальные же родичи, вернувшись в юрты, усаживались вокруг огня, распускали волосы и справляли поминки.

Шамана Перко хоронили, как простого вогулича, положив в лодку-облас с отрубленными носом и кормой, хорошо заделав отверстия берестой. До этого усопшему развязывали обе косы, пучком из древесной стружки, смоченным в воде с бобровой струей, проводили по спине от головы до ног три полосы и только после этого одевали его в меховую одежду, обязательно подпоясывали, чтобы на пояс можно было повесить подарки: мех, камус оленя, обереги, ножны с ножом. Перед закрытием лодки-обласа старшая из женщин, привязав к шнурочку из жил беличий хвостик, обводила им вокруг «уснувшего» круг против часовой стрелки. На левой стороне «гроба» рисовали луну и солнце. На кладбище везли на оленьей упряжке. Мужчины из трех приготовленных бревен складывали сруб и в него ставили лодку-облас с телом усопшего. Поверх сруба клали жердь, чтобы положенные наверх березовые пластины не проваливались внутрь. Сверху тоже делали настил из бревен. Нарту, на которой привозили усопшего, оставляли здесь же. Тут же разводили костер, раскладывали угощение. С кладбища уходили все, не оборачиваясь, задом наперед.

Отстала от всех старшая жена Перко, шла задыхаясь.

— Перко, Торум, — шептала она, показывая сухим, скрюченным пальцем на небо. Она думала, что Перко непременно попадет к самому Торуму.

Без шамана Перко опустела Ивдельская сопка. Его соплеменники не могли понять своего шамана, любившего русичей. Быть может, это был зов родившей его русской женщины?

Знавшие и не знавшие шамана Перко испытывали чувство печали. Какое-то время все молчали. Девки в последние дни будто рассердились друг на дружку, не разговаривали между собой. На самом деле они просто устали. Самая младшая Таисия, узнав о смерти шамана, заголосила так громко да с причитаниями, что сотник, пропустив возы, подождал ее:

— Устала? Не по шаману же заревела. Ничего, скоро, скоро уже дойдем. Вишь, какие берега стали широкие. Всякая река к устью вширь раздвигается. Скоро ужо! — успокаивал он Таисию.

Девка громко всхлипнула и, застеснявшись, потупила глаза.

— Че из дому-то ушла? Мала еще, — сказал он ей ласково.

— Испей, дочь моя, водицы, — появился возле Таисии поп и протянул ей берестяной жбанчик. — Поможет. Это все оттого, что идем без слова Божьего, вот и теряется у нас крепость. — То была водка, настоянная на анисе, с терпким запахом. Таисия глотнула и поперхнулась. Сотник Рюма Языков понял, чем потчует поп, и подмигнул ему. — Глотни и ты для успокоения, — и протянул ему жбанчик. В этот миг подводы остановились.

— Коренник пал! Коренник пал! — неслось от воза к возу.

Бездыханно лежал, уткнувшись мордой в снег, каурый жеребец. Все столпились возле него, стали освобождать от упряжи.

— Не сдюжил, — вздыхал Данила. — Ноне овес не съел, а я, дурак, в толк не взял.

Заголосила и Лукерья: «Кабы Буренка не пала! Ноне тоже два раза спотыкалась, на колени падала».

— Че расхныкались? — строго сказал им есаул Осип. — Кому сказывал: не ходите! Так вы не послухали, теперича молчите. Кабы было легко да близко...

— Молодой, молодой ишо. Теперь бы в третью соху пошел, — причитал Данила над лошадью. Никто не утешал его. Вскоре все дружно управились с павшим жеребцом.

В разыгравшуюся метель продолжать путь не решились. Свернули к пихтачам.

— Жвачку потеряла, — всхлипывала Лукерья, поглаживая пятнистую морду коровы. — Потерпи, к весне теленочка принесешь, рассосет он твое вымя.

— Двое-то саней пусты, сено в дороге скормлено, можно и положить на них Буренку, — предложил один из стрельцов. — Когда мой тятя на ярмонку возил продавать коров, так всегда на санях.

— Не видывала, — призналась Лукерья.

— А че ты видывала? — усмехнулся стрелец и пошел к костру. Весело трещали ветки, подбрасывая искры выше кедрачей. Афонька срубил сухару и, обняв ее за комель, волок к костру.

— Энто для того, чтоб меня лучше Дарья разглядела. Синяков теперича нету.

— Экий ты прыткий! — закричал кто-то из чердынских стрельцов.

— У меня глаз-алмаз, — не сдавался Афонька. — Я токо явился в Чердынь, и вдруг экая девка на пороге! Правда, Дарья? Я тебя первый увидел. Из-за тебя ведь сыр-бор разгорелся.

— Больно я знаю, — еле слышно ответила Дарья.

— А ты приглядись ко мне. Прилюдно говорю: не пообижу.

С нескольких сторон послышался смех.

— Что ржете? — остановил мужиков Афонька. — Как дойдем до Анисима, вы ведь, как воронье, на нее налетите: девка-то она самолучшая. Вот тут при вас я и сватаю ее.

— Ополоумел? — закричал все тот же стрелец с хрипотой в голосе.

— Ниче не ополоумил, — не сдавался Афонька. — Сказывай, Дарья, пойдешь за меня замуж?

— Морозишь, че на ум придет, — не глядя на Афоньку, ответила Дарья. — Место для сватовства нашел!

— А вот и нашел. Там, у Анисима, нас, что ли, хоромы ждут? А здесь и батюшка рядом. Я ужо давно об этом думал.

Оказалось, что сватов из попутных дружков у Афоньки немного. Все будто воды в рот набрали.

— Ежели кто пообидит Дарью, так мы тому на заимке голову привернем, — сказал тот же стрелец.

— Тогда с меня начинайте, — ответствовал Афонька.

— Че, Дарья, ты молчишь? — заговорила Лукерья. — Давай с тебя начнем сватовство, а на другом привале других высватаем. — Была в словах Лукерьи бесшабашная удаль, от которой по спине Дарьи пробежали мурашки. Она глянула на Афоньку, его лицо освещали языки яркого костра. Все в нем было пригоже.

— Иди ко мне, Дарья, садись рядом, — позвал он ее.

Дарья, на удивление всем, поднялась со ствола поваленного кедрача, на котором рядком сидела с другими, и пошла к Афоне.

— Что так-то? — опять заговорила Лукерья. — Без благословения? Али мы басурманы какие?

Все были удивлены, когда из-за пазухи она вытащила деревянную икону.

— Встаньте на колени! — чуть было не опалив подол шубы, она пробиралась к Афоньке и Дарье. — Я вам заместо матери. Вот и мое вам благословение. — Сейчас все смотрели на Лукерью. Она была узколицей, смуглой, с широкими черными бровями и бойкими голубыми глазами. О глазах-то больше знал Гринька. Разве можно было их разглядеть тут, возле костра?

Кто-то палкой пошевелил в костре сухару в тот миг, когда Лукерья взяла за руки Афоньку и Дарью.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Благословляю вас, идущих по соболиному следу. Живите в любви, — она громко вздохнула и добавила: — А теперя целуйтесь!

Вокруг воцарилось молчание. Слышался только хруст овса на крепких лошадиных зубах, спрятавших морды в мешок.

— Чья-то шубейка горит. Палениной пахнет, — нарушил молчание есаул Осип.

А горела как раз меховая шубенка самого Осипа. Кто-то выгреб веткой сморщенный, обугленный комок, отшвырнул в снег.

— Ох, в сей миг дома бы оказаться, — мечтательно сказал Афонька, прижимая к себе Дарью, которая не сопротивлялась, а всем видом показывала, что Афонька ей по душе. — Калачи были бы, студни, хмельная брага.

— Ну и дела! — не скрывая удивления и восторга, громко сказал сотник Григорий Елизаров, немало повидавший на своем, хотя и не таком уж большом, веку, но чтобы так, среди мороза, прилюдно свататься?! — Ну и дела-а-а-а! — повторил еще раз и пошел к подводе коротать ночь.

Скоро все разошлись, Афонька с Дарьей остались одни возле костра. Как сговорившись, они оба протянули руки к горячим углям.

— Скажи, ты из-за меня пошла за Камень? — спросил Афонька.

— Кабы солевары тебя так не искалечили, может, и не пошла бы. Жалко тебя стало.

— Не лукавишь?

— Неужто жизнь начинать станем с таких слов: «Не лукавишь»? — строго спросила Дарья и пристально поглядела в лицо Афоньке.

Она, конечно, знала, о чем думал парень: проходившие по отдаленным окраинам России ратные люди, соблазняя деньгами живущих в холопках девок и обещанием жениться, по прибытии на места большей частью торговали ими или отдавали замуж за долги.

— Наших чердынских девок никто не продаст. Нас сам воевода отпустил.

Они замолчали. Дарье никогда не думалось, что можно так тихо сидеть рядом, ни о чем не разговаривать, а просто ощущать тихую радость.

— Боле не хочу, чтоб тебя Афонькой кликали. Ведь Осипа Осипом зовут, Мефодия — Мефодием, Ивана — Иваном, а ты Афанасий. Али Афоня?

На небе давно зажглись далекие звезды. Сквозь сон фыркнула, переступая с ноги на ногу, лошадь. С широких лопастых веток кедрача упал один, потом другой снежный ком.

— Соболя-соболики разыгрались, — сказал Афанасий, вставая. Он подал Дарье обе руки, помогая ей подняться с кедрового бревна.

— Ногу отсидела, — сказала она каким-то особенным голосом...

Прошло еще два дня и две ночи, когда стали слышаться отдаленные собачьи голоса — первые вестники близости человеческого жилья. Но никто не решался заговорить об этом. Все боялись обмануться. Нередко

в снежных пустынях начинает якобы слышаться собачий лай. Но вдруг понуро шедшие лошади прибавили шаг, а мужики стали свистом перекликаться между собой.

Поставленный на возвышенном берегу склад для сбора ясака был со всех сторон занесен снегом, но еле приметная тропка и отдаленные следы оленьих нарт были признаками скорого окончания дороги. Сторож Антошка спал в крохотной землянке беспробудным сном после вчерашней охоты. На секунду он проснулся от лая собак, но ему показалось, что он услышал их во сне. Натянув на голову савик, он опять задремал, но вдруг будто кто-то подбросил его на лавке. Накинув овчинный тулуп, он уже несся навстречу обозу, путаясь в длинных полах. Сбросив его на снег, распростертыми руками обнимал каждого, заодно и попавшие под руку лошадиные морды.

— Соскучился-то как! Соскучился-то как! — не стесняясь, размазывал на щеках слезы. — Слава Богу, добрались. Слава Богу! Левее, левее держите и на взгорок!

Собаки уже успели поднять на ноги всех жителей Анисимовой заимки. Каждый бежал на берег.

Если бы кто из них знал Анисима в молодости! Но и теперь он был еще статен, русая окладистая борода с проседью по-хозяйски разлеглась на всю грудь. Румянец играл на щеках. Серые глаза, будто спрятанные под нависшими широкими бровями, светились. Рядом с ним стояла Пелагея. В длинной юбке до пят, в меховой телогрейке, в большой шали, застегнутой булавкой под подбородком, она пристально вглядывалась в обоз. Первой заметив идущих баб, толкнула Анисима локтем в бок.

— Милости просим, милости просим, — стащив с головы неумело сшитую Пелагеей шапку, говорил он

каждому, кто поднимался по взгорью на высокий берег заимки. То же делали и высыпавшие на берег ребятишки. Только старшая дочь, прижавшись к матери, крадучись выглядывала из-за плеча.

Михайло Пугач, сумевший в летнюю пору привести на заимку корову, увидел в санях буренку Гриньки Окуня и, по бабьи всплеснув руками, велел сразу же поставить горемычную в конюшню к своей корове.

— Опосля все изладим, а тама у меня загородка есть.

— Она жвачку потеряла, — пожаловалась Лукерья.

— Кусочек хлеба с солью дадим да горячим пойлом напоим. Главное — вымя уберегла, — похвалил Михайло Лукерью и понесся к мужикам.

Те, перво-наперво скинув шапки, принялись молиться. Никто не мог предположить, что Анисим уже года два как срубил малюсенькую церковь с деревянным крестом и сам вел в ней службу, хотя и знал не много молитв. Кроме «Отче наш» пел еще «Богородице Дево радуйся» и «Хвалите имя Господне». Пелагея, никогда не видевшая храмов, во всем повторяла Анисима, к тому были приучены и их дети: не помолившись, за стол не садились. Ребятишек у Анисима было много. И сейчас Пелагея была на сносях. «Развязала Пелагея свой узелок», — посмеивался Анисим.

— Че тут-то? У меня церквушка есть, — показал он рукой на крест. Иконы вырезал из дерева. Образы Богоматери и Николая-Угодника во весь рост поставил в переднем углу. Проезжавшие по весне ушкуйники подарили несколько икон.

Анисим радостно вышагивал к своей церковке. Каково же было удивление всех прибывших, не успевших еще отогреться, когда они услышали благостный звон колокола.

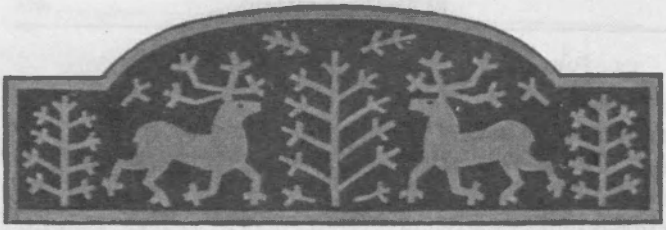
— В тесноте — не в обиде. В тесноте — не в обиде, — успокаивал всех Анисим. — Под горой — баня, чуть поодаль моя старая избушка, еще подале Гринька под крышей живет, еще подале — Антоха в землянке. Лесу нароняют — молодцы ладные, — говорил Анисим, поглядывая на стрельцов. Затем спросил есаула: — Пищалей привезли? Пороху, скорострельных пушек?

— Больше съестные запасы да товар для мены на меха.

Анисим вздохнул:

— Сюда татарва прет. Ушкуйники сказывали — разбили их под Казанью — они в степи, а другие по рекам сюда. Да и самим ушкуйникам, верно, головы свернули. Ноне не проплывали, знать, беда им пришла.

На радостях не переставал звонить колокол. Мальчонки-подростки с благословения отца с суеверной боязнью издавали звон и подолгу прислушивались, как завораживающий голос колокола взлетал к небу и катился за дальние леса.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

«Сколько народу», — думала Пелагея, вспоминая дни, когда они вдвоем с Анисимом оказались в убогом чуме. Сложив руки на животе, она дивилась одеждам баб, сабле, пристегнутой к поясу есаула Осипа, высоченным стрельцам, ходившим гуськом по проторенным тропкам. И все-таки больший интерес у Пелагеи был к бабам, в них ее удивляло все: голоса, походки, разноцветные платки на головах, по-особому сшитые шубы. «Молодые, — думала она. — Старухам сюда не дойти». Но мысли ее спутал Антошка Першин. Насвистывая над головой вожжами, стоя на санях, он погонял лошадей, запряженных в тройку. Такую роскошь позволил себе этот крестьянский парень, в детские годы ездивший с барином на ярмарки.

— Эко дух зашел, как услышал звон колокола. Ведь знаю: манюхоньки. Совсем манюхоньки, а звон-то какой!

В анисимовскую церквушку втиснулось до десятка человек, остальные толклись за крохотной дверью. Анисим запел псалмы, которые помнил с детства. Пелагея, услышав церковное пение, смиренно шевелила губами:

«Господи, смилуйся... Господи, благослови нас, грешных...» С зажженной лампадкой прибывший священник вышел на берег, обошел, освящая каждое маломальское строение: баню, конюшню. Прошел и между подвод. Пелагее вдруг стало жаль, что она не знает толком молитв. Она растерянно глядела на своих ребятишек, громко подпевавших взрослым.

— Ну вот и освятили заимку, — не без благостного удовольствия в душе сказал Анисим, — теперь все как у людей.

Весь прибывший люд набился в убогие избушки, самая просторная — у Анисима. Всем хотелось обогреться в избяном тепле.

С непривычки от множества людей у Пелагеи разболелась голова. Ребятишки забились на полати. Анисиму же было невтерпеж поговорить с мужиками, узнать новости.

Вот уж лет десять, как татары не стали давать покоя вогуличам, и они, приезжая к на заимку, жаловались ему на свое беспокойное житье.

Есаул Осип Старков, читавший у чердынского воеводы царскую грамоту, всю дорогу вспоминал о ней. Когда Анисим сказал «государь лютует», есаул обомлел. Какую же надо было обрести царю славу, чтобы даже в таком захолустье, в такой тьмутаракани ничтожный холоп мог такое молвить о государе?!

— Царево дело-то — не наше, — оборвал есаул Анисима, только повторившего чьи-то слова, которые к его жизни не имели никакого отношения. Но в словах Анисима была правда. Государь был сломлен духом: постоянные распри бояр, а главное смерть любимой жены Анастасии вызывали в нем не только раздражительность, но и необузданную ярость. Он пустился в разврат, превратив царский двор в скопище непутевых девиц, где

вино лилось рекой. Бояр достойных фамилий позорно казнил, набрав себе в защитники целую тысячу дружков-разбойников, звать которых стали опричниками.

Есаул Осип закрыл лицо ладонями, не мог же он рассказывать о таком бесстыдстве государя. Немножко освободившись от печальных дум, сказал Анисиму:

— Наш государь строг и набожен. Много молится Богу. И не наше холопье дело судить Божьего помазанника. Солнышко и то не всех обогревает...

Анисим слушал слова есаула с великим вниманием, чувствуя сердцем немалую тревогу за государя. Да и сам есаул много ли знал обо всем, что творится в Москве? Жизнь Ивана Васильевича, государя всея Руси, в Александровской слободе была для всех загадкой. Поселившись там, он устроил для своих дружков-опричников общежительный монастырь, в котором сам был игуменом, князь Афанасий Вяземский — келарем, а Малюта Скуратов — пономарем. Вставал государь в четыре утра, сам шел на колокольню и начинал благовестить. Иноки-опричники под страхом наказания торопились к заутрене, где сам царь читал «Апостол», пел на клиросе и усердно молился.

Царские опричники разъезжали по городам и весям, чтобы искоренять измену и крамолу, но за свою лютость и жестокость заслужили себе только общую ненависть. Опричнина была учреждена царем для беспощадной борьбы с боярством. Когда опричники снимали с себя монашеское облачение, то наряжались в парчовые кафтаны с золотым шитьем, дорогими каменьями, и Александровская слобода оглашалась визгом, пьяным хохотом, непристойными песнями.

Простому смертному не положено было судить царские порядки, даже рот разевать. «Каждый сверчок знай свой шесток», — сказал вслух есаул. На что Анисим

только и ответил: «Не нашему носу рябину клевать» — и стал рассказывать есаулу, что нынче собрано небывалое число шкур соболей и другого зверья. Соболями ноне кедрачи кишмя кишат.

— Тогда, мил человек, нам поспешать надо обратно.

— С каждого вогулича по соболю собрали да в придачу белку, лису или горностая бросили. Пищалей бы нам надо, а то кружат вогуличи возле заимки — не к добру это.

— Собираться надо, — будто не слыша Анисима, повторил Осип.

— А стрельцы тута останутся?

— Останутся. Григорий Елизаров за старшего.

— В прошлом годе были стрельцы. Немного роняли лес, да убегли, ни с кем словечком не обмолвились.

— Тогда искать надо этих стрельцов.

Анисим захохотал:

— Ищи ветра в поле. Да и кто не убежит. Голод — не тетка.

— У Григория и помыслить побоятся, — сказал есаул. — Да и Рюма сотник бывалый, воеводой прислан.

В избу вбежала Пелагея с плачем: «Пожар, Пожар!» Пламенем была охвачена баня на берегу. С приходом обоза на заимку она топилась, не переставая. И сейчас в ней парились стрельцы. Баня уже догорала, но никто на нее не плеснул и ковша воды.

— Пущай догорат, — сказал Анисим. — Теперича большую ставить будем. Леса, че ли, нету? Али дров мало? Али камня не стало?

— Этим жеребцам урок дан — по десяти штук лесин в день ронять. Быстро поставят, — подтвердил есаул.

— А на что столько лесин ронять? — не без любопытства спросил Анисим.

— Дощаники, лодки, струги строить. И по Лозьвереке — вниз! — встрял Григорий Елизаров, представив, как понесут лозьвинские волны добротные новые суда.

— Тама живут пелымские вогуличи. Они каждую зиму лозьвинских невест воруют, а лозьвинские — у них, — сказал Анисим.

Зимний день был тихим, безветренным. Хорошо просматривались дали. Со всех сторон, по всем берегам стояли вековечные хвойные дремучие леса.

— Без лодок тута никуда, — подтвердил Анисим. — С Великого Камня множество рек бежит, петляют меж собой, как утиные кишки.

Осип засмеялся над словами Анисима. «Как утиные кишки» повторил.

— Вот оставайся до воды и плыви в обласке — тут же заблудишься. Лозьва с крепкой спиной, много судов удержит, — опять вставил сотник Григорий.

Ветер подул совсем неожиданно, будто прятался за деревьями.

— Сбираться надо да отправляться обратно, — отходя от берега, бурчал есаул, хотя доподлинно знал, что все уже сгружено, связано, перевязано на санях. Оставалось впрячь лошадей и проститься со скромной Анисимовой заимкой. Хотя обратная дорога, как говорят, скорая, но да ведь не убавилась. На этот раз их будет меньше: на заимке останутся стрельцы, девки да Гринька с Лукерьей. Все это он быстро перебрал в уме и с возмущением сам не зная кому крикнул: «Так с кем я обратно пойду?» И в самом деле, с обозом в обратную дорогу идти никто не хотел.

— Не за тем шли, чтобы ворочаться, — сказала весело Дарья.

О бесчинстве татар больше всех знал сотник Григорий Елизаров. До прибытия в Чердынь он немало

встречал их, охраняя границы Строгановых. Но сбежал от господ с двумя дружками, хотя и знал, что Строгановы немилосердны и власть над людьми имеют поболе царской. Их пращур Федор Строганов, живя на Устюге, а после на Соли Вычегодской, когда-то заметил небольшое соленое озеро, в которое с берега стекали рассольные ключи. Многие видывали эти ключи, дивились их солености, но не у всякого хватает толку сообразить да в дело пустить свою смекалку. Федор ночи не спал, мерил шагами берега озера, пробовал на язык каждую струйку воды, искал ключи, откуда соленость берется, и смекнул: прибыль можно иметь великую, если варницы поставить. Отписал Федор Строганов грамоту государю — то было еще задолго до царствования Ивана Васильевича Грозного — и, получив царское благословение, с великими трудами стал заниматься соляным промыслом. Братья Федора умерли, не оставив наследников, и богатство Федора к тому времени стало немалым. В муках и тревогах за дело умирал Федор Строганов. Приняв монашество, с облегчением оставил он наследником младшего сына Анику. Уж он-то, познав силу богатства, не жалел себя и в стократ простой люд. Труден соляной промысел, требующий множество работных рук. И не гнушался Аника Строганов брать на работу на промысел разных людей. Босые и полуголые, вольно гуляющие по вологодской земле, беглые готовы были идти к нему на любую работу за кусок хлеба. Все они — дрововозы, грузчики, солевары, соленосы — были под строгим надзором приказчиков.

Кроме солеварения Аника завел большую торговлю хлебом. Имея морские и речные суда, он нащупал еще одно доходное дело: скупку и продажу драгоценных мехов, но его посланцы не знали перехода за Камень через Вишерский волок. Большие суда выплывали по Каме

из Соли Вычегодской, плыли по реке Усьмене, минуя вершины реки Печоры, и после множеством волоков по озеркам и речушкам пробирались через хребет, который лежит между Печорой и Обью, и тайно вели торг с остяками, самоедами и вогуличами.

Богато, вольготно жил хозяин прикамских земель Аника Строганов. До неба — высоко, до царя — далеко. В главном городе хозяина Сольвычегодске хоромы Строгановых были невиданными в этих землях. Громадный Воскресенский храм сверкал белизной, утверждая своей громадой величие, мощь и богатство Строгановых. С северной стороны храма начинались бревенчатые крепостные стены с бойницами и башнями. С западной стороны — светлая сосновая роща. К востоку была поставлена соборная Троицкая церковь с ямским двором и большой торговой площадью. На башнях дозорные для бережения от пожара, а больше — от нападок татарских орд. Оружия у Строгановых было много. Любой кажущийся непорядок за стенами города отмечался трехзвоньем на башнях. На воротной башне тоже висел небольшой колокол. На его звон выходили рослые молодцы, вооруженные саблями и пищалями. В деревянном замке было три жилых помещения с двускатной крышей и круглой башней. По разным сторонам двора стояли амбары для товаров, небольшие избушки, чуланы, где жили слуги. Двор был вымощен деревянными плахами. В горницу к хозяину можно было попасть в сопровождении слуг, одетых в особую одежду: красные кафтаны, красные козловые сапоги. Обширная горница хозяина была украшена коврами, оружием. Одну стену занимали книги, составленные на дубовых резных полках. В комнате был тайный ход, лестница которого вела в подвалы Благовещенского собора, где хранилось самое ценное имущество Строгановых.

Первым из своих трех сыновей Аника наделил самыми богатыми вотчинами своего любимого сына Семена, который крепко подхватил отцовское дело, исправно платил в государеву казну баснословные пошлины. За это был обласкан царем и принят в опричники. Но за лихоимство и жестокость его убили взбунтовавшиеся посадские люди в кабинете собственного дома, на ковре из шкуры белого медведя.

Горе старого Аники было безмерным, смерть любимого сына подорвала его здоровье, но старый Строганов стал хлопотать перед царем о своих остальных сыновьях, боясь, что они по самонравию или своеволию могут навредить делу всей его жизни. Он задумал просить для себя и своего сына Григория пустошные земли по Камереке. Привезенные из столицы грамотные дьяки несколько недель сочиняли прошение государю. Аника слушал, не пропуская ни единого слова. В ответ на прошение пришла государева грамота. Взопревший дьяк читал: «Се Азъ Царь и Великий Князь Иванъ Васильевичъ все Руссии пожаловалъ есми Григоря Аникиева сын Строганова, что намъ бил челом, и сказывалъ, что де въ Нашей вотчине ниже Великия Перми за восемдесять версть, по Каме реке по правую сторону Камы речки, съ устья Лысвы речки, а по левую де сторону реки Камы противъ Пыскорския Курьи по обе стороны Камы до Чусовыя реки места пустыя, леса черны, речки и озера дикия, острова и наволоки пусты, а всего де того пустаго места сто сорокъ шесть верстъ. И прежде де сего на том месте пашни не пахиваны, и дворы де не стаивали, и въ Мою де Цареву Великаго Князя казну с того места пошлина никакая не бывала, а оные не отданы никому, и въ писцовыхъ книгахъ и въ купчихъ и в правежныхъ то место не написано ни у кого. И Григорий Строганов билъ нам челомъ, и хочетъ на томъ месте

городокъ поставить, а на городе пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальщиковъ и воротниковъ устроити для бережения отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около того места лесъ по речкамъ и до вершинъ и по озерамъ сечи и пашни расчистя пахати, и дворы ставити, и людей называти неписьменныхъ и не тяглыхъ, и расолу искати, а где найдется расол, и варницы ставити, и соль варити... А льготъ Есми ему дал на двадцать летъ от Благовещеньева дни лета 7066/1558 до Благовещеньева дня лета 7086/1578 и что будет намъ Григорий по своей челобитной ложно билъ челом, или станет не по сей грамоте ходити, или учиетъ воровати, и ся Моя грамота та не в грамоту. Дана грамота на Москве лета 7066 апреля 4 дня.

У подлинной грамоты на шнурке вислая простая печать. Да на обороте тоя грамоты подписано тако:

Царь и Великий Князь Иванъ Васильевичъ все Руссии. Приказали Окольничей Федоръ Иванович Умной, да Алексей Федоровичъ Одашевъ, да Казначей Федоръ Ивановичъ Сукинъ, да Хозяинъ Юрьевичъ Тютинъ».

Радости Строганов-старший скрыть не мог. Решено было устроить бал, пригласить воевод окрестных городов, духовенство, знатных людей. Хотелось ему устроить и соколиную охоту. К этому времени привезли ему с Печоры белых кречетов. Надобно было по этому случаю сослужить молебен, досыта накормить нищих и из собственных рук подать денежку.

На дворе уже была распутица: нельзя было медлить ни дня. Запрягли быстрых выездных, и вместе с сыновьями Григорием и Яковом Аника поехал в Пермь промерять версты, смотреть место для строительства города Соль Камская.

Нет надобности описывать, с какими трудностями ставились города на окраинах России...

Через десять лет с такой же просьбой к государю обратился сын Аники Строганова — Яков. На таких же условиях и он получил земли от реки Лысьвы до реки Чусовой. И велено было Строганову по той грамоте «...ясашных вогуличей от нападков татар защищать, да и о самом татарском владении стараться, чтобы их привести под российскую державу». Но исполнить последнее приказание государя у Строгановых еще не хватало сил. Пустынные земли заселяли пришлые к ним вольные люди целыми селами и деревнями. Скоро и сыновья Григорий и Яков были приняты в опричнину — в собственную его величества протекцию грамотой в лето 7066 года. По ней Строгановы никем не могли быть судимы, только царем.

Сказочно богаты были Строгановы. Их суда отправляли соль вверх Камою в Чердынь, вниз Камою и Волгой до Казани, Нижнего Новгорода, в Калугу, проходили Окой к городу Касимову, где царствовал татарский царь Шай-Алей.

Но ничто не радовало Анику. Грозной тучей надвигалась на него старость. Покинули его силы, а главное — радость. Потух блеск в его больших черных глазах. В них не стало ни злости, ни ярости, ни лихого задора. Как тень ходила за ним навязчивая, однообразная тоска. Он перестал о чем-либо спрашивать, будто и не было у него никаких дел. А раньше мысль о делах всегда бежала впереди сделанного. Похудел и облысел, даже не заметил когда — так стремительно Аника Строганов сжег свою жизнь. Если раньше он любил поесть и выпить, то теперь делал это только с напоминания прислуги. Изменился и характер: гневливость сменилась покорностью, вспыльчивость — смирением. Стал ревностно соблюдать посты, подолгу молиться, стоя на коленях перед образами. Стал чаще ездить из Перми в Соль

Вычегодскую — к младшему сыну, будто старался отыскать там, где прошла его бурная жизнь, бодрость и силу. Ему так этого хотелось! Особо подкосила его смерть супруги Софьи. Он даже и не подозревал, что будет так остро ощущать ее отсутствие. Иногда он ездил на промыслы, но и там был равнодушен ко всем новшествам и ничем не интересовался. Как и его отец, он перед смертью постригся в монахи. Преставился владелец обширных прикамских земель в 1570 году, прожив на белом свете семьдесят лет и девять месяцев. Он оставил о себе не только память, но и продолжателей нужного Российскому государству дела. После падения Казани и Астрахани границы государства расширились до Каспийского моря. В Москву стали приезжать персидские и бухарские купеческие караваны.

Донские казаки во время войны с татарами имели немалые вольности: на Дону, и на Волге, и на самом Каспийском море чинили грабежи и разбои над иноземными судами. Получая такие вести, царь Иван Васильевич негодовал...

Дьяк, которого незамедлительно потребовали прибыть в царские палаты, еле доволок ноги. Он дрожал, боясь встречи с государем, который днями вернулся из Александровской слободы. Ему пришлось долго ожидать, пока приведут царя в порядок.

— Пиши, — сказал он дьяку: — «...Определенно всякие способы употребить к скорейшему такого разбою присечению».

Дьяк быстро скрипел пером... Дальше он писал грамоты о наказании татарских и черемисских орд.

На Дон и Волгу было отправлено знатное войско, которому было велено строго поступать с разбойниками, грабившими суда, всех, кого поймают, казнить смертью. Но многие казаки сумели спастись от наказания

бегством. А Строгановым к этому времени тоже пришла царская бумага: «Велено Григорию и Якову Строгановым выбрать у себя в вотчине голову да с ним охочих казаков сколько приобретется, со всяким оружием, да к ним в помощь брать мирных остяков и вогуличей... и войною ходить и воевать их под царскую руку». Полученное письмо насторожило братьев: «Григорию и Якову». Переглянулись: не опала ли какая? Во всех бумагах величают Григорием Аникеевичем и Яковом Аникеевичем, а тут вдруг без отчества.

Когда они получили из Москвы известие, что государь желает их видеть «перед очами», немало струсили. А главное, были в догадках и разных сомнениях. В той грамоте не было писано, что стало подлинно известно, что будто англичане своими кораблями ходят в сибирские земли вести торговлю мехами и якобы Строгановы на все это закрыли глаза. Они и сами имели ладьи с петушиными головами, распускали наполненные ветром паруса и тоже плавали в северную сторону, хотя ходили они не одними путями с англичанами, а тайными — по рекам, через волоки. И тоже за мехами, прибыль от которых текла в строгановские карманы.

— Из-за этих мехов сыр-бор! — стонал Григорий перед братом.

— Знамо, кто в Москву написал, — ответствовал тот. — Это мы холмогорским на пятки наступили. Потому и судачат: Строгановы во всем свою выгоду имеют. Зубы у холмогорцев вострые!

— Сколько мехов-то повезем?

— Полсотни сороков соболей. Две сотни лис.

— Экое богатство, — застонал Григорий, скосив лицо, как от зубной боли.

Кони у Строгановых отменные, овсом откормленные. Ременная сбруя разными украшениями позвякивает,

кибитки шкурами обиты, полсти медвежьи. Охрана надежная. Все в аккурате у братьев, только на душе кошки скребут. «Как бы под горячую руку государя не угодить», — думают оба, но не сказывают.

— Нам бы наперед царского дьяка Андрея Щекалева встретить. Он у государя в чести, хотя с опаской по одной половице ходит, а на другую взглянуть боится. На шее большую золотую цепь носит — подарок государя. Уж он-то знает, отчего от соболиной торговли казне убыток.

До Перми домчались вихрем.

— И с места бы не тронулся, — признался после бани брату Григорий Аникиевич. — Все косточки ломит. А тут эта Москва! Плюнул бы на все.

Пожалуй, впервые в жизни Строгановы поступились своими желаниями и сразу почувствовали неуютность, хотя осознать в полной мере пагубность зависимости и несвободы им было не дано.

Оставив выездных в Перми, дальше поехали на перекладных. По приезде в Вологду пошли в храм помолиться чудотворному образу святителя Николая, с которым здесь было связано немало чудес. Первым чудом стало то, что во время большого пожара образ святого остался прежним, таким, как до огня. Узнав об этом, царь Иван Васильевич пожелал увидеть эту икону и повелел привезти ее в Москву. Что и было исполнено. По пути шествия иконы в столицу происходили неисчислимые чудеса: исцелялись слепые, глухие, хромые, бесноватые только одним прикосновением к ней. В Москве этот образ пробыл более четырех лет. Вятичи со слезами просили царя оставить в Москве драгоценную святыню, но ее отправили обратно на родину, в Москве же остался точный с нее список. На подлинный образ святителя Николая царь возложил свой

дар — ризу из чистого золота с дорогими каменьями да серебряный под золотом оклад чеканной работы.

Зная доподлинно судьбу не только священного образа, но и храма, братья Строгановы усердно молились.

Прибыли они в столицу в те дни, когда царь, уже одряхлевший, ездил к боярину Федору Нагому поглядеть на его семнадцатилетнюю дочь Марию — девушку, как говорили все, красоты изысканной. Мария в то время была в дальней вотчине, но царь не показал своего неудовольствия, а велел боярину приехать вскорости в Москву с дочерью.

— Ну, боярин, полюбилась мне твоя дочь, — после недолгого разговора сказал царь, улыбаясь. — Быть ей Московской царицей.

Мария покорилась своей участи.

...Перед въездом в Москву погода испортилась: поднялся ветер, повалил густой липкий снег. Лошади сбивались с дороги, норовя свернуть на проселочную, ведущую к какой-нибудь вотчине. Только кучерам, знающим тракт к престольной, непогода прибавила ретивости: они стали беспрестанно кричать, свистеть, размахивать плетками.

Дьяк Андрей Щекалев сам приехал в дом Строгановых в столице, где уже все было готово к встрече хозяев. Подарки от Строгановых принял с благодарностью, прикинув в уме: хватит ли дочерям на шубы. За трапезой рассказал кое-что из столичных новостей, но больше говорил о царе, который последнее время находился в хорошем расположении духа. Он уверил их, что непременно днями пришлет нарочного к Строгановым. Но прошла неделя, а нарочного все не было. Благословясь, сами поехали на царский двор.

Увидев их, дьяк обомлел. С минуту сидел, моргал глазами. Подобострастно поклонился. И тут же пошел докладывать.

— Государь Иван Васильевич, купцы Строгановы по вашему приказу приехали.

— Строгановы? — переспросил царь и оживился, вспомнив опустошенную царскую казну.

Строгановы были в дорогих красных кафтанах с высокими воротниками, расшитыми дорогими камнями, в красных сапогах с расписными узорами. На пальцах массивные кольца. Поясно поклонились царю. Он не без зависти отметил румяные лица братьев, лоснящиеся, густые, подстриженные волосы и бороды.

На лице государя, желтом и морщинистом, блуждала непонятная улыбка, казалось, с губ его должны были сорваться грозные слова. Четыре оруженосца в белых одеждах, расшитых золотом, с секирами в руках охраняли царя.

— Как здравствуете, почтенные купцы? Хороша ли дорога? — спросил царь.

Переведя дух, один из братьев ответил:

— Зимняя дорога хорошая. На ямских ехали от Перми.

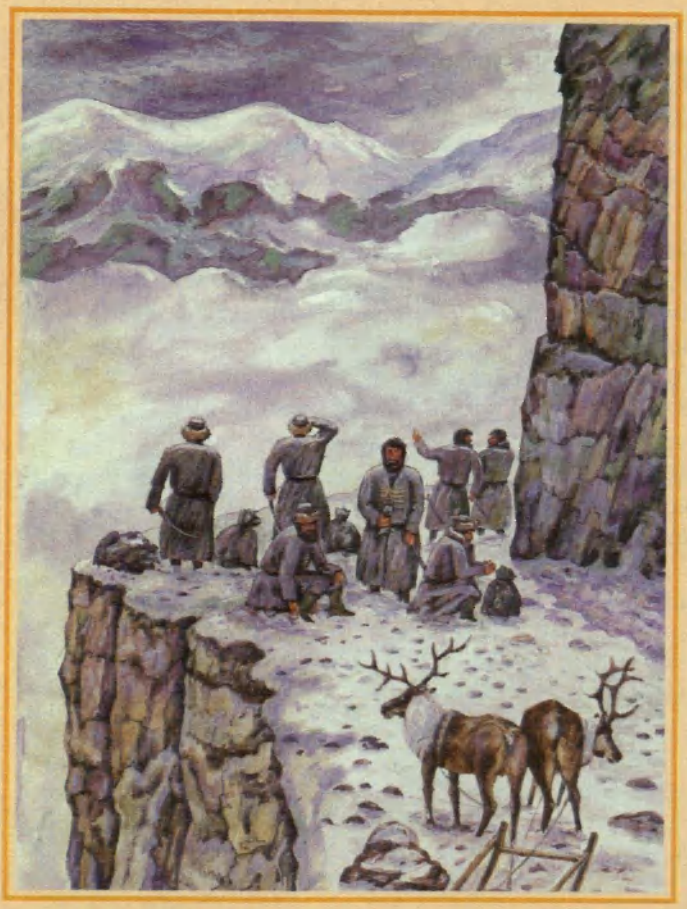
— Хорошо ли в Москве живете?

— Живется-то, батюшка, слава Богу, да домой торопиться надобно. Везде ведь глаза хозяйского не хватает. Для кажного сезону свои заботы. Телеги-то зимой ладят...

Дьяк Щекалев от робости все потел, постоянно обтирал лицо и лоб большущей ладонью, он боялся лишних слов братьев.

— Слышно здесь — английские купцы судами приплывают в Холмогоры. Ответствуйте, — строго сказал царь, поправляя на голове царскую шапку.

Узкая тропа, по которой они
поднимали к перевалу свои ладьи,
извивалась среди скал
и гигантских елей.



Изможденные нелегкой ходьбой
и искусанные комарьем, ратники
расселись на крутых отрогах и валунах
и долго молчали. Бескрайний
величественный вид каменистых вершин
вызывал страх.

— Один вред торговым людям от английских купцов, — ответил Григорий и зажмурился, не зная, правильно ли ответил.

— Они пошлины не платят, — спасая брата, продолжил Яков. — За имя глаз да глаз надо, да и суда иметь такой же крепости.

— А у Строгановых нет судов?

— Есть, батюшка, да не таки. У нас более речные, а у них по морю-океану ходят.

— А я слыхивал, суда ваши сильные, не хуже английских.

— Чего они хуже-то будут? Руки у наших мужиков покрепче ихних и половчее. Токмо морских вожаков нету. Тама ведь тоже ходить надо умеючи. Они в наших лесах заблудятся, а вот наши суда в энтих волнах потеряются. Потому и не связываемся с ними.

Царь рассмеялся.

— Позвали мы вас в Москву ради того, чтоб узнать: отчего доходы от меховой торговли уменьшились? Либо наши воеводы воруют? Либо строгости мало?

— Государь наш, Иван Васильевич, — осмелев, заговорил Григорий. — Точно нам те дела не ведомы. Наше дело соль варить. Говорят, в каком-то годе мор зверя убил. Может, зверья меньше и родилось. Да и дорога к вогуличам, за Камень, длины немеряной. На лошадях так только через Чердынь, через Вишерский волок и лодками по речушкам, пока до Лозьвы-реки дойдут.

— Город надо ставить на той реке, — сказал царь. Строгановы кивнули в знак согласия. — И надо новую дорогу искать. Чердынь, Вишера да Камень — сколько лошадей-то надо!

— Дорога долгая, — согласились Строгановы, хотели было сказать о разбойничьей татарве, но смолчали. Опять же им, а не кому другому будет дано приказание

унять их. — А насчет воевод, — сказал Яков и посмотрел на дьяка, — пока за руку не поймаешь — не закричишь: вор! — И тут же добавил: — Ежели государю всея Руси для великих дел деньги нужны, то мы, Строгановы, всегда готовы. Верим, за царской милостью не пропадут наши денежки...

Уезжали из Москвы купцы Строгановы с почестями. Дьяк Андрей Щекалев в тот же вечер приехал к Строгановым как ни в чем не бывало. Успокоившись, освободившись от душевных волнений, рассказал им новость: государь, узнав об измене татарского хана Аблегирима, распорядился ставить городки и крепости за Камнем и посылать туда воевод с отрядами казаков для отпора татар и поимки неверного изменника.

— Тогда уж и хвоста собольего не украдут. Вся сибирская пушнина через выставленные таможни проходить станет. Сразу и пополнится царская казна! — почти в голос сказали братья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Бушевавшая вьюга на три дня задержала есаула Осипа на заимке Анисима. «Ждать да догонять — хуже некуда», — говорил есаул, прикидывая в уме, что обоз уже мог бы миновать Ивдельскую сопку.

Сторож Антошка Першин высказал есаулу сомнение по поводу того, что стрельцы вряд ли станут слушаться этого щуплого сотника Григория Елизарова.

Есаул Осип не любил выслушивать всякую напраслину. Он тут же пресек Антошку:

— С чего ты это взял? Какая сорока тебе на хвосте принесла, что Григорий Елизаров не управится со стрельцами?

Антошка свое: мол, видно птицу по полету.

— Про какой еще полет говоришь? Ежели давно в этих краях обитаешь, так слыхивал, наверное, про городок супротив горы Медведь-Камень?

Антоша, чуть помедлив, спросил:

— По Тагильскому волоку?

— Григорий Елизаров в этом городе сотником был. Правда, оставлен был тот городок, но голой рукой Григория Елизарова не возьмешь. Коли человек знает цену

жизни, то ради нее служить станет на совесть. Мал, да умен.

В это время вдали на реке показались черные точки. Осип потер кулаком глаза, пристальнее пригляделся к дали: «или глазами стал слаб, или там кто-то», — и показал рукой.

— Вогуличи! — уверенно сказал Антошка. — Эко сколько нарт бежит, — и приложив ладонь ко лбу, стал всматриваться. — Это не охотники с пушниной. Это, поди, с Пелыма. Поди, дале нас, на Сосьву, откочевывают. Охотники сказывали: от татарвы житья не стало, паули жгут, убивают малых, берут в полон девок и баб.

— Ты сам-то с вогуличами не разговариваешь?

— Я-то? — сконфузился Антошка. — Когда не мог договориться, к Пелагее шел, теперича уже не хожу, сам умею.

Между тем упряжки подбегали к заимке, а конца нартового обоза не было видно.

— Стрельцов сюда надо более. Пищалей. Ко мне приезжали вогуличи с Конды, так небывалое дело: колчаны полные стрел, луки большущие. Они сказывали, что пелымского князя Аблегирима, его старшего сына Тагая да внука Чуета приманил татарский князь Кучум. Пустить бы бунтарскую стрелу, да лозьвинский князь Суклём стар.

На берег торопились все жители заимки: стрельцы, Анисим с Пелагеей и ребятишками — мал мала меньше, обозники, Дарья с Афоней. Сгрудились пришедшие девки.

Нескрываемое удивление было у всех, кто впервые увидел эту красочную картину: белые, серые большегрудые и большерогие олени, впряженные по трое в легкие нарты. Нарты были нагружены оленьими шкурами и домашним скарбом.

Поравнявшись с заимкой, передние нарты остановились, с них донесся какой-то своеобразный крик. Из длинного ряда отделились две нарты и направились к берегу.

Большерогие быки-коренники, утопая в снегу, тяжело дыша, выставив языки, вбегали на берег. Неистово лаяли собаки. Седоки соскочили с нарт и вели коренников за упряжь.

— Пася, пася! — кричали вогуличи, одетые в большие оленьи савики, капюшоны которых были откинуты на спины. Бросилось в глаза яркое разноцветье узких скрученных крапивных нитей, вплетенных в косы. Эти незатейливые украшения придавали вогуличам какую-то сказочность.

Анисим, давно научившийся разговаривать с вогуличами, тем не менее велел Пелагее быть рядом. Вогуличи заговорили враз одинаковыми глухими неторопливыми голосами. Они говорили о том, что Аблегирим с Тагаем и Чуетом сам приводит татар в паули и сжигает их. А теперь они держат путь на Манью-реку или на Сыгву. «Аблегирим ум терял», — перевел Анисим Осипу сказанное высоким вогуличем с широким румяным лицом и черными живыми глазами.

— А еще ходил под рукой нашего государя, — с горечью сказал сотник Григорий Елизаров. — Ежели так, то несдобровать Аблегириму, государь измены не потерпит.

В словах, быть может, не досказанных вогуличами и скупо переведенных Анисимом, чувствовались тревога.

И тут один из вогуличей спросил Анисима:

— Суклём не идет на Манью-реку? Суклём не боится Аблегирима? — И сам же ответил: — Суклём будет долго сидеть на Пониле. Суклём знает: руси

близко. Суклём знает — у руси есть пушки, сабли. Аблегирим боится руси.

— А еще кто-то сомневался: зачем сюда пришли стрельцы, — сказал сотник Григорий Елизаров.

Вогуличи без особых слов расставания повернули обратно и помчались к нартовому обозу, дожидавшемуся их возвращения. Упряжки побежали дальше. Сосчитать их никто не мог — бежали они до самого захода солнца.

Опытный сотник Григорий Елизаров надолго впал в задумчивость. Он понял, что вогуличей силой выгоняют из родных мест, а значит, спокойно жить на Лозьвереке не придется.

— Надо торопиться в Чердынь, — сказал он есаулу Осипу, которому не понравилось такое заключение сотника, но и возразить он не мог. — В Чердыни должны все знать о переселении пелымских вогуличей. Надо укреплять заимку и ставить острог. Здесь единственная дорога из России. Придет сюда Аблегирим с татарами, попробуй потом показать нос за сбором ясака. — В словах сотника была правда.

В обратную дорогу обоз вышел спозаранку. С обозом пошел и Михайло Пугач, сумевший перевести корову через Камень. Прощаясь, он наказал Лукерье кормить и поить его корову, как свою. Истосковавшись по ребятишкам, он торопился успеть привезти их сюда на заимку.

— Усажу в плетеный короб, закрою лопотиной и довезу. Им на заимке Анисима с ребятишками весело будет. Я теперича и один могу на своей лошаденке доехать. Заодно на Вишерском волоке Феокстисту постряпушки от Пелагеи передам, — рассуждал мужик, похлопывая меховыми рукавицами и прислушиваясь к этим равномерным звукам.

Стрельцы, не теряя ни дня, уже срубили для себя невысокую избу с лавками для спанья и с лапником на полу вместо плах. В первую ночь чуть было не угорели от оттаивающей на бревнах коры, которую на морозе невозможно было отодрать от ствола.

Заимка опустела, но округа наполнилась стуками топоров. У стрельцов был урок «ронять в день по десять бревен» каждому, это было нелегко. Сотник Григорий Елизаров первую седмицу работал сам и первым повалил в бору желтоствольную красавицу. Медленно падая на землю, сосна затрясла заснеженными ветками и рухнула в глубокий мягкий снег, подняв в воздух миллиарды снежинок, которые окутали округу белизной сверкающих искр.

На обратной дороге есаул Осип больше лежал на сене на санях-розвальнях, укрывшись овчинным тулупом. Другие подводы, кроме груженных ясаком, шли налегке, и обозники уже меньше меряли соболиную дорогу шагами.

До Вишерского волока, как говорил есаул, «домчались лихо». Остались позади вершины и ущелья Великого Камня. Впереди их ждал снежный простор и дали равнинных русских земель с милыми сердцу сеновозными дорогами, покосами, стогами еще не вывезенного сена, утлыми избенками деревень, запахом дыма и печеного хлеба.

— Завтра и Вишерский волок. Я тута бывал, — с облегчением вздохнул возвращавшийся в Чердынь захворавший стрелец. — Тута рукой подать! Перевалить Вишеру, и совсем рядом устье Колвы и Чердынь!

На ночь не остановились. Лошади шли размеренным шагом. Под копытами хрустел промороженный снег, полозья поскрипывали монотонно, под этот однообразный звук клонило в дрему. Луна царствовала на небе,

выгнала с него все тучи и звезды. Неожиданно на зорянке разнесся пронзительный свист с передней подводы. Свистел Данила.

— Али мне мерещится? Али вправду столько подвод прошло по реке? Дорога-то вся укатана, — сказал он есаулу, показывая на наезженную колею.

Осип, пробудившись, нащупал под сеном саблю и прицепил к поясу. Обозники шли, пристально рассматривая следы саней, конских копыт, следы мужицких чоботов.

За поворотом стояло невиданное число груженых саней. Распряженные кони были привязаны к возам с сеном, которое мирно жевали. Послышалось громкое ржание. Сивая кобыла, обнюхивая широкими ноздрями воздух, вдруг разинула губастую пасть и заржала, обнажив большие желтые зубы. Залаяли собаки, проспавшие приближение обоза. Поодаль, куда только можно было бросить взгляд, везде стояли подводы.

— Откель? — раздался громкий голос, и из темноты появилось несколько фигур.

— С Лозьвы-реки, — ответствовал есаул Осип.

Воевода Михайло Иванов с обозниками ночевал в опустевшей избушке Феоктиста, которого недавно увезли в богадельню Чердынского монастыря. Воевода был направлен царевым приказом из Вологды на Лозьву-реку ставить острог. Осипа встретил он приветливо.

— В Чердыни только переночевали, справили молебен и пошли за Камень, — рассказывал он Осипу. — Бог послал нам встречного. — По всему было видно, что Михайло — боярского происхождения: одежда на нем была из дорогого сукна, шапка, тулуп, обутки справлены мастерами, да и повадки — не просто служивых

людей, а было в нем нечто благородное, что дается человеку от рождения.

На постланной скатерти стояли не березовые чуманы или глиняные черепки, а кружки с расписными петухами, большой медный чайник с изогнутым, как у утки, носиком и еще какие-то диковинные для есаула предметы. Да и еда была навалена не как попало, а все, начиная от хлеба, сала, вареного мяса, было нарезано ровными ломтями. Вино искрилось в большом штофе, рядом соленые огурцы, капуста и моченые яблоки. Хлопотал за столом служивый с круглой золотистой бородой и такими же закрученными вверх усами.

Воевода, не уставая, задавал Осипу вопрос за вопросом. Узнав, что пелымские вогулы откочевывают по Лозьве-реке на Манью и Сосьву, заговорил о необходимости постройки острога.

— Лозьва-река имеет судовой ход? — спросил Михайло.

— Бог ее знает. Мы ведь в морозы были, но берега далеко друг от друга. Наверно, имеет большую глубину. Анисим не сказывал про суда. Обмолвился как-то, что, мол, ушкуйники с Сосьвы спускались карбасами в шесть-восемь весел.

Просидели они до полудня, говорили и о том, что хозяйничает там пелымский князь Аблегирим, перешедший на службу к татарскому хану Кучуму.

Об измене Аблегирима в Москве узнали не сразу, а только тогда, когда пришли на него жалобы. Дьяк Андрей Щекалев выждал подходящее время, чтобы сказать государю об измене Аблегирима.

Царь всея Руси Иван Васильевич находился в страшной немощи по причине смерти своего наследника — сына Ивана. На кого ему излить свой гнев, тут надо было

гневаться на себя самого. На кого больше? Самому себя судить — нет большей кары. Остается только каяться да молиться о спасении души. Не вернуть назад того, что случилось. Разве мог он подумать, что от удара посохом его сын, во многом похожий на него, умрет на его руках через три дня. Мало ли он прохаживался посохом по головам и спинам приближенных?! Не смог государь снести обиды и гнева на сына, который вступил в тайную переписку с польским королем Баторием, пообещав ему после смерти отца пойти на уступки и отдать часть российских земель. Мог ли снести такие «насмешки» Иван Грозный от собственного сына, явно дожидавшегося его смерти?

После смерти сына всякое сказанное невпопад слово вызывало у него настоящую истерику, и мало кто брал на себя смелость говорить с ним о каких-либо неприятностях, изменах или предательстве. Поэтому в величайшей тайне было писано письмо в Москве к воеводам Вологды, Чердыни и самим хозяевам пермских земель Строгановым послать на Лозьву-реку по пятьдесят ратных людей «с ратниками и с луками с кремли и со всяким ратным боем». Зная строгановские богатства, им было дописано: «Пятьдесят человек с пищальми и с рогатинами и со всяким ратным боем и тот час добрых молодцев и просужих, которые б стрелять были горазди, и ратное дело знали... и отправить на Лозьву, а не отпустите тех пятьдесят человек вскоре, тот час замешкаете, и вам от Нас быти в великой опале».

Михайло Иванов, узнав, что на Анисимовой заимке оставлено по указу чердынского воеводы десять стрельцов, спросил:

— А что они одни сделают?

— Посланы лес ронять те ратники. А снегу там до пупа. Три избушки, снегом заметены до самых крыш.

— Так надо было пятьдесят стрельцов послать, — читая письмо, сказал воевода.

— Да откель в Чердыни пятьдесяти-то взяться?

— То должна голова у воеводы болеть.

— И так болит, — защитил есаул воеводу, вспомнив слова Мефодия Гришкина: «На вас послать рать и вострая сабля». — Сотником с ними Григорий Елизаров.

— Григорий Елизаров? — переспросил, оживившись, воевода. — С Тагильского волоку?

— Того не ведаю, кажись, оттуда. Али там бывал?

Взгляд воеводы повеселел, имя сотника Григория Елизарова было среди ратных людей на слуху.

Михайло только добавил:

— Тогда там точно дело делается. Этот не усидит.

В крохотное оконце чуть пробивался свет. Трещала, догорая, воткнутая в расщелину между пазами бревен лучина. Служивый с золотистой бородой, ловко выдернув ее, подпалил другую, бросил огарок в горевшие дрова в очаге. Заурчали, залаяли собаки. Скоро одна, жалобно заскулив, убежала в избушку, видно, кто-то из мужиков пнул бедняжку.

— Вы-то, считай, уже дома, — сказал воевода. — Чердынь — уже своя, обжитая земля. — И сразу неожиданно спросил: — Нет ли кого из обозников, кто согласился бы вернуться обратно, дорогу показать?

Осип, представив дорогу от Вишеры до Лозьвы, почесав в затылке, полюбопытствовал: «А жалованье како будет?»

— Счет государев: рядовым по рублю на человека, сотникам по два рубля. А коли кого пошлешь со мною, то сразу на довольствии будет, да еще по рублю прибавлю.

Осип держал думу про обозника Данилу, он заметил, как тот завидовал Афоньке, хотя и словом не обмолвился.

— Поговорю с одним, есть на примете.

Надо было видеть счастливое лицо Данилы, узнавшего о просьбе воеводы. Михайло Иванов тоже был искренне обрадован.

— Надобно плотников. Не все стрельцы умеют как надо топор держать в руках. Может, взять в наем вогуличей? — на прощание посоветовался воевода с Осипом.

Тут есаул понял, что, отправляясь за Камень, воевода совсем ничего не знает о жителях той стороны. Вогуличи — народ лесной, их стихия — леса и озера, рыбалка и охота. Топоры они меняют на меха и умеют ими пользоваться едва-едва.

— Какие оне плотники! — только и сказал, махнув рукой, Осип. — Могут разве что жердину срубить...

Приперев дверь Феоктистовой избушки, обозы разъехались к полудню. Все надеялись, что пустовать она долго не будет — скоро пришлют сюда из Чердыни сторожей и плотников ставить сараи. Свято место пусто не бывает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Отряд стрельцов с воеводой Михайлой Ивановым шел по Лозьве-реке в полной амуниции, с припасами. Стояли крещенские морозы. До заимки Анисима дошли с великими трудностями, по дороге многие обморозились: у кого щеки, у кого нос, у кого уши. Мороз касался незаметной, невидимой рукой.

На заимке главным лекарем оказалась Пелагея. Гусиного сала у нее было в избытке. Каждому стрельцу, дав по гусиной шкурке, велела снимать с нее маслянистый жир и мазать обмороженные места.

С воеводой такой беды не случилось: приставленный к нему стрелец Данила сразу учуял, с какой стороны дует жгучий морозный ветер, и доставил воеводу в целости.

Долго отдыхать стрельцам воевода не дал, отправил их с Григорием Елизаровым ронять лес, а сам решил оглядеть с Анисимом берега, чтобы исполнить приказ: «На чертеже начертить и всякие крепости выписать». Анисим приготовил для воеводы широкие охотничьи лыжи и повел в бор, в западную сторону от устья заимки, на самый возвышенный берег Лозьвы-реки, где когда-то поселились они с Пелагеей.

Анисим уже ходил медленно, часто останавливался, набирал полную грудь воздуха и смотрел на сосны, которыми не уставал любоваться.

«Еще в прошлом годе ходил сюда на глухариное токовище! — подумал он. — А ноне стрельцы разгонят всех глухарей. Птица покой любит». Рассуждая так, Анисим сокрушался, что теперь придется ему ходить на дальние токовища, а сил-то становится все меньше. Вот и теперь, на лыжах, где раньше любой нырок перепрыгивал махом, сейчас останавливался, смотрел, будто видел впервые.

По лыжному следу их догнали Григорий Елизаров и пришедшие с воеводой Костя Заруба и Ленька Шаров. Место на высоком берегу понравилось всем.

— Да мест тут таких полно! — заключил Анисим. В душе он был не очень доволен тем, что на его заимке стало шумно и беспокойно. «Если обозники как пришли, так и ушли, то эти останутся надолго».

— Нечего мудрить, — сказал Михайло. — Здесь будет строить. — Слово его было последним.

Округу наполнил звук топоров.

Михайло, приглядываясь к здешним местам, рассуждал: «Я хоть и воевода, да не тот. Заглавный воевода будет прислан из самой Москвы, княжеского чину. Ему поставим избу просторную, с горницей, высоким резным крыльцом. Но и себе поставим избы не хуже. И сразу же церковь зачнем рубить да дом для священника. Супротив общих изб поставим ссыпные амбары для хлеба, поодаль склад для пороху. Зачнем рубить город из поваленных бревен, красу соблюдем летом. Если понадобится, перекатаем, на мох поставим, а пока строить и строить. Со стенами с земляной засыпкой вокруг повременим, с городнями — тоже. И шестигранные башни ставить пока не будем, погодим».

Первым делом стали рубить избу для воеводы. А дальше работа началась, как обсказано было. Объезжать и осматривать лозьвинские берега воевода Михайло решил на лошадях. Поход на лыжах, как заключил Анисим, ему не понравился. По округе он ездил с сотником: они вместе облюбовывали места для строительства судов, коновязи, кузницы, складов разных припасов, товаров, которые станут зимами доставляться сюда, на берега Лозьвы-реки.

Об Аблегириме на заимке узнать было не у кого. Вогуличи проторили тропу, минуя заимку, прямо к складу Антохи.

Если раньше обозы прибывали только для сбора ясака, то новый воевода не обмолвился и словом о сборе пушнины, будто дело это пустяшное. По крайней мере, так думал Антоха, хотя и имел желание поговорить с воеводой, которому вогуличи часто рассказывали об Аблегириме, о том, что он велит вогуличам точить много стрел, варить клей и делать крепкие луки. Сам Аблегирим, как татарин, стал ездить верхом на лошади.

Стоило воеводе спросить у Анисима об Аблегириме, как тот сразу сказал: «Антоху надо спрашивать, тот все знает».

Антоху к воеводе все-таки позвали. Накануне он велел конопатой Груньке, которая не каждый день, но забегала к нему, постричь ему волосы да пришить у рубахи рукав. Бурча, он говорил ей:

— Теплая ты баба, Грунька, да на глазах у тебя будто шоры у лошади — ниче не видишь. Все надо говорить, во все тебе надо пальцем ткнуть. Давно бы могла рубаху выполоскать, а то от нее пахнет. Это не всякому нравится, а тебе все равно.

Грунька после таких слов плакала, но все равно мало что замечала. Идти к воеводе Антохе не хотелось: вчера

пополудни, по указанию воеводы, в наскоро поставленных для лошадей конюшнях была сколочена из тонкого березняка лавка, на которой стрельцы плетками лупили одного из своих дружков по голой спине со всего плеча. Так хлестанули, что сразу в трех местах кожа лопнула. Таких страстей на заимке не бывало, хотя стрельцу было за что нести наказание: тот по злобе на товарища сжег в бане все его белье и оставил в чем мать родила. Тот двое суток просидел в бане, боясь людских насмешек. А как про все стало известно воеводе, то он сразу и применил свою власть. Пострадавшему миром-собором нашли кое-какие пожитки, а тому всыпали десять ударов. Больше всех это возмутило Анисима. Такого лихоимства на заимке никогда на бывало раньше. И он решил поговорить с воеводой.

Воевода жил в стрелецкой казарме, вымытой и вычищенной до блеска стрельцами. Сами же они ставили себе новую из ледяных бревен, коротая ночи кто где. Воевода принял Анисима приветливо. Золотобородый стрелец знал, что поставить на стол, но Анисим, поздоровавшись, не прошел дальше порога, а воеводе сказал:

— На заимке пока хозяин я и такого тиранства видеть не хочу. Поставите свой острог, тогда делайте все по вашим порядкам. — Он постоял еще немного и добавил: — Робята экую страсть видели, — повернулся и ушел.

В словах Анисима была правда, и воевода Михайло осознавал, что наказание могло быть и не таким суровым — не больно велика провинность стрельца. Но что случилось, то случилось.

Антоха не знал о разговоре Анисима с воеводой и шел к нему волнуясь: за ним была вина — целых пять сороков соболей он припрятал. Но воевода о соболях не

вспомнил, а заговорил об Аблегириме. Антоха стал рассказывать то, что слышал от вогуличей. Мол, не будь здесь стрельцов, Аблегирим, или его сын, или внук пришли бы сюда давно, сожгли бы заимку и убили всех. «Кой отец не шел с Аблегиримом, был зарублен его сын, где сын не шел, зарубался отец. Где отец был зарублен, сын плачет, где сын был зарублен, отец плачет». Вогуличи сами привозят своих дочерей татарам, так велит им Аблегирим. Рассказанное Антохой позволило воеводе понять опасения людей перед силой пелымского изменника. «У татар еще сила немалая», — думал воевода, торопясь укреплять берега.

К счастью, нежданно-негаданно к заимке подошел еще один санный обоз, груженный хлебными запасами, пищалями да порохом. Это все, как понял Анисим, было воеводское хозяйство: «Знать, в столице ведомо о набегах Аблегирима».

Обозники долго задерживаться не могли, боялись, что скоро раскиснет дорога, но и поворачивать назад сразу не было желания. К тому же надо было для привезенных припасов поставить частокол. Антоха сказал воеводе:

— Ежели оне станут ставить свои запасники возле меня, то вогуличи забудут к нам дорогу. Пущай ставят на Лозьве-реке, а мой как был на Ивдели, так пущай и стоит». — Михайло похвалил Антоху за сообразительность.

Вятич, сопровождавший обоз, представившись купцом Павлом Бородиным, передал просьбу вологодского воеводы, который велел сказать, что через Вологду прошел отряд на Лозьву-реку в пятьдесят казаков с княжеской свитой, а постоянным воеводой назначен сюда Иван Григорьев сын Нагой. И еще добавил: идет отряд не спеша, с частыми остановками.

Княжеский род Нагих был большим, и многие уже были приближены к царскому двору, так как Мария Нагих была женой государя. Иван Григорьев сын Нагой был молод, недурен собой: на многих производили впечатление его большие красивые глаза. Отец, зная о нужде в воеводах, посоветовал сыну идти на новые государевы земли за Великий Камень. Долго уговаривать княжеского сына не пришлось. Отряд из казаков был готов, припасы собраны, охрана и прислуга предоставлены. Тарантас с сильными астраханскими конями был наготове. Правда, астраханские кони не отличались красотой: узкобрюхие, с тяжелыми головами, короткой шеей, зато крепкие, выносливые, быстрые. По пути следования были высланы гонцы, возвещавшие всем воеводам о поездке за Камень племянника самой московской царицы — Ивана Григорьева сына Нагого. Гонцы везли царские указы в Устюг, Усть-Вымь, Чердынь о прибавке к отряду по двадцати служивых. Из Перми в острог Новый Лозьвинск было велено взять священника, дьяка и им подмогу. «...Взяв образа и книги и все церковное строение... и церковь осветити».

Наблюдая в течение более чем двухмесячной езды жизнь окраин, Иван Нагих проникся сочувствием к людям столь отдаленных земель. Но он еще не представлял, какой жалкой и убогой покажется ему жизнь за Камнем. Проезжая за Вишерский волок, он вспоминал те страсти, какие слышал в Москве о жителях закаменной стороны: будто они могут превращаться в волков и медведей, убивать себя и оживлять, могут так «присушить» к вогулке, что совсем потеряешь ум и станешь похожим на тех дикарей.

Казалось невероятным кого-либо встретить в этих снегах: даже в отдалении не пролетала ни одна птица, не

пересекал дорогу ни один зверь. Можно было видеть только многочисленные узоры на снегу — следы пробегавших зверьков.

— Соболи-соболики тропки торят, — говорили знавшие толк в охоте вятичи.

И какова же была радость, когда им на пути встретился обоз! Мужики засвистели, закричали друг другу издали. Лошади прибавили шаг, стряхнули иней с челок и грив. Нельзя было разъехаться, не отведав гостинцев с обеих сторон. Кто доставал оленье мясо для строганины, кто рыбу, кто пироги с рыжиками, шаньги мороженые с творогом и яйцами, круги намороженного молока. Да непременную чарку медовухи. Уж выпить хмельного русский мужик горазд! Был бы только повод.

— Вокруг скуснятина, — говорил казак, облизывая побелевшие обветренные губы, — глоток глотнешь, легко станет, будто сам Христос босиком пробежал.

— Сразу вся кровь разобьется, а в руках и ногах сила появится, — поддержал его другой. — В башке ангелы пошевелятся, — дополняли другие, дожидаясь заветной чарки.

Кланяясь молодому воеводе, который так и не вылез из тарантаса, брали под уздцы лошадей и помогали снежной стороной объехать обоз.

— Каково тама? — громко полюбопытствовал кто-то, показывая в сторону бора.

— Покуда топоры стучат.

— А че девок с собой не везете? — спросили обозники. — Тех, что пришли из Чердыни, уже всех разобрали в жены. Без них тута тоска.

«В буйну голову твоя чарочка ударила, на щеках моих румянец выгорел, русы волосы на головушке высеклись, в очах горючие слезы высохли», — орал во всю силу

возчик, еле вытаскивая ноги из снега. И не ведомо, слышал ли кто его с передыхом пропетые слова или только самому и были они дороги.

Анисим, как всегда, зазвонил в колокол, приветствуя прибывших. Лукерья тащила на берег каравай хлеба с щепотью соли в берестяном черпаке. Тарантас многие увидели впервые. Из него молодой воевода вышел сам, служивые только помогли ему снять большую енотовую шубу, и поясно поклонился всем. Такой жест молодого воеводы вызвал в душах жителей заимки оторопь, чердынские бабенки не могли скрыть слез. Вместе с воеводой прибыл и священник. Он был высокого роста, крепкого сложения, На длинную рясу был накинут овчиный тулуп.

У воеводы Михайлы, сотников и Анисима была забота: куда поселить нового воеводу.

— Не в стрелецкое же жилье! А в срубленном доме на берегу Лозьвы нет еще ни окон, ни дверей, — сказал воевода Михайло.

Нашелся Анисим:

— Моя изба самая большая и теплая, а мы в старую халупу уйдем. Тама у нас и очеп не стучит по потолку. Всех ребят тама вынянчили. Скоро летние дни. Каждый кустик ночевать пустит.

— А Пелагея-то согласится? — спросил Михайло.

— Пелагея не куражливая и старую избушку боле любит. Тама пока Афонька с Дарьей, так оне к Лукерье уйдут или в землянку к Пугачу.

— Князь, он во всем князь! И в рубище — все едино князь! — заметил Михайло. — Служки при нем такие смиренные, прямо в рот глядят, каждое слово ловят.

В вымытой, хорошо протопленной избе Анисима было тепло. После тысячеверстной дороги в промерз-

шем тарантасе по бездорожью изба Анисима показалась новому воеводе раем. Бухнувшись на деревянный настил, застланный оленьими шкурами, он тотчас уснул, не проронив ни слова. Тепло сморило и прислугу, но они, привыкшие слышать любой позевок хозяина, спали чутко, как птички на ветке.

Ближе к полуночи, когда воевода повернулся на другой бок, спальник Семен, которому нашлось место за загородкой, вытащил из-под княжича меховой кожух, оставив на нем лишь кафтан.

На заимке только и говорили, что о новом воеводе. Всех восхитило его одеяние. Они, носившие чуни да армяки из сермяжного сукна, лапти или чоботы-опойки, готовы были ощупать каждую ниточку, каждый стежок на одежде молодого воеводы. Особо, конечно, дивились бабы.

— Экий голубь залетел в наш курятник, — вздохнув, хохотнула Дарья.

Пришли долгожданные солнечные дни. Солнце поднималось высоко и посылало на землю такие солнечные иглы, которые до самой земли прокалывали слежавшиеся снега, делали их темными и ноздреватыми. Особенно трудно в такое время приходилось лосям и оленям. Проваливаясь по грудь в снег, они становятся добычей волков. Да и человек далеко не уйдет. Разве только на широких охотничьих лыжах. Прилетело воронье, закружило над жильем, заорало в борах, учиняя ссоры. Лес потемнел, набухли от талых вод почки на березах, но еще не распустились во всю красу, опасаясь капризного ветра — северко. На плешивых проталинах ощетинились новой порослью травинки. Лес разговаривал каким-то весенним голосом. На солнцепеке стволы кедрачей и сосен покрылись мелкими каплями прозрачной смолы. От поваленных деревьев округа наполнилась терпким, душистым запахом.

Воевода Иван Григорьевич, обходя начатые постройки, был доволен стараниями Михайлы Ивановича. Отец Евлампий, приехавший одним обозом с воеводой, подсказывал плотникам, как лучше поставить звонницу, повесить колокол. Церковь освятили, как и предписывал Пермский владыка, во имя Святой Троицы.

Вскорости острог на Лозьве-реке стали обносить двойными рублеными стенами с городнями, с шестигранными башнями с бойницами по углам.

Не без опаски встав на лыжи, Иван Григорьевич в сопровождении двух казаков перешел на противоположный берег Лозьвы-реки, где слышался визг пил, распиливающих толстостволые сосны на доски для постройки лодок. Строили судоверфь. Здесь каждому нашлось дело: кто строил лодки-колданки, кто конопатил борта, кто на кострах разогревал деготь.

Воеводу тревожило известие Антохи, сборщика ясака, что приезжавшие со стороны Ивдельской сопки вогуличи бежали на Сосьву от Аблегирима, который, ничего не страшась, устраивает набеги с татарами на Камуреку, зорит городки богатых людей Строгановых, ломает и жжет варницы.

К Лозьвинскому городку — так стали именовать острог после возведения церкви — был направлен храбрый Чердынский воевода Никифор Васильевич Траханиотов. Торопился он санным путем добраться до Лозьвинска, а затем с первыми льдинами пойти войной на Аблегирима, объединившись с посланной из Москвы ратью князя Петра Ивановича Горчакова.

Только успели они выгрузиться на берег, как рухнул на реках лед. Отоспавшись на заимке, намывшись в банях, стали спускать привезенные с собой ладьи и дощаники на Лозьву-реку. Плыли сначала до устья Тавды, далее к Пелыму.

Лошадьми, санями, подводами с кладью заполнились берега Лозьвинского городка. Думали ли когда-нибудь Анисим и Пелагея, прожившие здесь в одиночестве много лет, что здешние берега застонут от многолюдья?

Время не ждало: славные русские воеводы Петр Иванович Горчаков и Никифор Васильевич Траханиотов с вооруженными казаками отплыли вниз по Лозьвереке, полные надежд, что из Лозьвинска, в случае чего, придет подмога.

Провожали суда под звон колоколов Троицкой церкви. Анисим, взобравшись на звонницу, увидел с высоты всю заимку, дымившиеся костры на противоположном берегу судоверфи, пасущихся вдалеке лошадей. «Экое многолюдье!» Обозами до тысячи душ торили санный путь к Лозьвинску. Прижившиеся на заимке жители говорили: «Теперь надо токо глаза да глазоньки!»

Лозьвинский воевода Иван Григорьевич Нагой объезжал ивдельские и лозьвинские берега. На коне казался богатырем, спустившимся с небес, так, во всяком случае, говорили о нем вогуличи, приезжавшие к Антохе.

Воеводский дом достраивался. На окнах появились узорчатые наличники. Отец Евлампий с дьяком и помощником давно обжили церковные кельи. Склады заполнились кладью. Сотники и стрельцы жили в остроге, только женатые оставались на заимке, не желая ссоры со стрельцами из-за их «жеребячьих» взглядов.

А места вокруг — красоты неописуемой. И не зря все живое тут жило в покое и сытости. От перелетных птиц на здешних озерах не было никакого покоя. С первыми лучами начиналась птичья говорильня: кряканье, котканье, пурхание крыльев. Птичий гомон замолкал только тогда, когда солнце скатывалось за лес. Но зато

комариные полчища не давали покоя ни днем, ни ночью. Собаки скулили, лошади ржали, лесной зверь, выбегая из леса, забредал в воду, люди жгли костры, забрасывали их корой с ошкуренных сосен и пускали едучий дым. Только он отгонял эту кровососущую тварь. Дымящиеся головешки шаяли круглые сутки.

Со временем, обустроившись, Лозьвинский острог и заимка зажили обычной жизнью русских поселенцев, со своими заботами и радостями.

Ох уж эта Лукерья с прилипшим к ней прозвищем Трефовая дама! Никто точно не мог вспомнить, кто обозвал ее так еще дома, в Чердыни. «Дамами» в Сибири никого не называли, а тем более трефовыми. Игральные карты завезли в Россию давно, в Сибири они появились с пришлыми людьми. Во всяком случае, сама Лукерья игральных карт в руках никогда не держала.

Уж больно глянулся Лукерье молодой и пригожий воевода. Поначалу все были ошарашены его видом, одеждой, но потом все к нему привыкли. У Лукерьи никогда не было случая поговорить с ним, но ведь не прикажешь не глядеть на того, кто люб.

Живя с Гринькой, она вовсю над ним верховодила, хотя и знала свое место. Гринька был тих, но раза два за космы ее таскал. Сейчас более всего Лукерья была занята приведенной с обозом коровой, которая поначалу совсем не давала молока. Пришлось оставить рядом с ней пестренького телка, чтобы тот рассосал сморщенное вымя. Зная, что молоко у коровы «на языке», Лукерья ходила между прибывших подвод, брала в руку сено и подносила к носу, стараясь выбрать такое, которое при скошении не попадало под дождь и сохранило все запахи цветущей травы. Кормила свою буренку досыта, поила теплым пойлом. Частенько Лукерья звала к себе старшую дочь Анисима Ираиду — девушку не только

стеснительную, но и боязливую, которой казалось, что Лукерья знает все на свете. Лицом Ираида была так пригожа, что невозможно было и рассказать, как нельзя описать распустившийся цветок, где все едино: и краса, и запах, и сила вроде хрупкого, но крепкого стебля. Особо у Ираиды были хороши волосы — длинная русая коса.

— А че, Ираида, не снести ли нам молодцу воеводе скоромных шанежек? Поди, давно не пробовал? — шутя спросила Лукерья.

Девушка зарделась:

— Тятя наказывал мне далече от дому не ходить и с другими девками не разговаривать.

— Так како же далече? — не унималась Лукерья. — В вашей же избе он живет.

— Знамо. Так гоже ли мне идти?

— А его дома-то цельные дни в избе не бывает. Разве ты не знаешь? Носится на своем жеребце, как вихрь.

Ираида рассмеялась:

— Тятя сказывал: мне можно ходить к Дарье с Афоней, а чтоб с другими мокрохвостками я и рот не открывала, — с откровенной наивностью говорила девушка.

— Много твой тятя видит? Вона стрельцы-то давно тебя заприметили. Когда ты пробегаешь, так они на ровном месте спотыкаются. Шанег я для воеводы напеку, а отнесешь ты.

— Боюсь, — вспыхнула Ираида.

Шаньги получились пышные, румяные. Вкусный дух, казалось, летел по всей заимке.

Постелив на дно сита холщовую тряпицу, Лукерья уложила шаньги рядком и, сунув Ираиде в руки, отворила дверь:

— Беги, неси, пока теплые.

— А че говорить?

— Поначалу поздравствуйся да поклонись, а уж опосля скажи: «на доброе здоровье».

— Боязно.

— Че боязно-то? Завтра воевода, сказывают, в свою избу в остроге перейдет жить. Когда еще увидишь его вблизи. А ведь тебе охота его увидеть?

Лукерья была догадлива. У Ираиды всегда замирало сердце, когда она видела воеводу, ей казалось, что его лицо походит на божий лик, который она видела на иконе в церкви.

— Тятя забранится.

— Откуда твоему тятьке знать про это? Ступай. Я тебя перекрещу. — И почти вытолкнула Ираиду из избенки.

На улице дул ветер, раскачивая гибкие ветки кустарников.

— Коли самого воеводы нету, передай спальнику, — кричала Лукерья в приоткрытую дверь, да так ее и не закрывала, пока девушка не добежала до избы. Она даже не приостановилась возле двери, дернула за кожаную петлю, заменяющую скобу, и очутилась в избе.

К великому ее изумлению, воевода был дома. Спальник вытаращил глаза и разинул рот.

— Ваша милость, Иван Григорьевич, — четко произнесла Ираида, поясно кланяясь, — Лукерья, Гринькина баба, посылает скоромные шаньги. Они еще теплые, токо от загнеты. — Сделав несколько робких шагов, она поставила сито на стол, убрав с него холстину.

— Благодарствую, — поднимаясь с лежанки, сказал воевода, только что вернувшийся из-за реки.

— Отведайте, — сказала Ираида, пятясь к порогу.

Воеводу, конечно, не могли удивить скоромные шаньги, но когда он ел их в последний раз — не вспомнить.

— Погоди! — выкрикнул Иван Григорьевич, догадавшись, что она мигом выпорхнет из избы, как птичка из гнезда. — Ты чья будешь? Откуда взялась?

— Я-то Анисима, — был ответ. Воевода, сидя на лежанке, убирал со лба непослушные пряди густых волос.

— Ответствуй, где он тебя прячет?

— Тятя меня не прячет. Я сама всех боюся. Вот и к вам бежала, так вся дрожала. Кабы не Лукерья...

— Молодчина эта Лукерья, — разгадал воевода хитрость смекалистой бабы. Оказавшись возле порога, он хотел взять девушку за руки, но та спрятала их за спину.

— Семен, — крикнул он спальнику. — Поставь-ка скамейку. Пусть посидит у нас гостья.

— Сидеть не стану, — вскрикнула Ираида. — Коли тятя узнает, браниться будет. — Тут ее рука оказалась в большой ладони воеводы.

— Погоди, — не выпускал он Ираиду. Она только сейчас заметила, какие красивые камни на его красной рубахе, какие красивые кольца на пальцах. Воевода хотел было притянуть ее маленькую гладкую руку к своим губам, но она, выдернув ее, стремглав выскочила из избы.

Над заимкой летели гуси. Их гоготание показалось Ираиде смехом. Она бежал, не разбирая дороги, и плакала, сама не зная отчего. Ох уж эта весна!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лукерья смотрела, как посланная с шаньгами Ираида, выскочив из избы, пробежала возле кустов. «Бог их знает, этих господ, — думала она, — оне, поди, только с виду таки ласковы. А ведь мне Анисим башку свернет, коли узнает, что я натворила».

Набросив на плечи шубейку, Лукерья обежала вокруг изб и спустилась к берегу, поодаль у озерка играли мальчишки Анисима. Со стороны острога доносился стукоток топоров, визг пил, из-за реки тянуло дымом. Ветер сдувал с берегов легкие стружки, и они, подхваченные волнами, медленно раскачиваясь, белой лентой уплывали вдаль. «Столько народу собралось, да все мужичье, — корила себя Лукерья. — Вдруг да какой стрелец пообидет. Они ведь тута, яко жеребцы. Но ведь воевода не чернь какая. На что ему наша Ираида? Ираида тоже хороша, послушала меня, понеслась, как очумелая. То отпиралась идти, боялась, а теперя, поди, рот разинула».

Усевшись на ствол вывороченного с корнями дерева, она не спускала глаз с избушки Анисима, где жил воевода. Конь, привязанный за березовый ствол, помахивал

хвостом, отгоняя гнус, тряс головой, звенел удилами, отыскивая в торбе остатки овса.

Она услышала, как скрипнула дверь, вздрогнула и резко обернулась. Вышел спальник воеводы Семен. Сощурившись от солнечного света, поднял вверх руки, громко зевнул, потянулся.

Лукерья чуть было не бросилась к нему с расспросами, но подумала: «Как никак денно и нощно возле самого воеводы, не какой-нибудь ухарь-стрелец. Обхождения знает разные». Она поднялась с бревна, тяжело, будто ноги отсидела, но разговора с Семеном затевать не посмела.

— Скусные шаньги-то испекла, скусные, — сказал спальник, увидев Лукерью.

Лукерья зарделась, криво улыбнулась. Ее так и подмывало спросить про Ираиду. Семен, расхохотавшись, сам сказал:

— Девку-то каку дикую послала. Воевода-то слова ей сказать не успел, а она, как белка из дупла, выскочила. Погодь тут. Возьми решето-то, — и пошел в избу.

У Лукерьи от радости даже навернулись слезы на глазах.

— Убегла, Иван Григорьевич только руку протянул, — снова заговорил спальник, подавая решето и холстину.

— Почто девку-то за руку брать? — осмелела Лукерья. — Ну принесла гостинцы, завсегда так делают.

— А хороша дикарка-то, — пропуская Лукерьины слова, не унимался спальник. — Экая девка-то! Коса кака толстенна! Князь все допытывал: чья? Да я почем знаю? Эту девку первый раз узрел, да она сама сказала: дочь Анисима. А Иван-то Григорьевич наказал мне узнать, точно ли Анисима она дочь?

— Правда, правда, — с облегчением, освободившись от страха, сказала Лукерья, но все-таки переспросила: — Че ли, в избе-то ее нету?

— Како! — рассердился спальник. — Сказываю: вылетела, чуть меня с ног не сшибла, давным-давно след простыл... А князь шаньги пробовал да все про нее говорил: вот, мол, какой чистоты простые-то люди. Про какую такую чистоту говорил — не возьму в толк. Я смотрел на нее тоже в оба глаза: девка как девка. Ну молоденькая, хорошенькая, а он свое: первородная чистота, говорит. Да все они, господа-то, по-своему на людей глядят. Иной раз этакий господин явится — и в шелках, и в изумрудах, а оне в голос: мол, какой прохвост. С ним говори, да ухо востро держи... А тута заладил: чистота первородная!

Но Лукерья уже не слушала спальника. Она живала в Чердыни у строгановского приказчика в услужении и знала кое-какие господские повадки. Приказчик, ясное дело, не князь, да выкомаривал такое!

— Ты погодь! — крикнул спальник вслед Лукерье и даже побежал за ней. -Верно сказала: Анисима дочь? Не соврала? Он, Иван-то Григорьевич, велел прознать, чьи шаньги дикарка принесла? Кто ее покровитель? Шаньги-то, поди, твои, — довольный своей догадливостью, сказал Семен.

— Ты что? Кто я ей? У нее отец с матерью есть, — закричала осмелевшая Лукерья. — Тут она родилась. Вот и весь сказ тебе.

— А где тогда ее прятали? Вроде все люди на виду. Экую давно бы заметили, — настаивал спальник.

Лукерья, добежав до своей полуземлянки, долго не могла найти себе места. Ругала себя по-всякому. Молила Бога, чтобы дома не было Гриньки, который, узнай о ее очередной проказе, пришиб бы на месте. Оправдать

себя ни с какой стороны она не могла и только думала о том, куда делась Ираида, отчего не воротилась к ней?

Кружила Лукерья по заимке допоздна, боясь попасться на глаза Пелагее. Ираиды нигде не было.

А та, выскочив из избы, перепрыгивая через кочки и лужи, прибежала домой. Вскарабкавшись на вышку, спряталась в угол и горько заплакала. Слезы залили все лицо. Она размазывала их по щекам, вытирала подолом платья, она не могла понять, отчего такой страх навел на нее молодой воевода и отчего застучало ее сердце, стоило только воеводе взять ее за руку. «Пригож и тих, — думала она, — и говорил ласково». Отчего тогда бегут слезы? И зачем, прислонившись к расщелине в крыше, она глядит на избу, в которой живет воевода? Скоро, как поставят ему дом, уйдет в воеводскую избу. А избу ему выстроили красивую и теплую. Тогда он, наверно, редко будет бывать на заимке, а ей так хотелось бы глядеть на него, хоть издали.

Вдоволь наревевшись, она стала глядеть в щель и увидела есаула Треньку Деева. Она знала, что его боятся стрельцы. Высокий, с большущими руками, с широкими усами, спускающимися на бороду, и большими белыми зубами, он был заметен среди остальных. Подъехав к избе воеводы, он соскочил с коня и направился было в дом, но в это время появился сам Иван Григорьевич. Ветер раздувал полы его кафтана с блестящими пуговицами. Поздоровавшись с Тренькой, они о чем-то заговорили. Подбежавший стрелец стал отвязывать от березы пятнистого воеводского жеребца. Засунув ногу в стремя, Иван Григорьевич вмиг оказался в седле. Вместе с есаулом и сопровождавшими его стрельцами он поскакал вдоль берега в сторону острога. Стучали копыта, разлеталась по сторонам грязь. Кони, проскакав возле избы, въехали в перелесок и скоро скрылись из вида.

Лукерья со слезами обсказала Пелагее, в какую беду втравила девчонку. Та ни о чем не расспрашивала и не бранила ее, а про себя подумала: «Такая беда рано или поздно ко всем приходит». Вернувшись в свою избу, она как ни в чем не бывало позвала Ираиду, подала ей руку, помогла спрыгнуть с вышки и сделала вид, что ничего о случившемся не знает.

С противоположного берега Лозьвы тянуло дымной гарью, громкие голоса звонким эхом разносились по реке. Два раскатистых выстрела из пищалей спугнули с гнездовий птиц. Лошади, оставленные обозниками до санного пути под присмотром двух конюхов, испугавшись выстрелов, опрометью побежали в сторону топких болот.

Выстрелы заставили жителей заимки высыпать на берег. Оказалось, что стреляли по команде есаула по случаю спуска на воду новых просмоленных судов. Лодки, ладьи, дощаники были поставлены на круглые катки, с которых и скатывали их в воду. Суда шлепались днищами о воду, рассыпая по сторонам брызги.

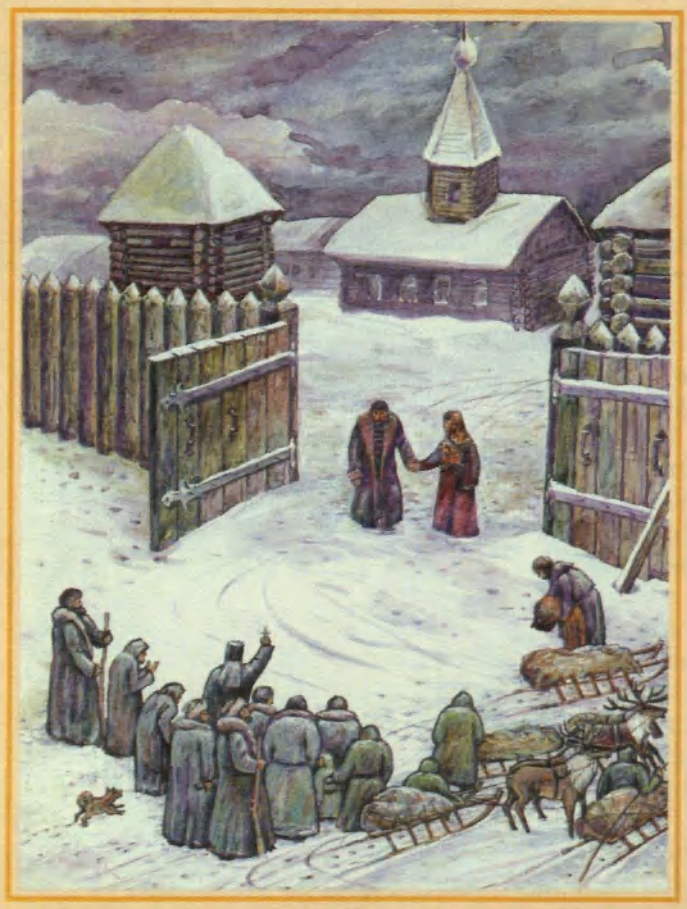
Колокол звенел в полный голос. На ладье, поставив на борт ногу, стоял воевода, за ним есаул, стрельцы.

Увидев воеводу, Ираида вздрогнула, спряталась за спину матери. Она знала, что в этот час ему нет дела ни до кого, что он ее не заметит, и тем не менее ее сердце замерло. Карбас к берегу не пристал, а направился к устью Ивдель-реки.

— Антоха, к тебе поплыли. — Приемщик ясака был на заимке и не думал, что карбас отправится к его складам.

— Пущай плывут, я все одно их опережу. — У Антохи была своя проторенная тропа-дорога с заимки. Проплыть рекой навстречу стремительным волнам Ивдель-реки не просто. К тому же у гребцов оказалось мало сноровки плыть против течения.

Первыми перед крестом
преклонили колени Василий Иванович
и воевода Леонтий Родионович,
а за ними все русичи.



С непокрытой головой выходил
из острога воевода с Ираидой.
Они держались за руки.

— Че вы все на меня напали? — защищался Антоха. — У меня токо меха. Мой груз зимой на лошадушках вывозят. Не ко мне поплыл карбас. Им надо на другой берег, тама весь провиант. — Туда завозили груз для отправки в строящиеся остроги на Тавде, Туре, Пелыме.

Суда на лозьвинской судоверфи строились неотступно день и ночь, чтобы плыть на подмогу ратичам с запасами, чтобы крепко встать против Пелымки-реки, на старом городище, и ловить там изменщика вогульского князя Аблегирима, вступившего в сговор с ханом Кучумом.

Одно за другим подплывали судна к складам, грузились, готовые сплавляться вниз по Лозьве в Тавду, туда, где строились укрепления, ставился крепкий острог Таборы. Выполнялся государев наказ «...послать ратных людей в малых судах ото всех воевод, искать Аблегирима Пелымского, и жены, и дети, их люди воевать и побивать и городок его жечи».

Коварный и еще сильный Кучум владел огромными землями Сибири. Появился он со своими удальцами из южных степей, победил царя Едигера, убил его и единовластно принялся хозяйничать на сибирской земле. Жил он вольготно в столице Искер, много земель раздал родственникам и женам. В местечке Абалак жила его старшая жена Самбула, недалеко от Искера — вторая жена — старшая дочь мурзы Давлет-Бая, севернее был городок третьей жены Сузге. Владея Сибирью, Кучум считал для себя пустяшным делом покорить северные народы, для этого он прельстил вогульского князя Аблегирима, подарив ему большой табун коней. Он рассчитывал, что вогуличи безропотно будут приносить ему дань. Сам же торговал с Бухарой, менял драгоценные меха на восточные товары.

Первые годы Аблегирим с сыновьями и взрослыми внуками славно служил Кучуму, но вдруг появились

русские ратичи. Узнав об этом, Кучум не поверил собственным ушам. Он знал: главная его защита от русичей — Великий Камень. Правда, знал он и о том, что пробираются иногда на лодках отдельные ушкуйники-торговцы с Печоры, с самоедской стороны, но чтобы появились отряды ратичей и на таежных реках стали строиться остроги?! Посланцы Аблегирима собственными глазами видели городок с башнями на Лозьве-реке. Они рассказали Кучуму, что русские большими обозами везут зимой пушки и пищали, хлеб и другие припасы для ратичей и что многие вогуличи съезжаются к ним по рекам и ведут мену на топоры, котлы, сабли, ножи, хлеб, соль. Кучум негодовал, но у него не было никаких возможностей пробраться в сибирские дебри.

А соболь обитает в лесистых краях, в хвойниках, куда не домчатся татарские кони, не долетят стрелы. Только истинные хозяева этих земель на оленьих упряжках да на лыжах-поволоках торят свои охотничьи тропы сквозь непроходимые урочища.

Кучум знал, что там, на Лозьве-реке, по утрам и вечерам звенит колокол, денно и нощно горят костры, строятся лодки, карбасы, ладьи. Больше всего раздражало Кучума строительство острогов-городов. Он понимал, что прошли через Великий Камень не просто ушкуйники какие-нибудь, а ратичи с воеводами — эти умеют драться. «Аблегирим — собака. Аблегирим не умеет делать набеги. Раньше сами вогуличи зорили Чердынь, жгли варницы купцов Строгановых. Теперь все не так! Не стало у вогуличей богатырей!» — говорил Кучум сподвижникам Аблегирима, и те соглашались со словами сытого и богатого хана.

А по Лозьве-реке отплывали все новые и новые суда на подмогу воеводам Петру Горчакову да Никифору

Траханиотову, который должен был плыть на Сосьву и там ставить острог Березов.

С отправкой судов народу на заимке осталось мало. Охотничий люд, прознав про строительство городов-острогов, живо смекнул: надобно на землицу взглянуть да зернышко в землю бросить. Разве навозишь в этакую даль? А без хлеба какая жизнь? Его разве что только ангелы с неба не просят. Разнотравьем и многоцветьем пылали поймы всех рек.

— Для хлебного зерна пашня надобна, — говорил прибывшим на заимку есаул Тренька Деев.

— А скотина? Скотина — другое дело, — встряла Лукерья. — Оставленных до зимних обозов лошадей кормить надо. Не все же возить сено из Чердыни! Покуда трава в соку, ее косить надо, зароды ставить. Мужичье-то за рекой — все крестьянские. Покуда смолят да конопатят, пущай между делом и косят.

— Тебя сотником надо ставить, — кричал на Лукерью Тренька, грозивший огреть ее плеткой.

— Тоды, — угрожающе отвечала ему Лукерья, — пожалуюсь воеводе! Быстро стрельцы-то с тебя штаны стащат!

— Но-но, — сопротивлялся Тренька, он знал: у Лукерьи не заржавеет, может и пожаловаться Ивану Григорьевичу.

— Сено для скота, что хлеб для стрельца, — умничала Лукерья.

Мужики снарядили для разговора с воеводой Анисима, к нему Иван Григорьевич относился почтительно, даже велел срубить ему новую избу, а если пожелает, то и в самом остроге может жить.

Анисим согласился сходить к воеводе, но предупредил, что вогуличи косить сено не умеют, литовки в глаза не видели. Вся надежа на стрельцов.

Воевода к этому времени жил уже в своем доме. Все здесь было под единой крышей: мощеный двор, чуланы с сусеками, амбар с припасами, мыльня. Живи — не хочу! Прислуга — всяк на своем месте.

Всем была бы хороша жизнь в Лозьвинске, если бы не комарье. К возвращению воеводы всегда была натоплена баня, в ней под жаркими березовыми вениками снимался зуд от комаров и оводов. Только для Семена баня была не в радость, не мог он переносить банного жара: после нескольких хлопков веником голову обволакивало туманом, и он еле стоял на ногах. Однажды почти безжизненным грохнулся на пол. Воеводе пришлось лить ему на голову холодную воду и приводить в чувство. После этого случая парить и мыть воеводу стал вологодский стрелец Митька. Он вязал веники, добавлял в них пахучих трав, развешивал дружками в тень, чтобы, высыхая, лист оставался зеленым и с запахом.

В один из вечеров, придя из бани, воевода разлегся на широкой кровати, попивая чай из смородинного листа. Семен тихо сказал ему:

— Анисим давно возле порога стоит, а стрельцы его не пущают!

Воевода рассердился:

— И не совестно стрельцам?

— Эти новые, ноне прибывшие. Не знают они Анисима, — встал на защиту стрельцов спальник.

— А ты? Без языка? Ты тоже впервой Анисима увидел?

Семена как ветром сдуло. Иван Григорьевич набросил на плечи бухарский шелковый халат. Неожиданно ему вспомнилась Ираида. Он признался себе: хорошо бы прижать такую юную к своему сердцу, прижать и не раздумывать, какого она рода, какого сословия, какого

достатка, какое приданое будет за ней. Он помнил миг, когда чуть дотронулся до ее руки.

— Чего стоишь у порога? — совсем по-свойски сказал воевода Анисиму.

— Боязно, — признался тот, комкая в руках старый картуз.

Стрелец, пропустивший Анисима, не без злобы сказал:

— Это он на заимке добрый да ласковый, а на судоверфи али на кузне, на складах при виде его все дрожат, как осиновый лист. Вчерась двое стрельцов с судоверфи сбегли, так не знамо что и будет, — разговорился он с Семеном. — Еда худа, одна похлебка из толокна да черпак овсяной каши, а работы-то!

— Не нам судить, — ответил воеводский прислужник. И, помолчав, спросил: — А че, правда, воевода мужиков плеткой хлещет?

Стрелец замахал руками, давая понять, что хозяин может их услышать.

Иван Григорьевич Нагой, прожив молодые годы в круговерти боярских распрей и ссор, мыслил и поступал, как положено было боярину: держал своих людей в полной покорности, под страхом наказания. Здесь же, на краю земли, было много вольных людей, которые никогда не были под властью боярского насилия. Волей-неволей он стал понимать, что каждый может постоять за себя.

Приветливые слова воеводы успокоили Анисима. Семен засуетился, в просторной комнате накрыл стол скатертью, поставил сосуд с крепкой водицей, от которой в голове шумит, в веселость бросает. Яства были все привозные, запахи чеснока, хрена, гвоздики и перца щекотали ноздри. На столе появилась утка, начиненная гречневой кашей. Анисим же глядел только на хлебный каравай. «Ржаной, запашистый — самая вкусная еда на свете», — думал он.

Анисим заметно волновался. С воеводой разговор вести — не с Гринькой языком болтать. Про дело надо говорить, за которым пришел. Собравшись с духом, стал он говорить Ивану Григорьевичу про лошадей, что пасутся на лугах. Не его лошади, а государевы, купцами до новой зимы оставлены.

— А вдруг да из-за бескормицы лошади падут зимой? Спрос-то с тебя, господин мой, будет. Прости меня, многогрешного, а животину-то жаль.

Видать, кто-то уже говорил воеводе об этом, потому он сразу ответил:

— А как наказ государя: «Строить суда денно и нощно»?

— А коли кони падут, тогда всему делу конец, — смело возразил Анисим. — Тогда мужики все себе пупы порвут. — Анисим не сильно боялся воеводы. Он человек вольный.

— А если просить вогуличей? — спросил воевода и услышал в ответ:

— Сено ставить они не умеют. Нет у них нужды в сене. Олень ягель из-под снега добывает. А вообще, научить можно, коли жить тута собрались. Летом они без дела. — Анисим вздохнул с облегчением: высказал воеводе, о чем болела душа. — Благодарствую за хлеб, соль, — вставая из-за стола, сказал Анисим.

И тут воевода вроде нечаянно спросил:

— А где это ты прячешь свою старшую дочь?

Анисим, поглядев на воеводу, смутился:

— Это Ираиду, че ли?

— А сколько у тебя дочерей?

— Старшая Ираида, есть Манька — мала совсем, да последняя Ксенья, еще в зыбке. А парней полная лестница. Один за другим, все погодки.

— Я про старшую спросил. Коса у нее большая.

— Про Ираиду, значит, — опять смутился Анисим. — А че про нее спрашивать? Выросла матери помощница.

— Ясноокая твоя Ираида и речет гладко, — ответил воевода. — А куда она спрятана? Всех, кто живет на заимке, вижу, а ее — никогда.

Анисим закашлялся. Откуда ему было знать, что Лукерья посылала Ираиду воеводу шаньгами угощать? Кабы знал об этом Анисим, несдобровать бы Трефовой даме, сам бы космы ей повыдергал. Удивления он не выказал, а ответил, что она все дома сидит, на людях не вертится, но сердце вздрогнуло: «Мало ли какая блажь придет молодому воеводе?» Поторопился сказать:

— Мы люди бедные, более думаем о спасении души. Наказываем ребятам своим жить в чести, чистоте душевной и телесной.

— Где прячешь ее? — будто не слыша Анисима, повторил воевода.

— Где тута спрячешь? А на что ее прятать, чай, она вольная. К Лукерье бегает, Дарье помогает — та на сносях. К девкам ходить не велю. Больно они много всего знают, а Ираидиным ушам рано про всякий человеческий срам знать. Пущай Богу молится.

— В монастырь, что ли, отправить собираешься?

— Лучше Богу всю жизнь молиться, чем со стрельцами важгаться.

— А ведомо ли тебе, что в монастырях-то они только днями монашат, а ночью ноги шарашат?

Анисим, не ожидавший услышать такие слова от Ивана Григорьевича, поперхнулся и перекрестился. Ему стало душно в просторных покоях воеводы.

— Пойду, — поклонился он, — делов полно.

От воеводы не скрылось его волнение.

Спальник Семен по приказу хозяина еще ранее нашел в походных скрынях лоскутья атласных тканей

разных цветов, выбрал на свой риск, зная вкус воеводы, зеленовато-изумрудный и подал ему.

— Это дочери твоей подарок, — протянул Иван Григорьевич Анисиму отрез.

— За че, ваша светлость, экая краса? Не можно мне оболокать свое дите в такую красу.

— Ей краса Богом дана, — сказал воевода.

— Отколь изволил разглядеть, что такими словами хвалишь? — Иван Григорьевич не стал рассказывать Анисиму, как она забегала к нему на заимке по научению Лукерьи.

— Ужо какой лоскут попроще, от этого глаза слезятся, — тихо и смирно попросил Анисим, вроде бы враз потеряв свою уверенность.

Всю обратную дорогу он корил себя, что сам напросился к воеводе. Не явись он с этим сенокосом, жил бы поживал, а теперь вот несет этот лоскут, который будто жжет ему руки. Он готов был отдать его первому встречному, если бы не подарок из рук самого воеводы.

Придя домой, бросил свернутый Семеном лоскут на лавку и ничком упал на постель. Пелагея, увидав лоскут, ахнула:

— Воевода послал? — спросила она с дрожью в голосе.

— А тебе откель ведомо? — закричал Анисим, вскакивая с постели. — Откель ведомо-о-о? Где эта семиселка ему на глаза попадала?

Бог знает, чем бы все закончилось, если бы не распахнулась дверь и Лукерья истошно не закричала: «Дарья помирает! Дарья помирает!»

На заимке знали, что повенчанные в дороге Дарья с Афоней жили полюбовно. Но на то и замуж выходят, чтобы после себя след оставлять. Так и у Дарьи было, как у людей. Какая баба на Руси, выйдя замуж, не рожает? Разве какая несчастная. Лукерья была этой

радостью обойдена, но за Дарьей глядела, говорила мудрено: «Ягодка созреет — сама отпадет». Говорить-то говорила, а как начались у Дарьи схватки, так и заорала на всю заимку. Пелагея почти ежегодно из своего развязанного узелка на свет ребятишек высыпала. Сейчас, собирая на подол репейник, бежала к избенке Афони напрямик. Уж она-то знала, как стучится и просится на свет малое дитя.

Дарья и вправду казалась бездыханной.

— Лучше бы я за тебя родила, — запричитала Пелагея. Лукерье велела подать рукотер и стала помогать обессиленной молодой женщине, приговаривая:

— Мышке и той больно, пособляй, пособляй, — Пелагея не знала, слышит ли ее Дарья. — Губы-то ей водой смачивай, — приказала Лукерье, а сама свое: — Ножка к ножке, ручка к ручке.

Громкий выдох содрогнул тело роженицы.

— Тужься, милая, тужься. Сколь силы есть, тужься, — бормотала Пелагея.

Афоня в это время сидел на корточках возле порога, обхватив голову большущими ладонями, никого не видя и не слыша, читал молитвы. А Пелагея в это время, держа младенца за ножки вниз головой, шлепала ладонью по крохотной попке. Скоро послышался тоненький писк. Завернув малыша в чистые тряпки, все с облегчением плакали.

Узнав о рождении нового жителя заимки, отец Евлампий велел звонить в колокол. На судоверфи, в лесу, на лугах, на реке был слышен голос звонницы. В новом городе-остроге Лозьвинске родился еще один русский мужичок — Афонин сын.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вогуличи, жившие по рекам Тавде, Туре, Тагилу, знали сенокосную страду У соседей татар-степняков были огромные табуны коней. После падения Казанского ханства Кучум, дав клятву русскому царю платить исправно дань в государеву казну, попервости любезно принимал целовальников из Москвы. Но с каждым годом сборы мягкой рухляди становились меньше. В сибирские топи, бесчисленные болота пробраться на лошадях было невозможно.

Взяв себе в сообщники вогульского князя Аблегирима, он заставил научить вогулов косить сено. До этого они умели только сушить травы, из которых плели рыболовные сети, из крапивы мастерили полотница. Сам Аблегирим, получив в подарок от Кучума табун лошадей, понял, что на лошадях ездить в летнюю пору удобнее, чем на оленьих упряжках, которые с трудом таскают нарты по заливным лугам и топям.

Не раз Кучума корил его и за то, что не знает он щель через Лозьвинский городок, или, как называл его Аблегирим, «волчью тропу», и не может попасть за стену Великого Камня. Но со стороны владений Кучума они проходили тайными тропами и нападали на

поселения купцов Строгановых на Каме-реке, сжигали их и уводил с собой много людей. Купцы Строгановы об этом не раз писали грамоты государю Ивану Васильевичу. Писались письма в Москву с особой осторожностью, чтобы каждое слово было понятным и не вызывало гнев его царского величества.

Купец-солепромышленник Максим Яковлевич Строганов держал при себе писарем сына приказчика Василия. «Не тот писарь, что хорошо пишет, а тот, что хорошо подчищат», — не раз говаривал купец. Сейчас он хотел написать государю, что вооружен Аблегирим не только луками да стрелами, а что у него есть и сабли, и копья, и боевые топоры, ножи, полученные от Кучума.

— До завтра обо всем кумекай, а опосля писать станем, — сказал он писарю. Обернувшись, напомнил, чтобы тот сделал запись о вчерашнем дне.

Василий подошел к столу, потер ладонью о ладонь, щелкнул суставом на левом мизинце и стал записывать, старательно выводя каждую букву: «...шел дождь небольшой и снег небольшой. Были гости — мировой Соловьев и стряпчий. Завтракали. В полдень пили чаи и сразу уехали. Через две минуты был приехавший воевода, который пил чай, немного погодя был приехавший главный целовальник с супругой и дочерью. Господа ходили в сад, а после обеда ходили на уток на мыс за кладбище, ничего не принесли. Мужики скот выгнали в поле. Из Перми приехала хозяйка. Утром был Коромыслов, у тарантаса перековывали колеса. Ходили в церковь. Как приехала хозяйка, на господский двор приходил деревенский хоровод, и все играли во дворе. Угощали вином и пряниками, три раза обносили».

Слуга Мирон зашел так неслышно, что писарь вздрогнул.

— В комнату залетел воробей, — сказал Мирон, — невесть откуда, двери заперты были.

Птица вылетела из покоев и села на вазу, стоящую на камине. Слава Богу, прибежали слуги, воробья поймали, отдали орлам.

— Напужал до смерти, — признался писарь, — чуть было кляксу не поставил из-за тебя. Ступай, коли тут дела нету, мне еще дописывать надо.

Василий продолжил: «Захворала лошадь Яблочко, и отвели ее на скотный двор, а к утру она пала. Вечером похоронили. Собака Дияна ощенилась под новым домом. Корова по кличке Попадья отелилась». Вдруг Василию послышались вроде бы хозяйские шаги. Он нервно передернул плечами. Все стихло. Писарь перекрестился. Он написал уже много, но не все, по вечной своей забывчивости. «Ладно, что господин не перечитывает, а то бы сразу жалованье сбавил». Передохнув, продолжил записывать.

Максим Яковлевич, вернувшись с Сольвычегодских варниц, разрушенных очередным налетом вогуличей, был зол. Он готов был нанять какое угодно войско и содержать его, лишь бы изловить этих нехристей, нечесаных идолопоклонников. Только где такое войско взять? Вятичи да марийцы, устюжане да вычегодцы — чего с них возьмешь? Какая это сила? Никакого толку с них нет. «Царю-батюшке обо всем написать надобно», — с этой думой пошел к писарю Василию.

— Корову-то купил? — спросил он Василия, зная, что тот намеревался обзавестись коровой.

— Сторговался за четырнадцать рублев.

— Пиши, — усаживаясь в мягкое бархатное кресло, хрипло сказал Максим Яковлевич: — ...Пелымский князь с сибирскими людьми и с вогуличами приходил войною на наши Пермские места, и к городу Чердыни,

и к острогу приступал, и наших людей побили, и многие убытки нашим людям причинили, и то сделалось вашею изменой... Погодь, Василий, — остановил писаря Строганов.

Максим Яковлевич склонил голову и погрузился в собственные мысли, не обращая внимания на Василия. Он ворошил пальцами, унизанными драгоценными каменьями, густую черную шевелюру.

Строгановы помнили грамоту царя Ивана Васильевича, в которой им отдавались в пользование прикамские земли, но при этом они не забывали и царский наказ «...крепости поделати и снаряд вогненный и пушкарей и пищальников и сторожей от Сибирских и Нагайских людей держати... и по рекам и по озерам и до вершин дворы ставити, и лес сетчи, и пашни пахати: а людей называти не письменных и не тяглых. А воров им и боярских детей беглых с животы и татей и разбойников не называти, и никаких воров не держати, и от всякого лиха беретчи».

— Все это проделки хана Кучума, — сказал Максим Яковлевич. — Теперя он покоряет инородцев, собирает дань, а все на Аблегирима свалит. Есть у нас силы против Кучума, так то будет супротив воли государя. Позвали бы мы с братцем Никитой крепкую дружину казаков, бежавших от царской виселицы. Они бы дали этому Кучуму жару-пару! Да боязно. А как узнает государь? Гнев его ничем не укротить. Не сносить нам с братом голов.

Он снова вспомнил последний набег вогуличей, сожжение многих варниц, ветряной мельницы, бараков работных солеваров.

— До царя далеко, — сказал вслух писарь.

И тут же Максим Яковлевич велел закладывать лошадей. Он решил посоветоваться с братом Никитой,

оставлять ли у себя прибывших на своих стругах с Волги вооруженных казаков.

— Ладно, Василий, сей день не для письма, — промолвил хозяин. — Будем надеяться на высокую царскую милость, данную нашим родителям: «...не только призывать вольных людей и посылать их в Сибирскую сторону, но и в самом Сибирском царстве иметь старание, чтобы привесть оное под Российскую Державу».

Во дворе послышались голоса. Писарь заторопился было убрать со стола бумаги, но снова присел, чтобы записать последние домашние новости.

Многоместные ладьи из Астрахани, бороздившие воды Волги и Камы, проплывшие почти трехтысячный путь, пристали к берегам. Вид их был внушителен. Растянувшийся по берегам Камы ряд судов созвал немало зевак. На стругах с расписными бортами приплыли загорелые мужики, которых величали казаками. Удивляли зевак их наряды. Все они были в кафтанах синего цвета, с пуговицами на петлях по левому борту, на головах шлемы, на поясах мечи с разукрашенными рукоятками. На ремнях, украшенных бляшками, крепился боевой нож, на боку колчан со стрелами. Кто-то говорил, что суда приплыли сами, по своему желанию, другие — будто бы по просьбе Строгановых.

Прибывших было немало, и принесли бы сошедшие на берег казаки много хлопот городскому голове, но Максим Яковлевич Строганов распорядился отправить их на свои пустошные земли вверх по реке Чусовой на распахивание пашен.

Были тут Ермак Тимофеев, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещариков, Богдан Брязга.

Сердце Максима Яковлевича защемило: «Экое войско! Эх, была не была! Станем просить у государя за

учиненные провинности прощения. А вдруг молодцы-казаки возьмут да и разобьют Кучума?».

С этими мыслями въезжал Максим Яковлевич в Пермь. На улицах было немноголюдно, чем он был доволен. Закрытый тарантас в сопровождении свиты въехал прямо на господский строгановский двор... Братья встретились ласково, забыв всякие недомолвки. Посоветовавшись между собой, решили все-таки пригласить к себе атаманов.

Ермак Тимофеев шел со своими товарищами в сопровождении воеводы Покрышкина и городского головы Соснина. В окнах домов мелькали лица любопытствующих. Зеваки сторонились по обочинам дороги, поясно кланялись, стаскивая с голов картузы.

Возле крыльца пришедшие долго обтирали о войлок подошвы кожаных чуней. Братья Строгановы — Максим и Никита — вышли навстречу гостям вместе, в нарядных одеждах, волосы, смазанные скоромным маслом, расчесаны на прямой пробор. Никита провел гостей в большую горницу, указал места в переднем углу под образами. На столе появились яства изысканные. Начали со стерляжьей ухи, кулебяк с визигой, стерляди разварной под соусом. Первую чарку выпили за царя, потом за хозяев, за атаманов. Больше всего Строгановы старались подпоить немногословного атамана Ермака, который среди других выделялся богатырским видом. «...Бо вельми мужествен, и разумен, и зрачен, плосколиц, черен брадою и власы прикудряв, возрас средний и плоск и плечист», — такое описание Ермака оставили нам летописи. Шел разговор о раздольных землях за Великим Камнем, о вогуличе Аблегириме и о том, что надо бы «пощупать» Кучумову рать. Строгановы вели разговор осторожно, обещали в подмоге казакам не отказывать.

Из купеческих хором гости выходили веселыми, кто-то на высоких ступеньках крыльца оступился и пролетел туром. Ермак, подхватив товарища, обернулся к хозяевам и спросил: «Не боязно?» И сам же ответил: «Уговор дороже денег».

Начались сборы. Не впервой казакам плавать по волнам, конечно, волжские — не камские, а уж тем более не на Чусовой, но данное слово Ермак умел держать крепко.

Братья Строгановы, как и обещали, помогли Ермаку ружьями, порохом, хлебом. Дали три пушки. Накладно было богатеям Строгановым снабдить многосотенное войско. Каждому казаку было выдано пороху и свинцу по три фунта, муки ржаной три пуда, крупы и толокна по два пуда, сухарей по пуду, соли по пуду, а также масла коровьего и ветчины. Каждая сотня человек имела свое знамя, которое было украшено святым образом. Знамя отряда атамана Ермака представляло собой большую хоругвь с полями в два аршина и шесть вершков: на одной ее стороне был изображен архангел Михаил на красном крылатом коне, поражающий копьем дьявола и низвергающий его в волны; на другой — святой Димитрий на темно-зеленой лошади, низвергающий копьем в пропасть всадника на белой лошади.

Июль выдался солнечным. К этому времени природа принарядилась в яркую зелень. Людским многоголосьем наполнились берега. Казаки, успевшие завести себе зазноб, щеголяли в богатых одеждах: рубахах, вышитых шелком или даже золотом по рукавам и вороту, полукафтанах из цветной материи, с бархатными или парчовыми стоячими воротниками. Сапоги из персидского сафьяна, короткие, остроносые, с высокими каблуками. На Волге купеческие суда богатые! Было чем поживиться вольным казакам. Молодухи от изумления ахали,

старухи бурчали: «Не к добру! Не к добру этак оболоклись, яко на праздник!»

Медленно, почти бесшумно опустились на воду весла. Взятые у Строгановых толмачи, знающие вогульский и татарский языки, были пока без надобности. Устье Чусовой при впадении ее в Каму широкое, течение быстрое, с речными перекатами и мелководьем. Во многих местах суда пришлось перетаскивать волоком, что было непривычно для тех, кто плавал по волжским просторам. Множество горных речушек впадало в каменистую Чусовую, и нетрудно было спутать их между собой. Так и случилось: вместо реки Серебрянки суда вошли в другой приток Чусовой — Сылву. Те же крутые каменистые берега, то же безлюдье. Река была трудна для плавания. Ошибку скоро обнаружили. Дальше Сылва оказалась несудоходной даже для легких судов. Надо ли описывать ропот казаков! Только строгие порядки, заведенные ими в многолетних плаваниях, и почти непререкаемый авторитет атамана Ермака успокоили казаков. Самых недовольных пришлось спустить навечно на каменистое дно Сылвы. В рубаху несчастного набивали песок или камни, завязывали в мешок и сбрасывали в реку.

По совету атаманов было решено выгружать из судов все припасы. Зыряне-толмачи клялись, что они знают звериные тропы через Великий Камень, и успокаивали Ермака, что по Чусовой можно проплыть на другую сторону судами. Но это было малым утешением для Ермака.

Как утверждают летописи, сам Ермак был очень богат. Со своими сокровищами он не расставался. Не оставил их и у Строгановых, вез с собой. При разгрузке судов на Чусовой доверил сокровища преданным друзьям, которые и спрятали их в одной из пещер, надеясь забрать на обратной дороге.

Оставив суда, казаки взвалили на плечи мешки с необходимыми запасами и пошли пешими до реки Тагил, которая течет с хребта Великого Камня в сибирскую сторону и соединяется с рекой Турой. Уже подули северные ветры, дыхнуло морозом, повалил снег. Реки стали покрываться льдом. Морозы остановили пеший ход дружины Ермака. Близ небольшой речки Кукуй они остановились на зимовку; стали строить временные землянки-жилища. Люди роптали, многие, непривычные к холодам, заболевали и умирали. Умирали и от голода. Другие, рискуя погибнуть или стать добычей лесных зверей, все-таки убегали. Непокорных сажали в оковы, жестоко казнили.

Ермак, отличавшийся набожностью, такую неудачу относил за счет своих грехов. Он велел поставить на зимовье походную часовню во имя святителя Николая и ежедневно в ней молился.

Вооруженных казаков посылали на охоту за диким зверьем, а больше за тем, чтобы по берегам безымянных речушек обнаружить здешних жителей — вогуличей. Но те, проведав о новом соседстве, уезжали с обжитых мест. Неведомо было Ермаку, что совсем рядом, пройдя через Вишерский волок, можно попасть в Лозьвинский городок, откуда кружным путем спускаются суда по Лозьве-реке.

Из небольших лабазов вогуличей они забирали все, что было там оставлено. Худая молва о поселившихся на Кукуе-реке людях быстро облетела все паули. Один из посланных Ермаком небольших отрядов не вернулся обратно. Их нашли убитыми вогульскими стрелами с костяными наконечниками. Ходить по лесам становилось небезопасно.

Атаман Ермак и его друзья-товарищи с помощью зырян-проводников да нескольких захваченных вогуличей

узнали немало троп через Великий Камень, пеших дорог, а главное, речек, по которым можно было вывести оставленные суда. Атаманы побывали на притоках, впадающих в Тагил, на берегах Баранчи, Межевой Утки, Журавле.

«Нам бы до Кучума добраться! — думал Ермак. — С ним бы померяться силой».

С появлением яркого солнца быстро оголились вершины гор. Они почернели, засветились сверкающими потоками быстрых ручейков, давно проточивших среди камней свои бороздки к подножьям и рекам.

Ермак устроил смотр своей дружины. За зиму она поредела: недосчитались многих смелых казаков. Отслужив панихиду по оставившим здесь свои жизни, атаман велел трубить сбор, бить в барабаны, вынести знамена.

— Обратной дороги нам нет. Впереди великие реки Сибири. Они под стать нашей матушке-Волге, — сказал он друзьям. — Мы пришли разгромить войско Кучума и стать хозяевами этих мест. Оставить их под владычеством русского государства.

— Любо-о-о-о! — Казалось, с неба летит это слово.

Со вскрытием речушек стали спускаться на плотах к реке Тагил и делать новые струги, но не на берегу, а верстах в трех от устья речки Медвежьей, подальше от любопытствующих татарских глаз. Сам же атаман Ермак с товарищами вернулся к оставленным стругам на Чусовой. Купцы Строгановы, узнав о неудаче Ермака, сокрушались, но дали еще подкрепление, и атаман поплыл по Тагилу в Туру, а оттуда и до Тобола рукой подать!

Но скоро только сказки сказываются, а у отважных казаков впереди неведомые сибирские просторы, где хозяйничал хитрый и коварный хан Кучум, владеющий этой землей и ее богатствами.

Кучум проведал о дружине Ермака и был готов к встрече с врагом. Воинов для встречи с Ермаком он держал молодых и сильных, хорошо кормил их и поил. Коней давал самых лучших: сытых и выносливых. Когда Кучум узнал, что по Тагилу и Серебрянке проплыли суда, никому из сородичей не подал виду, что его одолевает тревога. Одного из своих близких мурз Кутугая хотел было отправить на Пелым, к Аблегириму, но после передумал и велел ему поехать в устье Туры к должникам за данью.

Привыкший плавать по мелким протокам в полной безопасности, мурза и в этот раз, подплывая к очередному улусу, радовался предстоящему отдыху и вкусному угощению.

Ермаковы казаки давно приметили плывущих по протоке вооруженных посланников Кучума, и не успели те расположиться на отдых, как были окружены и связаны казаками.

— Руси! Руси! — раздались крики. Кто-то успел достать луки, засвистели в воздухе стрелы. Казаки умели укрощать строптивых. При пленении мурза Кутугай яростно сопротивлялся. На его широком плоском лице с маленьким носом выделялись выпуклые черные глаза, полные злобы. Ермак в поставленном на берегу шатре, в окружении вооруженных казаков через толмача, сидевшего рядом, спрашивал у мурзы о самых простых вещах: богат ли он, большая ли у него семья, сколько у него жен, много ли лошадей, далеко ли его вотчина от Кучума, большие ли у Кучума табуны, много ли воинов? Кутугай, успокоившись, отвечал охотно. Только на вопрос о воинах Кучума отвечать не стал. Засопел, набычил узкий лоб.

К этому времени плененных покормили кашей с взваром. Татар решено было отпустить.

Кучум, узнав обо всем, был сам не свой. Как только перед ним появился Кутугай, он стал хлестать его по лицу до тех пор, пока не устала рука. По щекам молчаливого татарина текла кровь, но он безмолвно сносил ярость своего господина.

— Иртыш, Иртыш! — не уставая, кричал Кучум, понимая, что появившихся на Туре и Тоболе русских следует ждать и на Иртыше. Гонцы помчались во все стороны сзывать народ на войну с русскими, которые уже, наверное, плыли по Тоболу. Хитрый Кучум знал, где остановить их. Но и казаки, побывавшие в боях, были не лыком шиты!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Из золотоглавой Москвы потоком шли грузы за Великий Камень, в Сибирь, по единственному пути: Ярославль, Вологда, Тотьма, Устюг Великий, Соликамск, Чердынь, а дальше через щель — по рекам.

Казенные амбары строились скоро. В них хранили хлеб, соль, порох, железные скобы, топоры, молотки, пилы. Особые склады были для клади проезжающих торговцев-смельчаков. Были уже поставлены свои, государевы учетчики-целовальники.

Антоха как был приемщиком ясака, так им и остался. Приезжие имели желание погреть руки возле мягкой рухляди, да ничего у них не выходило. Антоха оказался не промах, завел дружбу с проезжающими купчишками, и у него зашевелилась в кармане копеечка. Он выстроил в двух верстах от заимки избу на два крыльца: одно для себя, другое — для приезжающих вогуличей, которые по своей тропе, минуя заимку, являлись к нему в любое время. Изладил и загон для оленей — обнес жердями мшистую ягельную болотину. А вогуличи ехали к нему один за другим. Подводам не было счета.

Валом валил люд искать счастья и воли. Селились на Ивдели-реке, на малых протоках, в ложбинах средь гор, на увалах.

Государеву власть почитали. Установленный урок за право жить с городом по соседству блюли строго: безвозмездно пять дней отрабатывали кто на валке леса, кто на пилке досок и плах, а больше всего было работы на судоверфи, на строительстве дощаников, стругов, лодок.

— Куда столько судов! — дивились мужики, приходившие обозами из глубины России. Глядя на прибывающие отряды стрельцов, переглядывались: видать, не нашего ума дело.

— Да тама, в низовьях, все татарва. Не пущают плавать по большим рекам, а сами сюда лезут — тута поживают соболя-соболики.

В хмуром небе по берегам разносились людские голоса, гулким эхом отдавались удары топоров. На заимке лаяли собаки, все вокруг сливалось в своеобразную симфонию потревоженной тайги.

— Воевода, воевода-а! — вдруг раздались голоса. Впереди верхом скакал есаул Тренька Деев, по сторонам стрельцы. Они сопровождали кошеву с хозяином Лозьвинского городка. Никто не мог знать, куда с утра поедет воевода: то ли на судоверфь, то ли на кузню, то ли на склады. Скорее всего, на коновязь, где, сказывали, за одну ночь пало пять лошадей.

Но туда не поехал. Тренька свернул к складам.

— И зачем сюда люд валит? Будто у нас в России земли мало? — рассуждали изможденные трудной дорогой в Лозьвинск новички.

— Земля-то есть, да, знать, не такая. Ты-то че сюда пришел? Не ближний свет!

— Энтого не видят, что вольных людей тут пересчитать можно, а остальные все на государевой

службе, — говорили мужики, наблюдая за свитой вооруженных стрельцов, сопровождавшей воеводскую повозку.

— Берега-то, знать, не зря укрепляют. И острог какой! И церковь!

На Троицкой церкви зазвенел колокол к обедне. В этот день должно было состояться крещение новорожденного дитя Афони и Дарьи.

Колокол звенел призывно, на звон колоколов повернула и воеводская упряжка.

В церкви было тихо. Слышалось потрескивание смолистых лучин, воткнутых в пазы между бревен. Две свечи, подаренные церкви одним из прибывших купцов, сильно коптили. Голос отца Евлампия был торжественным. И одет он был празднично: на нем была белая риза с вышитыми поручами.

Входная дверь на кожаных петлях не скрипнула, когда в нее вошел воевода со свитой и остановился в поклоне. Младенец закричал во весь голос, как только его погрузили в купель.

— Крещается раб Божий... — произносил отец Евлампий.

— Иван, Иван, — послышался в тишине робкий голос Ираиды, дочери Анисима. Зардевшись, пересохшими губами она повторяла имя, боясь взглянуть на воеводу. Анисим вздрыгнул, узнав голос дочери.

— Во имя Отца — Аминь и Сына — Аминь и Святого Духа — Аминь, — вытаскивая младенца из купели, громко и властно протянул Евлампий.

— Какое еще есть имя лучше Ивана? — растроганно проговорил Афоня, не скрывая радости.

— Иван, Иван, — зашептали все, кто был в церкви, мысленно желая безгрешному существу всех земных радостей.

Иванка, как стали звать все Афониного сына, оказался всеми обласканным. Воевода подарил ему коня с украшенной сбруей. Остальные дарили кто что мог.

Дотошная Лукерья и тут вела свой подсчет:

— Народищу-то сколько, каждый по денежке «на зубок», и то какой достаток.

Каждый подарил вроде малую малость, а нитка к нитке — голому рубаха. Дарили сухари и крендели, подорожные сладости и домашнюю снедь, с которой отправлялись в дальнюю дорогу мужики.

Лозьвинск жил, как все остальные города-остроги. Прибытие одного обоза за другим уже ни у кого не вызывало удивления, да и прибывшие подолгу не задерживались: оставив грузы, попировав для порядку, торопились обратно. Иногда задерживались из-за лошадей, которых вымучивала дальняя дорога: их кормили с неделю отборным овсом, водили на водопой к длинным прорубям, вырубленным на середине реки. А в кузне всегда была очередь, четверо кузнецов едва успевали подковывать лошадей.

В самом начале весны вдруг подули холодные северные ветры, повалили лавинные снегопады. Загрустили обозники. Снегопад многим перепутал дела: кто-то собирался поохотится по соболиным следам, у других был соблазн побывать у вогуличей и обменять прихваченный товар на меха. Но обо всем пришлось забыть и ждать окончания ненастья.

В Лозьвинске день ото дня становилось тише и спокойнее, хотя обозники, люди бывалые, нет-нет, да и пошаливали промеж собой, случалось, и обворовывали друг друга, что кончалось драками, и приходилось вмешиваться стрельцам.

Воеводская прислуга не могла нарадоваться своим житьем — тихим и спокойным. Побывав на службах

в боярских хоромах, испытав на себе капризы и прихоти хозяев, здесь, в далекой глухомани, они отдыхали: сытно ели, долго спали.

Иван Григорьевич хотя и тосковал по светской жизни, но был рад, что живет вдали от Москвы. Коварные прихоти государя могли в одночасье исковеркать не только его жизнь — близкого родственника царевны, но и всего рода Нагих. С горечью он узнал, что тетушка его — московская царица Мария Федоровна, родившая государю наследника, нареченного Дмитрием, — была отправлена в Углич, а государь готовился к новому браку, послав гонцов к английской королеве Елизавете просить руки ее родственницы Марии Гастигс. Послан туда был дворянин Федор Писемский, на словах ему велено было передать королеве Елизавете, что если она станет возражать по причине того, что государь женат, он бы, Федор Писемский, ответствовал: «...Мария Нагая уже не царица и будет пострижена в монастырь».

Рассказал эти новости Ивану Григорьевичу под большим секретом чердынский воевода Перепелицын, у которого перебывало немало знатных людей. А приехал он в Лозьвинск, чтобы осмотреть новый острог. Воевода принял его любезно. Поездили они по лозьвинским берегам, встретились с добродушными вогуличами. Перепелицын вовсю хвалил ладно выстроенный городок, башни, церковь, укрепленный вал. Прошелся он по лесной тропинке и на заимку к Анисиму. Вечерами с воеводой ходили в жаркую баню, сытно ужинали, не обходилось без пенистой медовухи, которую лучше всех в городке варил церковный дьяк.

Новость о намерении государя еще раз жениться Перепелицын сообщил, уже когда усаживался в плетеный короб, устланный оленьими шкурами. Он не сказал ничего воеводе раньше, чтобы не портить ему настроения

и чтобы оно не сказалось на его пребывании в Лозьвинске.

— Все это похоже на государя, — спокойно ответил Иван Григорьевич, но в душе у него помрачнело.

Расставаясь, воеводы крепко обнялись, резвые кони дружно тронулись, но вдруг Перепелицын, выскочив из короба, вернулся.

— Забыл: слышал, что Строгановы будто бы наняли большую рать волжских казаков-разбойников, снабдили их припасами, пушками и отправили в поход на разорителя земель Кучума.

— Да этому Кучуму давно надобно башку оторвать, — гневно ответил Иван Григорьевич.

— Ну, и волжские казаки-грабители, которых государь за разбои на смерть определил, принесут Строгановым немало хлопот, — говорил Перепелицын, живший со Строгановыми в постоянных ссорах и успевший уже написать об этом в Москву.

Иван Григорьевич в сердцах сказал:

— Да пущай эти казаки идут на Кучума и служат Строгановым, нежели у него (он имел в виду царя) под пытками корчиться.

Но Перепелицын стоял на своем: государь осудил их на смерть «лютую и позорную» — волен ли кто перечить ему? А Иван Григорьевич твердил свое:

— Пущай лучше в схватках с Кучумом головы положат, чем висеть на виселицах. — И, хлопнув Перепелицына по спине, пожелал ему хорошей дороги.

На том и расстались: каждый при своем.

Оставшись один, в плохом расположении духа, Иван Григорьевич вспомнил, как во время крещения младенца услышал робкий голос: «Иван, Иван!» Он не сомневался, что это был голос Ираиды. У воеводы защемило сердце. Ему хотелось верить, что она произнесла это имя

не случайно. Он почти не сомневался в этом. И эта вроде бы малость пришлась по сердцу воеводе. Впервые за время проживания в Лозьвинске он ощутил, что к нему отнеслись не просто с вниманием, а с какой-то трепетной нежностью: робкой и искренней, предназначенной только ему. С ощущением тихой радости, сам не зная для чего, он пошел в церковь.

Возле крыльца остановился. Стоял долго, погруженный в думы, только одному ему ведомые. Мороз был крепкий, на березе треснула кора, но Иван Григорьевич не услышал этого. Семен, наблюдавший за хозяином, не выдержал и, приоткрыв дверь, крикнул: «Студено ноне. И небо-то как вызвездило! К морозу!» — и юркнул в избу.

В эту ночь Ивану Григорьевичу спалось плохо, и совсем не потому, что стучали ставни или была жарко натоплена печь. В ворохе разных мыслей он слышал робкий голос Ираиды: «Иван, Иван!» Ему даже показалось, что она где-то рядом. Сон потерялся совсем. Он встал, зажег свечу. Спальник Семен вскочил с постели, как угорелый, запнулся о деревянную бадью с водой, зашиб палец. Но до пальца ли спальнику, когда господин сам зажег свечу? А он, раб несчастный, в это время храпом храпел на лежанке.

— Носочки-то тепленькие, сухонькие наденьте на ножки, — заговорил Семен дрожащим голосом. — Не ступайте босыми-то ногами на пол, на шкуру ступайте, а то простудитесь. Вся простуда с ног начинается, — лепетал Семен, ползая возле ног воеводы, приноравливаясь, как бы ловчее надеть ему носки на босые ноги.

— Анисим в острог не приходил? — спросил воевода у спальника.

— Нет, мое дитятко, — чуть не плача, ответил Семен.

— Подымайся. Будет тебе бородой-то пол подметать. Ан руку подать?

— Боже упаси, — стонал спальник.

— А готов сейчас идти к нему на заимку?

Семен, поднявшись, отшатнулся к стене. Не зная, что подумать, только и смог вымолвить:

— В этакий-то мороз, хоть и недалече, но все по переметам.

Откуда ему, воеводскому спальнику, было знать, что хозяин его, воевода, готов был тотчас одеться и идти, сколько понадобится, хоть бродом, хоть на лыжах на заимку, только чтобы увидеть Ираиду, эту дикую девчонку, и на руках принести сюда, в воеводскую избу. Испытывая необъяснимое чувство душевного восторга, он понимал, что его влечет к этой дикарке не мужская похоть и не желание обладания, а какая-то искренность, чистота ее души. Воевода был уверен, что Ираида — ангельское существо, еще безгрешное и непорочное.

— Слыхивал, — вдруг так громко крикнул Семен, что и сам испугался своего голоса, — будто приходил Анисим к воротам острога, да его стрельцы опять не пустили. А вчерась он в церкви был со всем семейством. В церковь-то ворота всем отпирают, а в острог — нет. Вот Анисима и не пустили.

— Не пустили, сказываешь?

— Истинная правда, не пустили.

— Хозяина заимки? Того, который нам свою избу оставил? А мы человека на порог не пустили?

Семен притих, наклонил голову, принимая эти слова вины и на свой счет. «Однако он про дикарку узнать хочет, — подумал спальник, заметив, как пристально глядел на нее воевода, особенно когда она имя «Иван» назвала. — Околдовала, поди, моего хозяина, — промелькнула мысль. — Сказывали люди: колдовки они.

Разные присухи знают эти сибирские бабы! Не зря тогда шаньги-то приносила. Хоть и много времени прошло, а та присуха, поди, токо теперя стала силу иметь. Че бы ему посеред ночи проснуться да про Анисима спрашивать?»

Иван Григорьевич, немного успокоившись, сел на постель. «Наваждение», — подумал он. Обхватив голову руками, чувствовал, как стучит кровь в висках. Попытался вспомнить дедовскую подмосковную вотчину, подаренную государем, как самолично царь приезжал сватать Марию в сопровождении великих князей. Но не их запомнил тогда молодой Иван Григорьевич, а их чванливых дочерей с нарисованными черной краской бровями в виде полукруга, яркими румянами во все щеки, намалеванными свекольным соком. Слышал, что барышни закапывали в глаза для «глубины» взгляда какие-то капли, расширяющие зрачки. А те, которые не умели мазаться или стеснялись, для прилива крови к щекам прикладывали листья росянки. Хотя все они от природы были пригожи, имели стать, но никто, как подумал Иван Григорьевич, не мог сравниться с Ираидой. «А если одеть ее по-княжески? Затмит всех своей красотой! А если ее тоненькие пальчики украсить кольцами?» Он еще сидел какое-то время, погруженный в раздумья, затем окликнул спальника.

Семен с выпученными глазами был тут как тут, полон внимания, даже приложил правую руку к уху.

— Все. Буду просить у Анисима руки его дочери Ираиды.

— Боже милостивый! — только и мог вымолвить Семен.

В первый миг у спальника вроде как обнесло голову каким-то туманом, но немного погодя он истошно заорал: «Присушили! Присушили! Отравным зельем

напоили». Зашелся в истерике спальник. Намочив в бадье кухонный рукотер, приложил его ко лбу, чтоб остудить свою голову. А воевода в это время смеялся.

— Ваша княжеская светлость, Иван Григорьевич! — стонал Семен, усевшись прямо на полу возле ног воеводы. — Какие еще ваши годы? Скоко еще подле вас вертеться-кружиться будет княгинь, невест богатых отцов боярских кровей.

— Помолчи, Семен, — с твердостью в голосе сказал воевода. — Как рассветет, сам на заимку пойду.

— Мыслимо ли? — завопил слуга. — Батюшка-то ваш меня в кандалы заковать велит.

— Тогда сам Анисима под руки приведешь. И... — тут воевода остановился, замолчал, но немного погодя добавил: — Чтоб с дочерью.

Спальнику ничего не оставалось, как ответить покорно: «Ладно».

— Иди досыпай, — строго сказал Иван Григорьевич Семену.

На дворе была еще ночь: ни звука, ни шороха. Задув свечу, Иван Григорьевич залез под одеяло. Но не тут-то было! Сон сняло, как рукой. Его вдруг одолела тоска, он и сам не заметил, как она подкралась. Вроде в голове все было ясно, на душе радостно, но вдруг защемило сердце, и как никогда в жизни, ему стало жаль себя. Скорее всего, это было ощущение одиночества. «Господи!» — вырвалось из уст воеводы. Ему не давала покоя мысль о желании государя вновь жениться, а значит, быть его тетушке изгнанной из царских хором в монастырь. А после этого и на весь род Нагих может пасть опала. Но эти мысли ушли, их место снова заняла Ираида. Освободиться от этих дум оказалось выше его сил. Ираида была настоящей русской красавицей: стать, поступь, тонкий стан, сочетание робости и озорства! Ему

хотелось верить, что никто, кроме него, не посмеет дотронуться до Ираиды. Его вдруг охватило беспокойство, он уже корил себя, что ничего не сделал, чтобы уберечь ее. Ведь в последнее время столько мужичья появилось на заимке и в Лозьвинске. О том, что она нуждается в защите, он понял еще вчера в церкви, по ее испуганному взгляду. Ее глаза просили у него защиты.

Поутру Семен сам собрался идти на заимку, но Иван Григорьевич остановил его. Стоявшему в карауле стрельцу приказал запрячь выездных коней.

Дверь избы Анисима воевода распахнул по-хозяйски. Вся семья сидела за большим, сколоченным из плах столом и хлебала из большой деревянной чашки уху. Из рук Пелагеи выпал половник. Все замерли, повернув головы к двери.

— Милости просим, — не сразу нашелся Анисим. Он тут же сделал знак головой детям, и они — и старшие, и младшие — полезли на полати.

— Ираиду сватать приехал, — как-то просто сказал воевода, расстегивая кафтан и усаживаясь на широкую скамейку. Анисим был в недоумении: то ли не так понял, то ли не то расслышал. И потому молчал. Пелагея спрятала лицо в ладони. И только Ираида как-то неловко приподнялась над столом, обмерла, не зная, куда деться. Происходящее ей казалось сном. О воеводе она и не смела мечтать, только тайком утирала слезы, поглядывая на него издали.

— Ваша светлость Иван Григорьевич, — нашелся все-таки Анисим. — На что вам наша Ираида? Разве ровня? От мужичья ей и правда не стало проходу. Все время прячется. Не дай Бог, какой-нибудь стрелец испортит девку. А вчерась с судоверфи пильщик свататься приходил. На лицо не баский мужик и совсем не молодой, а че делать?

Ираида стремглав выскочила из избы.

— Какой пильщик? — вскочил с лавки воевода.

— Согласия не дали, но и отказу тоже не сделали. Сам в глаза Ираиды не видывал, а вона полный угол добра прислал, — показал Анисим на мешок в углу. У него кликуха есть Кирюха — Мохнатые руки.

— Господи, — непроизвольно всплеснул руками воевода. — А сама-то она как?

Пелагея заголосила на всю избу.

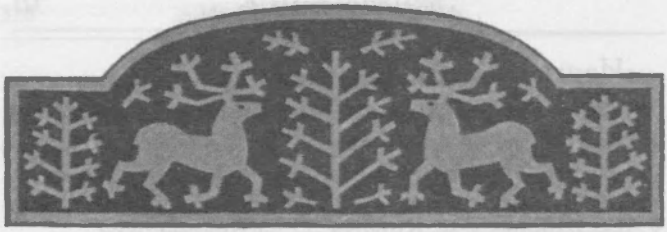
— А сама-то? Сама-то? — заволновался Анисим. — Сама-то Ираида? А куда она денется? Покамест еще под моей рукой ходит: как скажу — так и будет.

— Погубим девку, погубим, — причитала Пелагея. — Вот найдите ее, куда она спряталась? На улице морозище, а она, поди, опять на какой-нибудь крыше сидит. Околеет где-нибудь.

— Я сватов посылать не стану. Нету тут сватов, потому и приехал сам. Какой там еще пильщик нашелся? Сам сватаю — сам и возьму, коли она согласна будет.

— О, господи, — запричитал Анисим. — Не ровня она тебе, Иван Григорьевич. О, Боже мой, мне ведь скоро помирать пора, а парни все возле материнской юбки! Ираиде замуж пора, но не такого же сокола! Ведь каждому мешку своя заплата надобна, — стонал он.

На заимке будто содрогнулись берега, когда народ узнал о намерении воеводы жениться на Ираиде.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

К Антохе вогуличи ездили окружной тропой, минуя заимку и Лозьвинск. Всего версты две — и оленьи упряжки оказываясь у складов, заезжали прямо в загон, излаженный из жердей; там они распрягали оленей и отпускали кормиться.

На этот раз среди приехавших вогуличей был брат Суклёма — Тузок. Он, как и все, привез Антохе не только меха для ясака в государеву казну, но и на обмен: порох, ядра, пищали.

Антоха хорошо разбирался в ценности шкурок, сразу определял, в каком месяце был убит зверек, крепкий ли на нем подшерсток, даже мог сказать, чем кормился тот или иной зверь в этот год. Белок, добытых стрелами, отшвыривал в сторону, брал только тех, которые были убиты палками, шестом или хореем — на них нет ни пятен, ни следов подпорченной шкурки.

Тузок привез пушнину Антохе, но не только за этим приехал хитрый вогулич. Хотелось ему поглядеть на острог и увидеть самого «царя» городка — так звали они воеводу. Антоха был на своей половине избы, когда услышал, как приехали вогуличи. Идти к ним у него не было желания. Лежал в полудреме, громко икая.

— Ну где там простокваша? — кричал он, мучаясь с похмелья. Еле держась на ногах, он пошел на вторую половину избы.

Вогуличи поняли, что Антоха много выпил «огненной воды», и заторопились подставить ему крепкий сосновый чурбан.

— Пили вчерась по причине отправки последнего обоза с пушниной в этом году, — говорил он вогуличам, которым было все равно, когда и с кем пил Антоха.

Немного погодя он обвел всех мутным взглядом, но сумел заметить Тузка. Вперил в него глаза и стал пристально рассматривать. В это время приоткрылась дверь, на пороге появилась Грунька и сокрушенно сказала:

— Нету простокваши. Телок высосал весь удой. Какая тут простокваша!

Антоха выругался, махнул рукой, что означало — уйди с глаз, и стал собираться с мыслями.

Тузок, осмелев, сказал, что желает видеть воеводу. Антоха сразу отрезвел и закричал:

— Ты думаешь, так просто пойти к воеводе? Да я сам его боюсь. Лишний раз на глаза не попадаю.

Но Антохе сказали, что Тузок привез воеводе хорошие подарки и приехал к нему по делу, от самого пелымского князя Суклёма.

Подойдя к деревянной бадье с водой, Антоха долго пил воду большими глотками, потом, набрав воды в чуман, обмыл лицо и, выйдя на крыльцо, еще долго тер его пригоршнями снега.

— К воеводе, значит? — хмыкнул он, обтирая лицо рукавом холщовой рубахи. Вогуличи закивали. Антоха почесал в затылке. — К воеводе? — переспросил снова. — В острог-то попасть не так просто. Воевода кого

попало не примат, с кем попало не говорит. Реденько на заимке бывает со своими сотниками, а более с есаулом Тренькой, на судоверфи пропадает.

Только он собрался поразмышлять, как вошла Груня с туесом под мышкой.

— Ты че тут шарашишься? У меня и без тебя мозги в башке заворачиваются.

Та захохотала:

— Какие еще мозги? — и поставила перед Антохой туесок: — Пей. Тама кислое молозево, поможет.

Вогуличи, сидя на полу, с неподдельным любопытством глядели на эту сцену и переглядывались.

— Ты баба разумная, посоветуй, — обтирая губы, серьезно сказал Антоха. — Вогуличи-то на сей раз не ко мне приехали, а к самому воеводе.

— К воеводе? — пристально поглядев в сторону вогуличей, она присела рядом с Антохой. — Да Ивану Григорьевичу не до вас, он ведь жениться надумал на Ираиде.

Антоха от услышанной новости поперхнулся:

— На Анисимовой девке?

— На ней. Не лишку таких баских отыщешь. Ему под стать.

— Ты че, очумела? — удивился Антоха. — Она ведь одной буквы не нацарапает.

— А на что ей буквы твои? Будет воеводшей, и станут ей писари буквы писать, как надобно.

Про венчание Ивана Григорьевича особый сказ. Он срочно послал к воеводе Перепелицыну письмо, чтоб тот, не откладывая, послал в Лозьвинск двух молодых наставниц из монастыря да смиренных служанок-нянек, швейницу да кухарку. Еще просил в письме не препятствовать делу и послать с ними надежную охрану до самого Лозьвинска. Никаких подробностей он ему не

написал, а про себя подумал: «Не знамо, как на это посмотрит царица Мария Федоровна, которая все время для меня подыскивала подходящую невесту».

Утром пять оленьих упряжек направились к острогу. На белых быках ехал князь Тузок, рядом с ним на нарте сидел прибранный, с расчесанной бородой Антоха.

Стрелец, охранявший ворота острога, заметил приближающиеся упряжки, спустился с башни с пищалью в руках. Перед валом вогуличи соскочили с нарт. Взяв коренников за ременную упряжь, удивленно смотрели на высокие стены острога.

Антоха, буровя снег, подбежал к воротам.

— Отпирай, отпирай! К самому воеводе приехали, — кричал стрельцу.

— Спрошу есаула, — чуть слышно ответил стрелец побелевшими от мороза губами.

Ждали недолго. Несколько стрельцов, расчистив снег, с натугой распахивали промороженные ворота.

— Я-то у них вместо толмача, — подмигивая и подбадривая вогуличей, говорил Антоха.

Воевода Иван Григорьевич не следил за сбором ясака, наверное, по той причине, что сдавался он местными вогуличами исправно. Но ему было ведомо, что приезжающие в Лозьвинск торговцы немало увозят мягкой рухляди: кто скупал у вогуличей, а кто посноровистей, сам ходил на охоту.

Принимал Иван Григорьевич вогуличей в воеводской избе, тут был и дьяк. Сидя над бумагой в задумчивости, он тщательно очищал перо.

Антоха быстро переводил слова вогульского князька. Все сказанное вогуличем было интересно воеводе. Голос Тузока был тихим, и говорил он медленно, подбирал слова. А рассказывал он о том, как прошлой зимой

с другой стороны Камня по реке Чусовой проплыли руси. Волоком перетащили ладьи на Тагил. Зимой их засыпало снегом. «Всех засыпало», — повторил Антоха слова вогулича. Люди были голодны как волки. У вогуличей все брали. Шибко плохо ноги таскали. Как солнце пришло, поплыли руси в Туру, Кучум шибко дрался. Руси тоже шибко дрались. Князь Аблегирим и Кучум звали много-много шаманов. Один сказал Кучуму: «Смерть твоя будет от людей, которые строят избы, а на крышах звенят колокола». Он велел привязать того шамана к дереву вверх ногами и так оставить жизнь кончать.

— Это, поди, он говорил про наши церкви? — осмелился спросить Антоха, обращаясь к воеводе.

— Стало быть, — ответил Иван Григорьевич. «Кто эти русские?» — с любопытством подумал он, зная, что через Камень можно было попасть только через Чердынь и Вишерскую щель, а тогда им не миновать Лозьвинска. И через Печору Лозьвинска не миновать, да и даль несусветная! И он велел расспросить вогулича, не знает ли тот имя воеводы, приведшего русских на Туру?

— Ермак! — улыбаясь, сказал Тузок. — Ермак, Ермак! — повторил он.

Было о чем задуматься воеводе.

Приказав угостить вогуличей, воевода велел есаулу Треньке позвать пятидесятников, прибывших в Лозьвинск нынешней зимой. К воеводской один за другим подъезжали крепкие мужики. Шапки с головы стаскивали возле порога, кланялись, как и положено на Руси. Воевода пересказал им услышанное от вогуличей и полюбопытствовал: слышал ли кто из них об атамане Ермаке? Большинство пожимали плечами, а двое, бывавшие на строгановских землях, слышали, что хозяева Прикамья позвали к себе волжских казаков для защиты от Кучума.

Антоха тихо переводил разговор воеводы с пятидесятниками и есаулом вогуличам. Тут Тузок заговорил быстро и замахал руками. Иван Григорьевич просил Антоху перевести слова вогулича.

— Татары летом на лошадях ездят. Аблегирим на лошадях ездит. Ермак на лошадях ездит. Кучум велел собирать ясак: туда едут, сюда едут, — переводил Антоха.

Кто-то из пятидесятников засмеялся, но это не смутило вогула, он и сам засмеялся в ответ.

— Переведи, че он там лопочет, — сказал стрелец Антохе.

— Мужики Кучума хитрые, мужики Ермака хитрые, — начал Антоха. — Кучум послал мурзу Кутугая ясак собирать. Мужики Ермака поймали его и помощников. Завязали им руки за спиной крепко-крепко. В рот травы натолкали. Посадили на болото — пущай комары грызут. Все равно смерть придет. А Ермак не стал Кутугая на смерть отдавать. Хорошо кормил Кутугая, и татар хорошо кормил, и обратно отпускал. Про Кучума спрашивал: сколько у Кучума луков? Кутугай не знаю, что сказал, — переводил Антоха. — Наверно, Кучум шибко испугался: послал куда попало мурз — велел всем татарам, вогуличам, остякам с луками и стрелами плыть на Чувашский мыс. Понильские вогуличи не поплыли, на озера поехали рыбу ловить.

— Спроси, откуда он это узнал? — спросил воевода.

— Вогулич Пук с Пелыма бежал. Говорил: Кучум не пустит русских на Иртыш.

— Это с чего он взял? Это его, Ермака, Кучум не пустит в Иртыш? — возмущенно спросил Тиунов.

Тузок не понял его возмущения и продолжал рассказывать, будто на Чувашском мысу людей, как муравьев

на куче. Все ямы рыли. Луки у всех крепкие, а стрел с разными наконечниками целые короба.

— Плохо Кучум знает русских. Коли этот атаман Ермак с Волги, то Кучуму будет погибель.

Когда эти слова Антоха перевел Тузоку, тот замолчал, испугался. Приуныли и остальные.

— Аблегирим говорил: Кучум совсем-совсем старый. Глаза совсем-совсем мало видят. Может, Ермак Кучума побьет, может, Кучум Ермака.

Вдруг, ни с того ни с сего, Антоха спросил вогулича:

— Ты зачем хотел увидеть воеводу?

Тузок растерялся и не знал, что ответить. Он быстро встал, буркнул что-то непонятное сородичам. Те мигом вскочили, побежали к упряжкам.

— Уезжают, что ли? — спросил есаул Антоху. Тот в недоумении пожал плечами, но, осененный догадкой, сказал:

— Они подарки привезли воеводе.

Воеводская наполнилась аккуратно сложенными и связанными шкурками соболей.

— Антохе на склад! Все в государственную казну, — распорядился воевода, догадавшись, что Тузок приезжал сказать воеводе о соплеменниках, проживающих возле ближних к Лозьвинску проток, которые не будут брать в руки луки и стрелы и стрелять в русских.

Из острога оленьи упряжки выбежали после полудня, в наступивших сумерках они скоро потерялись из виду. Антоха, перекинувшись несколькими словами со знакомыми стрельцами, отправился на заимку. Ветер-верховик разгуливал по вершинам кедрачей, сбрасывал комья снега с зыбких ветвей.

Выйдя на берег, Антоха глянул на снежное русло реки и подумал, что вогуличи еще не так далеко отъехали и

наверняка колокольный звон непременно услышат. И Антоха не ошибся.

Остановившись посередине реки, вогуличи уже в который раз глядели сквозь серую хмурь сумерек на высокие стены острога, крепостные башни, крыши изб и обитый жестью купол церквушки, откуда летел тонкий голос. Со стороны судоверфи тянуло горьковатым дымом и виднелись очертания припорошенных снегом выстроенных судов. Удивление не сходило с их лиц. Жизнь на заимке и в остроге была для них совсем непонятной.

В день венчания Ираиды и воеводы все до единого жителя пришли в церковь. Здесь, в таежной стороне, отгороженной от мира стеной Великого Камня, кто мог осудить самого воеводу? Да и на заимке все вроде как онемели. Только одна Лукерья была бодра и весела. И, как могла, утешала насмерть перепуганную Пелагею с бабьей прямотой:

— Молодец Ираида! Счастливая Ираида! А ты, старая дура, радуйся. Хоть день, хоть неделю побывать на руках этакого молодца — так и умирать не страшно. Радуйся да Богу молись! Видела ли ты во сне, что станешь тещей воеводы? — Пелагея отворачивалась, закрывала от ее слов уши. — Все ведь хорошо, все, как у людей. — Пелагея молча кивала. Ей было страшно, что на ее дочь обрушилась такая великая благодать.

Сама же Ираида, не способная еще рассуждать и в чем-либо сомневаться, приняла жизнь безбоязно. Она была во власти ликующего чувства любви. Быть может, эта наивная доверчивость была ее спасением. Приголубленная Иваном Григорьевичем, обещавшим любить ее и беречь, она поверила ему беззаветно. Принимая любезные слова жителей заимки, приезжих мужиков, стрельцов, Ираида постоянно вспыхивала и прятала глаза, она никак не могла перебороть в себе робость и стеснение.

О, если бы она знала все премудрости взрослой жизни! Если бы она могла догадываться о людской зависти, обмане, неблагодарности! Но Ираида была чиста, наивна и всего этого не замечала. Тот же Семен, зная ее уступчивость и желание помочь людям, в первый же день ее появления в воеводской избе велел ей занести подушки из чулана. Увидев это, Иван Григорьевич дал ему такого подзатыльника, что тот туром летел до противоположной стены сеней.

— Ты, душа моя, госпожа. Гос-по-жа! — прижимая к себе перепуганную Ираиду, говорил Иван Григорьевич. — Все вокруг тебя — чернь. Они должны служить тебе, как и мне. Скоро из Чердыни приедут нянюшки-монахини, станут учить тебя грамоте, обучать премудростям жизни, — не уставая любоваться красотой Ираиды, говорил воевода.

Удивила всех внезапная болезнь Анисима. Быть может, дело было вовсе не в замужестве дочери, просто так совпало. Ведь раньше он не отличал своей дочери от остальных ребятишек. «Ему бы ходить — грудь колесом», — говорили на заимке. А он захворал. После первого стола слег и лежал лежкой. Пелагея, зная мужа, как она говорила, вдоль и поперек, хотя и испугалась и хлопотала возле него, но с Лукерьей поделилась: такое у него бывало и до этого, когда одолевал испуг. Но разве мог кто-нибудь подумать, что Анисим чего-нибудь может бояться? Пелагея не стала рассказывать ей про те случаи. Она не хотела людской молвы, мол, захворал от страха.

— И пущай на че попало думают, — говорила Пелагея, — вот пройдет полнолуние, он на поправку пойдет.

Кто знает, так оно или нет, но на ущербности луны Анисим стал подниматься на ноги. Болезни легко

опрокинуть человека, а подниматься ему самому надо. Пелагея встревоженной клушей кудахтала над Анисимом. Правильно угадав причину болезни, она шептала ему:

— Глаза-то у него на лбу (имела в виду воеводу), товар-то весь на виду. Че твоей голове кружиться? Не навяливали Ираиду. Сам выбрал. Да ужо и люди охать перестали.

— Че люди? — еле слышно сказал Анисим.

— Давай подымайся, — подала руку Пелагея. — Скоро ледоход пойдет. Поутру щука хвостом лед бьет. А зять-то тебе каку лодку заказал изладить — большую, тесовую, проконопаченную, да каждый шов на ней смолою зашит. Сказывают, уже излажена.

— О, Господи, прости мою душу грешную, — только и ответил Анисим Пелагее.

А жизнь шла своим чередом. Пролетела еще одна зима со снегами и метелями, с бурями и свистящими ветрами.

В Лозьвинске готовились к отправке разных припасов, привезенных из России для воевод Никифора Васильевича Траханиотова да Петра Ивановича Горчакова, возводивших остроги на Тавде-реке и Сосьве.

В это время атаман Ермак с дружиной уже вел великие сражения с Кучумом на Чувашском мысу. Больше всего Кучум боялся страшного смертоносного оружия, о котором рассказывал ему полоненный и отпущенный Ермаком мурза Кутугай. Дрожа, он говорил, что когда из него стреляют, то оно пышет огнем, дымом и громом, а от невидимых стрел ничем защититься невозможно: панцири, кольчуги — все пробивает навылет. Да и шаманы шептали, что эти люди несут Кучуму погибель, что над его землями появляются города с высокими башнями, на тех башнях звенят колокола, а наверху блестят кресты. В них спрятана великая сила.

Кучум был неумолим: тысячи вооруженных воинов вихрем носились по Прииртышским просторам, силой — через целование окровавленной сабли — приводил к присяге инородцев на борьбу с появившейся дружиной Ермака. «Строганов, собака, Строганов послал Ермака. Я буду сжигать его деревни и варницы», — грозился Кучум. Татарские стрелы били без промаха в казаков Ермака. Их становилось все меньше и меньше. Отрезанный стеной Великого Камня, Ермак с верными своими атаманами и казаками, оставшись в неведомой вражеской стороне, уже не надеялся уберечь свои завоевания без помощи Строгановых. Об этом он написал им, а доложить об успехах над войсками Кучума послал к царю одного из своих атаманов.

Кучум, потеряв главные рубежи своего ханства, собрав жен, домочадцев, имущество, бежал в прииртышские степи. «О, горе мне! Покрыла срамота лицо мое: кто мя победи и царства моего лишил? Простых бо людей послаша на мя Строгановы... атаманов и казаков Ермака с товарыщи, не со многими своими людми, и той нас нашед победи и толика нам зла сотвори: воинство мое избиша и сына моего уязвиша, еле жив от них увезоша, и мене самого посрами и от царства моего отчина...» — так передает летопись слова Кучума.

Но тогда еще Кучум надеялся на победу. Он загородил Тобол, и Ермак со своими казаками дрался с татарами трое суток без сна и отдыха. Ермак подбадривал товарищей и всегда был там, где труднее. Атаман был речист, умел вдохновить друзей, вселить в них веру. «...Не дадимся бегству и тоя худыя славы себе не получим, и укоризны на себе не положим, но возложим упование на Бога: не от многих бо вои победы бывают, но свыше от Бога помощь хот дается: может бо и беспомощным Бог помощи... Вспомним братья обещание свое, како мы

честным людям перед Богом обеты и слово свое даша, и уверившиеся крестным целованием, елико всемогий Бог нам помощи подаст, а отнюдь не побежати, хотя до единого все умрете, а вспять возвратитися не можем срама ради и преступления ради слова своего, еже с клятвою обещахомся: аще нам всемогий, в Троицы славный Бог поможет, то и по смерти нашей память наша не оскудеет в тех странах, и слава наша вечно будет». И атаману казаками был дан ответ: «...Вкупе готовы умерети за святыя Божия церкви и за истинную православную веру пострадати и благочестивому государю царю и Великому Князю Ивану Васильевичу всея Руси и послужим и постоим против поганых твердо до самой смерти».

И развевались флаги на стругах, а над погибшими в жестоких схватках товарищами вырастали могильные холмы.

Разбив воинство Кучума и овладев столицей Сибири Искером, Ермак стал писать письмо государю самолично, бить челом и кланяться ему новым царством...

Сотворив молебен, Ермак собрал казачий круг и зачитал свою челобитную царю Московскому Ивану Васильевичу: «Всемиластиваго в Троице славимаго Бога и Причистыя Его Богоматери и великих чудотворцев всея Руси молитвами, — Тебе же Государя Царя и Великаго Князя Иоанна Васильевича всея Руси праведною молитвою ко всещедрому Богу и счастием Царство Сибирское взяша и царя Кучума с вои его победиша и под твою царскую, высокую руку покориша многих иноземцев, татар, и остяков, и вогулич, и к шерти (присяге) их, по их вере привели многих, чтобы быти им под твоею государскою высокою рукою до века, покамест Бог изволит вселенной стояти — и ясак давати Тебе Великому Государю всегда, во вся лета, без переводно. А на русских

людей им зла никакого не мыслити, а которые похотят в твою государеву службу — тем твоя государская служба служити прямо, недругом твоим государским ни в чем не спускать, елико Бог помощи сподает, а самем им не изменить, к царю Кучуму и в иные орды и улусы не отъехать и зла на всяких русских людей никакова не думать и во всем правом постоянстве стояти».

В конце письма Ермак просил прощения за учиненные прежде им самим и его товарищами разбои. А для большего успеха своего письма послал в дар царю мягкой рухляди: 60 сороков соболей, 20 черных лисиц и 50 бобров.

О пути атамана Ивана Кольцо с товарищами в Москву думали долго. Им, плавающим по рекам, были мало ведомы сухопутные дороги, просеки, разные тропы. Один из понильских вогуличей, до этого служивший у Аблегирима и бывавший на Тавде-реке, вызвался стать проводником в Лозьвинский острог.

Грустил Ермак, провожая друга в родную Россию. Догадался атаман Кольцо о думах товарища и сказал, подмигнув:

— Смотри, кручина иссушит лучину.

Но первыми с радостной вестью в Москву приехали братья Строгановы. Царь, узнав обо всем, повелел во всех церквях служить молебен, звонить во все колокола. Обласкал Строгановых, одарил подарками и назначил встречу Ермаковому посольству в Кремле.

Атаман Иван Кольцо, чтобы не встречаться с разрозненными, шатающимися по лесам людьми Кучума, чтобы не искушать судьбу, выбрал путь по «волчьей тропе»: между горными увалами недалеко от Вишерского волока, где тянулись большие болота и паслись оленьи стада. А где олени — там и волк. Подбирались они к этим тихим и мирным животным по каменистым тропам

среди гор. Проводник знал эту тропу, хотя в последние годы многие о ней стали забывать. Из России добирались через Чердынь и Лозьвинск. Да и волки на старой тропе стали редко появляться — пастухи давно перегнали оленей севернее, к горам, где в ложбинах между подножий рос чистый, кустистый ягель.

Езда на оленях всегда по-своему интересна, а для тех, кто отправляется в дорогу впервые, просто несказанно интересна. Перед человеком открывается бескрайний простор. Но монотонная езда утомляет даже любопытного путника, и тогда он начинает дремать, опершись спиной о привязанный тюк, и слушать протяжную, однообразную мелодию каюра, под завывание которой невозможно не уснуть. Только вдруг на какой-нибудь снежной ухабине нарты неожиданно подбросит, а то и опрокинет вверх полозьями, тогда вскочишь, стряхнешь снег и снова садишься дремать под однообразный бег оленей и скрип полозьев.

Атаману Ивану Кольцо было лет под пятьдесят. Среднего роста, с проседью на висках, с короткой бородой, он был сдержан и немногословен. По монотонной песне вогулича он догадывался, что ему хорошо живется на родной земле. Когда оленей остановили на отдых, собравшиеся каюры шумно заговорили между собой, а казаки, сопровождавшие атамана, делились впечатлениями от дороги.

Оказалось, что река Лозьва вполне судоходна. И не без удивления казаки узнали о существовании Лозьвинского городка, к стенам которого они подъезжали. Издали зубчатые стены частокола ясно вырисовывались на низком хмуром небе. Из крепостных ворот вела наезженная дорога. Подъезжая к ним, казаки стащили дорожные савики и предстали перед караульными стрельцами в своем казацком одеянии. К воеводе пустили

только одного атамана, но скоро ворота широко распахнулись и для остальных.

Воевода Иван Григорьевич гостей принял радушно.

Был канун Рождества. И хотя атаман Иван Кольцо торопился попасть скорее в столицу, тем не менее он принял участие в праздничном богослужении и посидел за рождественским столом. Порадовали казаков колядки, о которых они давно забыли:

— Мы ходили, подходили колядочники! — заводила голосисто Лукерья.

— Та Усень, Та Усень! — подхватывали остальные.

Мы искали, поискали у Иванова двора,
Та Усень, Та Усень!
Иванова-то изба в Лозьве-городке
На Лозьве-реке!
Та Усень, Та Усень!
У Ивана-то Григорьича одна хоромина,
Та Усень, Та Усень!
Он красив да пригож!
Та Усень, Та Усень!
А хозяюшка его Ираида — ягодка!
Та Усень, Та Усень!
Походи, родима женушка, по своей, по новой горенке,
Поищи, родимая, от амбару золоты ключи.
Поскорей все делай, хозяюшка!
Прищипало ножки резвые
В онучах крапивных!
Та Усень, Та Усень!

Казаки разомлели в тепле, а особенно от веселых бабьих прибауток. Так и остались бы тут, но надо было торопиться на встречу к самому государю. Ни о чем не расспрашивал Иван Кольцо воеводу, больше о своей заботе душа болела, да и Иван Григорьевич тоже помалкивал, даже не сказал о своем родстве с государем.

Пробыв в Лозьвинске три дня, Иван Кольцо отпустил вогуличей, нанял в остроге подводы, сгрузившие

привезенный товар, и, благословясь у отца Евлампия, отправился через Чердынь в столицу...

В тот день, когда государю Ивану Васильевичу доложили о прибытии из Сибири одного из атаманов Ермака, он был в хорошем расположении духа, хотя брови его при докладе насупились и редкая борода несколько раз вздрогнула. Во время доклада он рассматривал свой посох, украшенный прекрасными алмазами, и размышлял: «Вот алмаз, самый драгоценный из камней. Я никогда не любил его, но он удерживает от властолюбия и сластолюбия, дает воздержание и целомудрие, малейшая частица его может отравить лошадь, если дать его в питье. Рубин, — он перевел взгляд на другой камень, — оживляет сердце, мозг, дает бодрость и память человеку, очищает застывшую испорченную кровь. — Потрогал сухим, корявым пальцем изумруд. — Вот он — враг всякой нечистоты. А вот сапфир, он придает храбрости, веселит, обостряет все чувства, пленяет глаз, прочищает зрение, удерживает приливы крови, укрепляет мускулы, восстанавливает силы...»

Звуки труб и звон колоколов предшествовали появлению посланца Ермака — атамана Ивана Кольцо — с шестью стольниками.

— Великий государь, — с волнением в голосе сказал атаман, низко кланяясь. — Мы, опальные волжские казаки, осужденные тобою на смерть, бьем тебе челом: прибавь к своим владениям еще и Сибирь.

— Кто старое помянет... — ответил государь, протянув руку для поцелуя. Он пожаловал казаков Ермака великим жалованьем. Пусть русские люди селятся на новых землях. Царь послал с Иваном Кольцо Ермаку два панциря, кубок, сукно и шубу со своего царского плеча.

— Нам бы, государь, надо поболе оружия огнестрельного, — промолвил атаман

— Не будет вам оскудения.

Это были последние дни жизни царя, но он еще успел отправить воеводами князей Семена Болховского и Ивана Глухова в сибирские города, завоеванные казаками. Их сопровождало несколько сотен ратных людей. Кроме этого велел он вологодскому архиерею послать в Сибирь десять священников. Одно дело послать людей, другое добраться до Сибири!

До Соли Камской дороги были пни да колоды. А дальше к Чердыни? Надо было ждать вскрытия рек: Камы, Вишеры. Солнце светило немилосердно, прямые колючие лучи рыхлили снег, по которому ни пройти, ни проехать.

— Бабенок бы пригласить на житье в Сибирь, — посоветовал кто-то атаману Кольцо.

— Надо. Да не бабье это дело по таким дорогам ковылять. Ее, бабу-то, жалеть надобно. Ей не пищали таскать, а ребятенков вынашивать. А на что она в Сибири яловая-то? — в его словах была чистая правда.

— Когда теперя в Лозьвинск попадем! А к Ивану Григорьевичу заглянуть хочется. Теперича мы люди вольные-привольные!

И тут в Соли Камской кто-то обмолвился, что какой-то посадский мужик Ортюшка Бабинов просеку изладил — по ней прямиком можно выйти в верховье Туры. Дороги-то еще нету, а люд попер! Не то что через Чердынь — вчетверо короче.

— Поди, врут. Столько лет кружили, а теперя додумались. Че, до нас-то безголовые были?

— До нас-то туда никто нос не совал: везде кишела татарва, а теперь куда ни глянь — русские.

— Какие тут русские, коли церквей нету.

Желание порадовать атамана Ермака Тимофеевича царским прощением было сильнее всяких трудных дорог. И отчаянные казаки отправились в лесную чащобу, отыскивая на деревьях засеки, поставленные посадским мужиком.

Только Богу ведомо, как добрались Ермаковы казаки до верховий Туры-реки. Ее бурное течение они узнали по горному водопаду. Взобравшись на отвесные отроги Великого Камня, сидели задумавшись. Перед глазами виднелся необозримый сибирский простор. «Будут и церкви, будут и монастыри! Делов-то в Сибири! Конца и краю им никто не увидит», — сказал атаман Иван Кольцо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Быстро растрезвонили московские колокола о славной победе атамана Ермака над сибирским ханом Кучумом, и велено было с тех пор считать Сибирское ханство покоренным и присоединенным под высокую руку Российского государства.

И хлынул люд в Сибирь на поиски богатства и счастья. Шли наугад, навстречу солнцу, лесами, непроходимыми дебрями, плутая по берегам безымянных рек. Дивились и пугались обилию многочисленного зверья и птицы. Больше всего страдали не от усталости, а от несметных полчищ комарья и гнуса, которые поедом ели путников, не давая им покоя ни днем, ни ночью. Из Устюга, Вологды, Соли Камской, Прикамья, нанимая провожатыми следопытов-охотников, шли люди. Версты меряли вдвое-втрое больше, чем через Чердынь, плутали, возвращались на прежние места, но у русских все наперекор: пересолю, да выхлебаю! Раз казаки прошли, то и мы не лыком шиты.

Соблазняли первых русских поселенцев казаки да посланные государем стрельцы: они щеголяли в дорогих лисьих и собольих шубах, хвастали сибирским

богатством, забирали с собой не только девиц, но и замужних женщин, обещая им привольную и богатую жизнь.

Только дорога через Чердынь и Вишерскую щель — на Лозьву-реку оставалась безлюдной. Там по-прежнему было тихо, жизнь шла размеренно, вдалеке от шума и страстей. Исправно строились суда, работала кузня, вовремя звонил колокол лозьвинской Троицкой церкви. Своим порядком шли грузы через Лозьвинск в новый город Таборы, поставленный на реке Тавде. И там была поставлена и освящена церковь во имя Рождества Христова с приделом в честь Николы Чудотворца. Прислали для церкви книги, колокола, священник прибыл из Перми, а дьякон из Ростова. А еще пришла царева грамота, в которой велено было бежавшим в Сибирь крестьянам, чьи бы они ни были, оставаться на месте, строиться на пашнях, а тем, кто с женами и детишками, оставаться около города, тоже для государевой пашни. Вместо соболиного ясака велено было брать с них подать хлебом.

Получив такую бумагу, Иван Григорьевич задумался. Его эта грамота обеспокоила: сюда не шел крестьянский люд. Писана она была для земель, пригодных для хлебосеяния. «Знать, писано для тех, где прошли казаки Ермака». Да и есаул Тренька Деев был удивлен, что в нынешнюю зиму стрельцов пришло из Чердыни совсем мало, а Антоха жаловался, что и грузов почти не привозилось. И опять же пришла бумага из Чердыни от воеводы Перепелицына. В ней говорилось:

«Се яз Десятник Тимофей Евтихеев Першин, да его десятник Федор Евстафьев сын по прозвищу Житкой Поморец, да Иван Михайлов сын Неношенин, да Левка Степанов сын Москвитинов, да Андрей Дмитриев сын

Галичанин, да Федор Давыдов сын Шалам Устюжанин, да Володимир Калинин сын Рогова Пермитин, да Михайло Никитин сын прозвище Пятко-Опалихин Пермитин с Покчи, да Михайло Захарьев сын прозвище Зять-Черевковец, да Осип Яковлев сын Даниловец поручились есьмя промеж себя всем десятком десятью человек друг по другу у Сотника у Стрелецкого, у Клима Шокурова в том быти нам на государевой службе в новом городе в Таборах на житье в стрельцах, и Государева служба служити, а не воровати, корчмы и бляди не держати, и зернью не играти и не красти и не разбивати и не збежати. А кто из нас из десяти человек збежит, и на нас на порутчиках на мне на Десятском и на товарищах моих Государево жалованье денежное и хлебное и пеня государева, а в цене что государь укажет, и наши порутчиков головы в его голову место. На то послуси Иван Клементьев сын Есипова, да Иван Иванов сын Василья Высокого брат. Записка писана в Чердыни Михайло Иванов сын. Лета 7101/1593/ году февраля в 21 день».

«Знать, облюбовали они земли в Таборах. Но и у нас, коли захотеть, хлеб растить можно. Сам не видел, а сказывал Тренька: за куренем на вспаханной земле у стрельца Михайлы озимые дружно взошли да и колос успел налиться. Нет, тут что-то другое», — размышлял Иван Григорьевич.

Причина того, что количество грузов, проходивших в нынешнем году через Лозьвинск, уменьшилось, была в другом.

Ортюшка Бабинов, засеками которого сумели воспользоваться казаки атамана Ермака, торопившиеся с царскими подарками и новостью о снятии с них всех прежних грехов, был вызван к воеводе города Соли Камской Богдану Поликарповичу Лупандину. Воевода

должен был помочь нарисовать Ортюшке на бумаге чертеж своей дороги. Ему даны были на подмогу люди, умеющие делать такие рисунки. Ортюшка был простым посадским парнем и занимался охотой, или, как принято говорить в этих местах, ходил лесовать. Как встанет на лыжи по первой пороше, так и бродит, кружит по лесам. Иногда ему казалось, что по одному и тому же месту его лесные лешие кружат. В охоте был не больно удачлив, но шубу себе сшил из добротного меха. Ему и положено было франтить: холост был, да и видели его дома только по великим праздникам. Наденет бобровую шубу и кружит по посаду взад-вперед. Иной раз скажут девки: «Ортюшка, не жарко тебе в этакой шубе?» Однажды к Рождеству Ортюшка не воротился домой, мать в слезы: знает Ортюшка лес насквозь! Видно, что-то приключилось. Не задрал ли медведь, не увел ли леший в какую-нибудь другую сторону? В церковь сходила, свечу поставила Ортюшке за здравие, а люди шептались: поди, ужо в живых-то нету — вторую зиму не показывается. А Ортюшка по весне появился на подводе, впряженной в хороших лошадей, да с молодой бабенкой. Ладная она такая и уже в тягости была. Матери сказал: «Взял ее в верховьях Туры». А про ту речку Туру в Соли Камской еще слыхом не слыхивали, разве что мужики-лесовики знали. А Ортюшка похвалился, что смог с Туры прямиком на Соль Камскую не только выйти, но и лошадью проехать, да еще засеки оставить. Мало кто тогда ему поверил, только казаки Ермака прошли по тем засекам, и об этом стало известно в Москве. А когда пришел воеводе царский указ найти человека для поиска новой сибирской дороги к строящемуся городу на Туре, Богдан Поликарпович усмехнулся в усы: «Че искать-то? Кабы не Ортюшка, долго бы еще искали эту дорогу». И Артемий, как стал навеличивать его

воевода, закуражился. Приехал к нему воевода в тарантасе. Тут уж Ортюшка посовестился.

— Велю я, Артемий, главным тебя поставить, — сказал воевода. — Будешь теперь по царскому указу проделывать прямую дорогу в Сибирь на верховье Туры.

— Я, господине Богдан Поликарпович, не откажусь дорогу показать, так тама делов-то полно. Скоко токо речушек, узких и широких. Через них ведь мосты надобны. А ручьям счету нету.

— С тобой пойдут целовальники, грамотой ведающие и чертежи писать умеющие, да сорок мужиков дорогу чистить, просеку рубить.

— Я-то привык один по лесу ходить, а с этакой оравой мне не управиться.

— У тебя, Артемий, одна забота — дорогу показывать, не кривить, не шарахаться из стороны в сторону, а чтоб делалась дорога прямиком, а их дело — лес валить да чистить от пней, мосты строить.

— Я ведь в лесу только на глаза надеюсь да на солнце. Как чуть сумленье возьмет — на дерево лезу. Смотрю оттуда, покуда не смекну, куда идти дале. Сам-то я коли спутаюсь, так воротиться могу. А тута как да у меня ошибка случится? Голову на плаху али в веревку?

По вдумчивому, внимательному взгляду Ортюшка, видать, понравился воеводе. Он отметил в нем честность и ясность мыслей. Ортюшка тут и сказал:

— А можно, для начала я еще раз один ту тропу пройду? А даст Бог воротиться живым-здоровым, с посошными отправлюсь.

— Не ближний свет, — ответил воевода.

— Так дорогу-то ладить надо навсегда. Семь разов меряй — один раз отрезай. А мужики-то пока шельшевель, я к середине зимы ворочусь. К той поре моя Лександра распростается, — и весело засмеялся.

Расстались они довольные друг другом, как было договорено — так и сделано. Воротился Ортюшка ближе к весне. Отощал. Шутка ли — взад-вперед более полутыщи верст, да каждую версту с оглядкой. К тому времени Лександра его сыном обрадовала. Воевода Богдан Поликарпович велел за казенный счет ему баню срубить. Через седмицу Ортюшка сам пошел в воеводскую. Только и сказал: «Как в лесу снега не станет, зачинать можно».

Двое целовальников прибыли в Соликамск из Перми. По всему видно — люди, грамоте ученые. Привезли с собой больше двух десятков пермских посошных людей со своими топорами и пилами. Остальных подбирали на месте.

Ортюшка свою тропу знал как следует: вел напрямик, уверенно, не путался. Робота у мужиков спорилась. В лесу наступала весенняя благодать: каждая травинка, красы неописуемой, к солнцу тянулась. Через малые ручьи да овраги мосты мостили, крепили крепкими столбами. Лесные запахи и прошлогодняя прель кружили головы. Мужики даже песни затевали петь. Все больше про любушек да зазноб, редко когда грустную затянут. И вдруг нагрянуло комарье! Уж про эту божью тварь сказано-пересказано: изводит она человека до злобы неописуемой. И зверье от оводов бежит на простор. А куда мужикам? У них дорога все лесом да редко полянами, а в траве комарья еще больше. Дымом спасаться боязнь берет — вдруг какая искра на сухие листья упадет! И до пожара недалеко. Не приведи Бог видеть лесные пожары! И давай клясть они Ортюшку, что сподобило ему найти этот путь на Туру. Воротиться назад совестно, да и заклад наперед получили. Ропот пошел: зря согласились. Клянут Ортюшку по делу и без дела. А Ортюшке, как на беду, воевода дал коня, чтоб не так ноги

мучить. Обозлились мужики на Ортюшку. Слушать его не стали, а сели сочинять письмо воеводе: мол, Ортюшка Бабинов велит «...дорогу чистить узко, и мосты мостит худые. От Соли от Камской до нового города, до Верхотурья, двести шестьдесят три версты, а мостов мостили через речки, через буераки и через грязные места до Верхотурья поперечных семь мостов, длинных тридцать мостов, а на поперечных мостах пятьдесят шесть сажен, а на длинных мостах сто тридцать пять сажен».

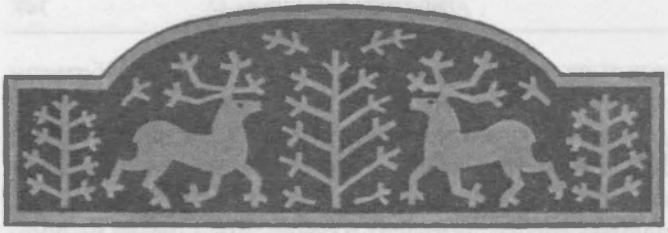
В это время, узнав о строящейся дороге, люд повалил безостановочно. Видано ли такое благо! Через Чердынь две тысячи верст, Ортюшкиной дорогой — три четверти сотни. Какая там узкая дорога? Какие там плохие мосты? Всякий ехал не без топора. Где узкие места — срубит дерева два, где мост весенней водой покосило или смыло, опять же не без рук! И вперед, в Сибирь! Хвалили Ортюшку за смекалку. А посошные мужики не унимались, просили воеводу убрать с их глаз Ортюшку Бабинова. Они снова писали: «...чтоб дорогу чистили старова лучше и шире, и гнилья не было, и мосты б мостили хороши, чтоб та дорога была не узка и мосты были хороши, и пенья бы чистили из коренья, и заломов бы на той дороге не было, чтоб наши сибирские хлебные запасы и всякая наша казна было проводять тою дорогою лично, и служивым бы всяким людям ездя тою дорогою в грязях и в недомостех нужды не было».

Сколько ни ругали Ортюшку, а всем пришлось признать: только той дорогой стали ходить в Сибирь! Ходит наша соболиная и денежная казна и хлебные запасы... И царь пожаловал Артемия Сафонова сына Бабинова. Дал ему свою Государеву жалованную грамоту «что ево деревнишка и с двора, что на посаде у Соли Камской в Сибирские запасы и оброков никаких с него

имати не велел, и велел его во всяких подотях обольготить, и велел ему на той же новочищенной Сибирской дороге жити на Ейве-реке на льготе... а вниз по реке Ейве пятнадцать верст до Ика реки пашнею и сенными покосы и всякие угодья за всю службу, что он в Сибирь прямую дорогу протравил и прочистил. Писано на Москве. Подлинная грамота за закрепью Дьяка Федора Опраксина».

Так нежданно-негаданно обогнул Великий Камень простой русский мужик по имени Ортюшка. По ней из Москвы тянулась дорога к Переяславлю-Залесскому, от него через Ростов к Ярославлю. От Соли Камской к Верхотурью, оттуда к Туринску, Тюмени, а там и до Тобольска рукой подать — к могучим сибирским рекам.

Если бы не Ермак Тимофеевич с дружиной! Если бы не покорение им грозного Кучума! Если бы не Ортюшка Бабинов! Если бы не крестьянский простой люд! По богатырям и силища. Богатырями и богаты богатырские земли.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Велик ты, Камень, разлегшийся посреди земли от ледяного океана до сыпучих песков! Обросший вековыми мхами-лишайниками, хвойными лесами, со зверьем рычащим, воющим, лающим, вселял ты страх в человека, пытающегося подняться на твои вершины. Боялись тебя и те, кто осмеливался перевалить через твои глыбы, боялись твоих многочисленных богов и духов. Только сбегающие с твоих вершин ручейки сумели проточить сквозь стены себе дорогу. Кто сможет сосчитать все безымянные ручьи и речушки, взявшие здесь начало? Это их чистые, как слезы, воды помогли человеку одолеть тебя, Великий Камень.

По одной из них, Вишерской щели, показанной шаманом Перко, приплыли первые русские люди, поставили на Лозьве-реке русский острог, город Лозьвинск. От него ратичи поплыли по другим рекам. С ним связаны постройки городов Туринска, Пелыма, Березова, Сургута. На реке Тавде был поставлен острог и городок Таборы.

В один из хмурых зимних вечеров к Анисимовой заимке с небольшим обозом прибыл большебородый, грузный отец Олимпий. Как стало известно, он был

направлен из Перми для освящения в Таборах новой церкви во имя Рождества Христова. Приехал не один: с дьяком и псаломщиком, на трех подводах, на одной была утварь для нового храма.

— В город вам надо, в воеводскую, — узнав о прибывших, сказал Анисим. — Тама теперь все дела делаются.

— Зашибся я ноне, — бормотал гость, морщась. — Хотел попасть в Таборы по прорубленной посадским мужиком Ортюшкой Бабиновым дороге, люди говорили, что ведет она прямиком к Верхотурью, а тама, мол, недалеко. Поехали, да, видать, дорога та еще толком не объезжена. Водятся на той дороге разные лешие. Как давай они коней-то гонять! Лошади как сдурели: храпят, мечутся из стороны в сторону. Угораздило нас в овраг свалиться, одна подвода кубарем. Изувечил я спину, воротился бы назад, да владыке слово дал. Пришлось через Чердынь сюда. Ох, не мое это дело — обозы водить, — вздохнул отец Олимпий.

Гость хвалил ладный городок, в котором предстояло ему пожить да поправить спину. Помог Олимпию один из дьяков, после лечения велел лежать трое суток на животе, потому как клал ему на ушибленное место каленый камень, обернутый в крапивную мешковину. Привез с собой отец Олимпий бумагу, в которой было написано: «И приехав на Лозьву, тот ладан, и тимьян, и воск, и вино церковное отдать Ивану Нагому. Да послано на Лозьву Ивану Нагому десять пудов зелья да десять свинцу». Товар не велик, но для Лозьвинска, да особо для заимковских прихожан, — невидаль. Тимьян, который жгли вместе с воском специально для церковных нужд, наполнял церковь неслыханным запахом и казался божественным.

Только то место на бумаге, где было написано про церковное вино, было испачкано, как заметил внимательный

отец Евлампий. Кабы не толстое стекло, хранившееся у него в коробке с нательными крестиками, ему бы ни в жизнь было не разобрать слов «ведро церковного вина». Расспрашивать о вине отца Олимпия Евлампий не стал. Мало ли что могло произойти в дороге. Хотя и жалел — ведь целое ведро! Было бы чем причащать прихожан.

Мало-помалу отец Олимпий стал поправляться, вставать с жестких плах и ходить по острогу. Отец Евлампий, приглядываясь к гостю, заметил, что тот не торопится в Таборы, и зачем-то повадился ходить на заимку.

В избе Анисима для него отвели почетное место: на передней широкой лавке. Анисим, человек бесхитростный, рассказывал о сыновьях и о том, что зять-воевода подарил каждому по коню, теперь у них забота прокормить их до свежей травы: рубят тальник да молодые кустарники. В прошлые-то зимы обозники много привозили овса, да и сена на каждой подводе было немало, а нынче бессенница. На другой раз Анисим рассказал, как кто-то из стрельцов научил его сыновей плести из крапивных нитей сети...

Все бы ладно, да в тягость был Анисиму гость. Ему бы самому полежать надо, а тут чужой человек. И все с разговорами.

Как-то поутру к Анисиму забежал Антоха и стал рассказывать, что теперь на Туру прорублена дорога и по ней пошли обозы, минуя Чердынь: «То-то ноне и опустели склады, и обозов совсем мало». Отец Олимпий разговорился с Антохой, а когда тот засобирался к себе, поплелся за ним следом. Антоха попытался отговорить его: мол, идти по узкой тропке вдоль берега версты три, но отец Олимпий не отстал. Как после узналось, отец Олимпий соблазнился брагой, сваренной Грунькой из

ячменного солода, купленного еще в прошлом году у какого-то купца. О браге Антоха сказал мимоходом, невзначай, но отец Олимпий не пропустил его слов. И так он напробовался у Антохи браги, что уснул на полу.

Наутро, ни свет ни заря, вдоль берега бежала Лукерья, юбка пузырилась на ветру. На переметах запиналась, ноги проваливались в глубокий снег, бежала она к Анисиму. Еще с порога закричала на всю избу:

— Поп-то Олимпий, пропащий пьяница, нахлестался браги поболе Антохи и орет в избе, яко медведь в берлоге. Ох, охальник экий! Сграбастал меня да давай титьки щупать!

— Ой! — всплеснула руками Пелагея.

— Да каки ужо у тебя титьки, Лукерья? — засмеялся Анисим. — Поди, одни мешочки остались?

Лукерья тараторила свое:

— Орет во все горло, что городу-то нашему недолго жить осталось. На што он сдался в этакой дали? Кому надо ехать через каменные горы, реки в этакую даль?

Лукерья передала в точности слова отца Олимпия, в глазах которого, больших и черных, как казалось бабе, плясали черти.

Набожный и смиренный отец Евлампий, узнав о случившемся с отцом Олимпием, только и промолвил: «Прости его, Господи!» Живя по скитам и монастырям, он знал, что не все люди, посвятившие себя церкви, Богу, могут отказаться от земных радостей. Спасаясь от людского осуждения, они подаются в глухие, дикие места. Таков был и отец Олимпий. Не случайно поехал он в тьмутаракань. Отлученный на три года от церкви за бражничество, он упросил владыку отправить его служить в какую-нибудь церквушку в один из строящихся острогов, где прихожане из числа бывших язычников — вогуличей и остяков. Поскольку желающих ехать в глушь

было сыскать нелегко, владыка, еще раз простив Олимпия, благословил его и послал в новый острог Таборы.

Появление отца Евлампия в «хороминах» Антохи спутало пьяную трапезу и почти лишило языка бедного Антоху, который повалился на лавку, закрыл голову лопотиной, увидев скорбное лицо священника. В нем проснулась вина за случившееся. Олимпий при виде отца Евлампия сразу завопил:

— Грешен, грешен, грешен! Во многом грешен, а более всего в том, что в дороге выпил все вино, посланное церкви.

О конфузе, случившимся с отцом Олимпием, воевода услышал в воеводской, где разбирал с дьяком бумаги и готовил с пятидесятниками и есаулом грузы для отправки в Таборы и Пелым:

«Пищаль в 4 гривенки ядро, а к ней 200 ядер железных.

Пищаль девятипудовая 2 гривенки ядро, а к ней 200 ядер железных.

100 пищалей затинных, а к ним по 200 ядер к пищали, итого 20000 ядер.

10 пищалей долгих, а к ним по 200 ядер свинчатых, итого 2000 ядер.

Да в тот же новый город послано 50 пуд зелья, 50 пуд свинцу.

Да в тот же новый город Табары взять у Ивана Нагого 10 пуд железа для городового дела.

Да с Лозьвы взять на расход разным людям 70 пуд соли и велети соли привести в стругах и давать в расход служивым людям».

В это время несмело вошел в воеводскую отец Евлампий с лицом скорбным и побледневшим. Хотел сказать о случившемся одному Ивану Григорьевичу, но, перекрестившись, изрек при всех:

— Привел его в кротость. Уж какие слова-то он знает в собственное оправдание! Пусть Бог прощает его грешную душу.

Сидевшие в воеводской уже знали о случившемся с отцом Олимпием запое. Разве можно было хоть что-то утаить на заимке? Если где собака пробежит, и то знали, чья и в какую сторону. А тут такое событие! Все видели, как поп, запинаясь, с горькими покаяниями, падая в снег, торопился за отцом Евлампием, а бедный Антоха, очухавшись от запойного угара, но с непрерывной икотой, протягивал упавшему в снег Олимпию руку, помогая подняться.

— Этакова попа надо пешим отправить до самых Таборов! Не давать ему никакого суденышка, — сказал кто-то из десятников.

— Али совсем расстричь бесстыжего! — добавил другой.

Но отец Евлампий сказал:

— На все Господня воля! — И, посмотрев на Ивана Григорьевича, добавил: — Еще и другое им наговорено.

По взгляду отца Евлампия воевода понял: ему нужно сказать что-то наедине.

Дьяк, перебирая государевы бумаги, осторожно складывал одну к другой, некоторые просматривал: «...Променяти тамошним людям на соболи и на лисы черныя и на шубы на собольи гривенку и по две гривны, а пуд применить в восемь рублев, а что на те котлы соболей и лисиц и шуб соболиных вымените... Держите тое рухлядь в государевой казне, за печатью и прислать к Государю к Москве с ясашною казною вместе, да о том отписать к Государю подлинно в приказ к дьяку к Ондрею Щекалеву».

— Так эта бумага уже вся исполнена, и все отослано с ясашною казною, — вмешался есаул Тренька. — Помню, они на бережении у Антохи лежали: тридцать пять

котлов медных, а в них весу пуд с четвертью, и еще тридцать пять котлов, а в них девять пудов с четвертью. Энту бумагу откладывай в сторону. На заимке у всех есть котлы от того привозу. Хорошие котлы!

День разгуливался. Ветер стих, присмирел, солнце ровной розоватой полосой прикрывало высокие облака.

Иван Григорьевич, постояв на крыльце воеводской, отправился в церковь вслед за отцом Евлампием. Пятидесятники и целовальники остались заниматься подготовкой грузов к отправке вниз по Лозьве-реке.

— Энтот поп все в голове спутал, — признался дьяк, испытывая ничем не объяснимую тревогу. — Шаромыга.

Отец Евлампий поджидал воеводу в нетерпении, перебирал в руках четки — нитку с узелками. Пьяный бред отца Олимпия оставил в его душе неприятный осадок. Тот хулил умершего государя, обзывал его всякими непотребными словами. Кричал, что к власти пришел слабоумный царь Федор. Хотя на самом деле так и было, но совсем не его, отца Олимпия, ума это дело. Не его пьяными устами лепетать перед православными! Но слова отца Олимпия о том, что городу Лозьвинску скоро не быти, были слишком похожи на правду. И это сильно обеспокоило отца Евлампия, потому что он, человек рассудительный, не мог не заметить, что приходить обозы стали совсем редко.

— Только и живем ожиданиями. Только и ждем вскрытия реки, — сказал воевода. — Вот-вот лед тронется. На Ивдельских перекатах давно, как в котле, вода бурлит, и туман по берегам ползет.

— Знамо, благодетель, о чем у тебя душа болит, — вздохнул отец Евлампий. — Скорей бы отправить грузы вниз по реке к новым острогам... А монахини и девушки-послушницы хвалят твою Ираиду Анисимовну, говорят, прилежна к учению и старательна.

Иван Григорьевич промолчал, он и сам видел старания Ираиды, которая дни напролет могла складывать из букв слова.

Семен, всю жизнь ухаживавший за одним Иваном Григорьевичем, с появлением в доме Ираиды растерялся. Он не знал теперь, как и когда будить воеводу — ведь тот в спальне был не один. Не знал, что подать, когда. Да не только спальник Семен растерялся, но и другие служивые испытывали неловкость во всем. Ираиде, привыкшей к воле, ходить, куда глаза глядят, куда ноги несут, может, и стало бы тоскливо в воеводской избе, может, и сидела бы у окна, как птичка в клетке, не появись в доме чердынские монашки. Семен и другая прислуга настороженно относились к Ираиде. «С ней разговор-то заводить боязно. Экая дикарка! Что-нибудь еще ляпнет Ивану Григорьевичу, а он крутого нрава!»

Пелагея стала реже видеться с дочерью, но постоянно о ней думала и задавала Анисиму вопрос: чем их Ираида приглянулась воеводе?

— Не родилась бы такой баской, не поглядел бы на нее воевода, — еле шевеля языком, мямлил Анисим, перенесший осенью тяжелую болезнь. — Разве сравнишь ее с Манькой, или с Дарьей, али еще с кем из тутошних баб?

— Так окромя косы да ясных глаз господам, поди, еще че-то надо? — не унималась Пелагея, искренне полагая, что у господ перед простыми людьми должны быть еще какие-то достоинства.

— Да у всех баб все одинаково, — успокаивал Пелагею Анисим.

— Пущай, — согласилась Пелагея с Анисимом. — Товар-то был на виду, глаза во лбу. При Иване Григорьевиче все мужичье: и обеды варят, и полы моют, и постель убирают. Она бы и сама все сделала — так оне не

дают. Говорят, не господское это дело. Послушницы приехали, показывают Ираиде всякие каракули на бумаге. Еще ей глянется, когда Иван Григорьевич берет ее с собой в лес, на луговину и тама, — Пелагея немного помолчала и еле слышно продолжила: — Учит верхом ездить.

— Бабе нарасшарагу в седле сидеть? — возмутился Анисим.

— Какая-то особая бабья езда есть, — вступилась за дочь Пелагея. — Баба садится боком. Ноги на одну сторону.

Анисим в сердцах сплюнул:

— Боле мне про такие Ираидины дела не сказывай.

В это время послышался топот конских копыт. Пелагея приоткрыла дверь взглянуть. Она ждала сыновей из кузницы, куда они ездили подковывать лошадей, чтобы на судоверфи подтаскивать выстроенные суда в делянах, а не перекатывать, как другие, к берегу на волоках.

Лукерья, вспотевшая от натуги, будто вынырнула из-за угла избы. Теленок, выскочивший из загона, убежал до самой середины реки, и она догоняла его, чтобы он, несмышленыш, не угодил в полынью. Сыновей Анисима не надо было дважды просить о помощи. Увидев бесполезные старания Лукерьи, они хлестнули по воздуху ременными хлыстами. Теленок подскочил от испуга и понесся во всю прыть на берег. Лукерья перевела дух, заправила под платок растрепавшиеся волосы, посидела, отпыхиваясь на чурбане, и ввалилась в избу Анисима.

— Слыхала, че поп-то Олимпий во хмелю орал? — спросила она Пелагею, обтирая рукавом пот со лба.

— Откель знать, че он там орал?

— А орал, что острогу нашему и городу больше не быть. Обозам сюда не ходить. Товару сюда не возить, — выпалила Лукерья.

— Это откель ему, пьяному попу, знать? — возмутилась Пелагея.

Лукерья не стала вступать с Пелагеей в рассуждения, потому что часто из-за своей болтовни попадала впросак. Только, обернувшись, крикнула:

— Че у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

— А язык-то без костей, — в сердцах ответила ей вдогонку Пелагея и почувствовала в спине нестерпимую боль. Ее тут же согнуло, и она в таком положении еле-еле перешагнула порог.

— Спину отсекло, — пожаловалась Анисиму.

К той поре отец Олимпий уже ползал на коленях перед алтарем, отмаливал свой грех и читал непрерывно молитвы. «И пьяный Тит псалмы твердит». Отцу Евлампию было противно слушать пьяный бред попа. И, перекрестясь, он отправился в воеводскую. Ивана Григорьевича там не было. Посидев немного в задумчивости и вспомнив, что в нынешнем году обозов пришло гораздо меньше, чем обычно, совсем загрустил. Видно, есть правда в словах Олимпия. Ну, да что тут поделаешь?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Чердынский воевода перестарался, отправив в Лозьвинск еще пятерых монастырских девушек. Они прибыли в светлый, уже по-весеннему теплый день. И снова звонил церковный колокол робким, несмелым голосом, потому что меди в нем было немного и весу он был небольшого, а округа вширь и вдаль без конца и края. Долетая до заимки, он будто выговаривал: сю-да! сю-да! — и это радовало сердце каждого. Вместе с монастырскими прибыли и землепашцы с малыми ребятишками. На заимке от ребячьих голосов стало веселее. Нынешний обоз был составлен из плетеных коробов, а в них, утопая в сене и накрываясь теплыми одеялами или овчинными тулупами, сидели прибывшие.

Обоз остановился. Из короба помогали выйти грузной монахине, прибывшей не из Чердыни, а из самой Перми. Высокочтимая монахиня Пафнутия, поправив на голове платок, поклонившись на все четыре стороны, была приятно удивлена и обрадована, что встречают ее отец Евлампий и, как догадалась, воевода с молодой женой. Послушницы старательно стряхивали с подола матушки Пафнутии снег и прилипшие сенинки. Лицо ее было круглым, с пухлыми щеками, но не дряблое.

Из-под черных бровей смотрели большие черные глаза. Она поклонилась воеводе и подошла к Ираиде. На ней была лисья шуба, сшитая каким-то скорняком, приходившим с обозом, и меховая шапка. Иван Григорьевич держал ее за руку, что казалось всем дивом.

— Все из-за Ираиды, — шепнула Лукерья Пелагее. Но на лице той не было никакого удивления или восторга, потому что она не могла взять в толк, не могла понять, чему такому приехавшие могут обучить ее Ираиду.

— А эти-то зачем? И так столько вокруг ее людей, ей и домой прибежать некогда. Ираида и без них все делать умеет. Во всем мне помогала. Первая помощница. «Ираида — туда, Ираида — сюда». У нее только пятки сверкали.

— Не ее теперя дело бегать туда-сюда, — не унималась Лукерья. Пелагея не на шутку рассердилась, на поблекших щеках вспыхнул румянец.

— Из-за твоих разговоров кровь в голову ударила, мелешь че попало. Будто у нее, у Ираиды, ноги не из того места растут али брюхо заместо спины. Все как у нас с тобой.

— Да, поди, не как у нас, — все-таки шепнула Лукерья. Вдруг и на нее нашло волнение: засунув руку под платок, она долго и яростно царапала за ухом.

— Пригожа, пригожа, — расслышал Иван Григорьевич слова монахини Пафнутии и сразу догадался — относятся они к Ираиде.

— Ну вот, душа моя! — так называл Иван Григорьевич Ираиду. — Теперь у тебя совсем не будет свободного времени.

Ираида и не подозревала, как много ей, жене воеводы, надо знать. Монахиня, встретившись с ней и немного поговорив, была изумлена ее ясным умом, чистой

душой, простодушием. Матушка Пафнутия понимала, как не просто ей будет появиться среди высокого общества. «Только любящее сердце Ивана Григорьевича сможет защитить ее», — вздыхала монахиня.

— Мои девушки станут учить тебя рисованию, шитью, вязанию. Госпоже все надо знать и уметь самой прежде, чем спрашивать с других, — настоятельно говорила монахиня Ираиде.

А той больше всего нравилось читать, она любила бывать в церкви, перебирать на полке книги. «Псалтырь», «Апостол», «Служебник» были ею прочитаны. Хотя она еще была младенцем в вере, но многое уже понимала.

Забегая в воеводскую, она часто видела на столе дьяка бумаги, разложенные на столе. Никто в Лозьвинске не знал грамоты, да и кто бы понял, что там написано. Но дьяк забыл, что Ираида теперь может в любое время прочитать то, что ведомо знать только воеводе. Так и случилось с одной из царских бумаг. «Лета 7103/1495/февраля 10 день Государь Царь и Великий Князь Федор Иванович всея Руси велел...» Дальше Ираида бегло прочитала имена и фамилии воевод, строящих города и остроги. Увидев название своего Лозьвинска, сосредоточилась. «...В новый город на Туру детей боярских и пушкарей и зелья и свинцу, и чтобы взяти из Лозьвинска служивым людям на жалование Государственных хлебных запасов и денег, и что велено под те Государевы хлебные запасы и под казну взяти судов на Лозьве и тому всему с ним роспись подлинная за подписью дьяка Василия Щелкалева... и ехати с Москвы в новый город на Лозьву... Пришед на Лозьву, взять у воеводы служивым людям Государственных хлебных запасов, с Лозьвы отпустить, с что под те запасы судов дати, взяти с Лозьвы на те суды для провождения Лозьвинских

стрельцов до Пелыма, сколько пригоже, как можно Государевы запасы до Пелыма доправадити. И пришед на Пелым, взять у воевод по томуж Пелымских стрельцов для провождения... а Лозьвинских стрельцов отпустить назад на Лозьву».

Вошедший в воеводскую дьяк всплеснул руками, дрожащим голосом сказал:

— Не все, госпожа, вам читать надобно. Бумага бумаге рознь. Одно дело божественные книги, другое — государевы бумаги. Их не каждому велено читать.

— Тогда убирать надо, — сказала она дьяку с улыбкой.

— Правильно, госпожа моя, убирать надобно, убирать. Я, дурень, все по старой привычке оставляю.

— Теперича я все прочитаю. Как есть все, — сказала Ираида.

— Только все ли поймешь? — съехидничал дьяк.

— Али я дура какая? Как есть, все поняла. Велено с Лозьвы отправить в города вниз по реке государевы хлебные запасы да стрельцов...

— Не надо, — испугавшись, чуть не расплакался дьяк. — Ивану-то Григорьевичу не сказывай, что прочитала.

— А ладно, что воевода про это знать не будет? — глядя дьяку в глаза, спросила Ираида.

— Да боязно, — захныкал дьяк.

— Тут все про Лозьвинск прописано, а то, что говорил отец Олимпий, все правда. Не быть Лозьвинску! — в сердцах сказала Ираида. — Но покуда обозы будут идти через Лозьвинск, — как ему не быть? Спроси-ка Антоху, скоко он возов мягкой рухляди отправляет?

— То когда было? А теперича... Другой дорогой обозы пошли.

Жизнь в Лозьвинске шла ни шатко ни валко: всяк занят своим делом. Двум сыновьям Анисима пришла пора обзаводиться семьями. Хотя парни никогда перестарками не бывают, но все равно наступает пора, когда мало человеку сладко спать да сытно есть. Надо и свою избу ставить, невесту сватать да род продолжать. Первым «потерялся» Савин, который чаще других бывал на складах у Антохи. Там он и приметил приезжавшую с отцом менять меха вогулку: бойкую, черноглазую, резвую, как весенняя белка. Ему показалось, что и зубки у нее такие же белые и острые. После их отъезда Савин стал расспрашивать Антоху про этих вогулов. Тот рассказал ему про ее отца, олени которого пасутся у предгорий Камня, что охота на зверя там хорошая. Заныло сердце у парня. Повадился он к Антохе. Чуть какая минутка выдастся — опять к складам. Савин у Антохи выспрашивал, можно ли летом до тех гор добраться? Антоха ответил не сразу, долго прикидывал в уме.

— А че не можно-то? Оне, вогуличи, на упряжках, коли нужда придет, вдоль берега все едино к горам выедут: хошь по Ивделю, хошь по Лозьве. Все едино в каменную стену упрешься. Они, эти реки, начало оттуда берут. — Догадавшись о намерениях Савина, Антоха ему строго сказал: — Меня в это дело не втягивай, а то Пелагея со свету сживет. — И, подумав, добавил: — Созоровать можно. Лошади под вами славные... Токо один не езжай.

— А мы с Кирюхой поедем. Токо как мать сильно голосить начнет, скажи: воротятся парни. Она у нас така рева, зачнет сочинять: то водяной утянул нас в реку, то леший забрал. Будто мы малые дети.

— Глядите, — погрозил Антоха.

Надумали парни съездить к вогулам после распутицы. Как решили, так и сделали. На третий день Пелагея

заголосила. Зять-воевода стрельцов стал на поиски парней посылать. Пришлось Антохе зажмуриться от бранных слов Пелагеи, но обсказать всю правду: уехали, мол, парни к вогуличам невест выбирать. Посудачила Пелагея, что можно было бы и отца с матерью спросить да русских девок поискать, но смирилась. Ждать возвращения сыновей Анисиму пришлось до самой зимы. Как уж там были приняты они, как договаривались, о чем говорили — Богу да им осталось ведомо. Домой приехали к Рождеству. На заимку прибежало упряжек двадцать. Кроме двух невест приехали их отцы и матери, братья и сестры. Отец Евлампий удивил вогуличей звоном церковного колокола. Волей-неволей пришлось всем вогуличам идти в православный храм и кланяться русскому Богу. Лошадей, как сказал Кирюха, отдали для принесения в жертву горным духам: на счастье молодым.

— То беда невелика. У Николы одна ожеребилась, а тут и Пашкина кобыла жеребая ходит. А у нас снова олени появятся, — сказал Анисим, вспоминая добрым словом и шамана Перко, и его упряжку.

Свадьбы справили по-людски. Конечно, не так, как Ираидину, но все равно хорошо: гуляла вся заимка. Ираиду к этому времени многому научили монахини, и стало ей казаться, что в отцовской избе многое делается не так: чашки моются в одной воде и не ополаскиваются, обутки разбросаны где попало, возле порога нет никакой рогожи, чтобы обтирать ноги и не растаскивать грязь по всей избе.

Пелагея охала, удивленно глядела на дочь и не знала, что ответить: вроде права была Ираида, но не повернуть им уже жизнь на другой лад. Но когда Ираида посмела сказать, что негоже Савину жить в чуме, который они поставили вверх по реке Ивдель, Пелагея вспылила:

— Ты сама родилась в чуме. Без тебя решат, где им жить. — И в сердцах добавила: — Ты вот в воеводском доме живешь, а че все ходишь яловой? Пора бы ужо и дите иметь. Столько времени живете! Молодые только чуть-чуть друг к другу прикоснутся, у них и дети появляются, а вы какой год в хоромах-то любитесь, а дитя нету.

Ираида вспыхнула. Она знала, что по заимке ходят слухи о том, что ее сглазили, оттого Бог и детей не дает.

— Иван-то Григорьевич у своих тоже не сразу появился, — ответила она матери. — На четвертый али на пятый год. Не все ведь, как вогуличи, плодятся.

Пелагея поперхнулась и присела на лавку. Она уже жалела, что неловко обидела дочь. Она вспомнила, что понесла ее сразу, как только пригрелась возле Анисима. Обтерев рукавом глаза, она глубоко вздохнула и ничего не сказала дочери. Не зная, как и на что перевести разговор, спросила:

— Поди, правду говорил отец Олимпий: не быть Лозьвинску? Воевода-то че говорит?

— Говорит, что новая дорога идет прямо на Туру, по ней люди и хлынули напрямик: и государева кладь, и торговые обозы.

— Лозьвинск на наших глазах вырос, — запричитала Пелагея. — Каждую повозку, каждый обоз встречали и всех привечали. Все-то в нашей избе обогрелись.

— Да все еще не ведомо, — успокаивала Ираида мать. — Может, все и останется, как есть. — А сама со страхом думала о том, что вычитала в бумагах. — Подождем, может, все и образуется.

Ждать долго не пришлось. Как-то в звездную ночь к острогу подъехали повозки. Заимковские собаки даже не подали голоса. Ворота в острог были наполовину завалены снегом. Стрельца, охраняющего ворота, не было.

Он преспокойно спал возле теплой печи. Ямщики, умаявшиеся в дороге, по-хозяйски барабанили в ворота. Только тут собаки подняли лай. Не только дежурный стрелец, но и другие, наспех набросив тулупы, бежали к воротам, ведь за всю зиму они никому не отворяли.

Воевода Иван Григорьевич, услышав за окнами голоса, пробудился. Спальник Семен уже стоял возле порога со свечой в руках.

Разнежено спала в теплой постели Ираида, она не слышала ни лая собак, ни стрелецких окриков, ни посвиста ямщиков, помогавших измаявшимся лошадям сделать последние усилия — взобраться на городской взвоз.

В Лозьвинск прибыл чердынский есаул Голенищев, чтобы вручить лично в руки Ивана Григорьевича царскую грамоту. Принятые любезно воеводой, прибывшие обогрелись, хорошенько выспались. Иван Григорьевич же после их приезда потерял сон. Он не хотел читать грамоту, в которой, как он предполагал, ничего утешительного для него не было. Живя в отдалении от столицы и занятый важным делом, привыкший к людям, которые умели ценить человеческую доброту, он не помышлял своего расставания с Лозьвинском, где каждый частокол, башня, каждое судно строились под его присмотром.

Он долго лежал с открытыми глазами, затем повернулся к жене и обцеловал ее теплые плечи, провел ладонью по тугим бедрам.

— Ну, Иван Григорьевич, — сонно прошептала Ираида, не открывая глаз. Она безмятежно спала и не знала, какие перемены их ждут.

Иван Григорьевич заснуть не смог. Он представил, как в великопрестольной Борис Федорович Годунов, хотя и побаиваясь бояр, но все же искусно управляет делами,

правит вместо молодого государя. «Надолго ли? — подумал воевода и сам себе ответил: — Надолго. Пока не вырастет законный наследник, его племянник Дмитрий, живущий с матерью в Угличе. А уж от молодого государя наследника не дождемся: хил телом и духом. После мысли его переносились то в отцовскую вотчину, то к чердынскому воеводе, рассказавшему о Строгановых и атамане Ермаке. И сами собой вспомнились слова пьяного отца Олимпия, которого они все-таки отправили в наказание пешим до самого устья Тавды. Дошел он, рассказывали тавдинцы, раскаявшись в грехах, службу служил исправно.

Вдруг громкое петушиное пение, даже не пение, а кукареканье, отвлекло Ивана Григорьевича. Он услышал дрожащий голос Семена: «Оторву башку-то». Увидев возле печи воеводу, Семен виновато пал на колени.

— Прости, кормилец, — винился спальник. — Не удержался. Соскучился по животине, вот и выпросил у Лукерьи петушка и курочку. Овсом кормил, вот он и заорал ни свет ни заря, да еще посреди зимы. Оторву я ему башку-то, хоть и красивый петух: гребешок красненький, грудка вся, как есть, рябая.

— Зачем башку-то отрывать, — сказал Иван Григорьевич. И Семен не понял, то ли в сердцах, то ли снисходительно сказал воевода.

— Вышвырнуть бы их на улицу, так замерзнут, жаль, — пролепетал Семен. Но в этом громком петушином пении пригрезилось ему что-то недоброе. Внутри все задрожало, тело покрылось потом, и вдруг напал озноб.

«Горластый вещун, — еле слышно пробормотал спальник. — И сон какой-то непутевый видел, да и то ладно, на вторник сны не сбываются. Откудова ей, беде-то, быть? — вздохнул слуга. — Живем как след, Бога

не гневим, — и перекрестился, вспомнив двух убитых на днях лесиной стрельцов да про хворых в бараках: кто от простуды кашлем исходит, а кто просто отощал без хлебушка. — Какой тута хлебушко? Горстка на день, а робить-то надо цельный день, да в лесу, да на холоде. Ноне совсем мало подвод было. Каково живем? Поди, че неладно делается, так не моей голове болеть. В Лозьвинске всему голова Иван Григорьевич. Знать, и беды все на его голову падают, — сокрушался Семен, встревоженный петушиным кукареканьем. — Нет, сердце-то вещун, че-то ноне дрожит», — подумал спальник, прикрыв рогожным кулем животину.

Тут петух прокукарекал громче прежнего. У Семена обнесло голову, он шарахнулся, припал к стенке, будто кто-то его толкнул, пополз под лавку и проворно схватил петуха за крылья. Тот, обороняясь, умудрился клюнуть его два раза в руку, но это было последнее петушиное озорство. За сараем Семен, всхлипнув, отсек петуху голову и спрятал теплое тело птицы под поленницей, оставив на снегу две капли крови, похожие на красные клюквинки.

Новый день был безветренным, бесснежным, хмурым и морозным. С реки доносились удары пешни: мужики чистили прорубь, широкую, длиной в несколько сажень, огороженную от ветров стеной срубленных косматых елок. Над прорубленной прорубью курился густой туман, а посреди белого снега и льда чернели темные клубы воды. Они будто вскипали на дне и пытались выплеснуться наружу. Но эту широкую водную полосу мороз за ночь успевал затягивать, сковывать льдом. По утрам снова стучали пешни, раздробляя зеркальные льдинки на мелкие кусочки.

У Семена болела голова и тряслись руки, когда он одевал воеводу. Уже застегнув последнюю пуговицу

кафтана, заметил, что просчитался: одна пола была ниже другой. Спальник захныкал, начал расстегивать кафтан.

— Ну хватит, хватит, — спокойно сказал воевода, чувствуя волнение спальника. Иван Григорьевич, обновляя выпавший снежок, пошел по тропе вокруг острога, постоял возле церкви, любуясь сверкающим крестом, и только после этого отправился к прибывшим гостям.

Чердынский есаул Голенищев был уже на ногах. В ожидании завтрака он поглядывал сквозь проталины в промороженном окне, пытаясь что-либо разглядеть, но утренняя изморозь покрыла все вокруг белизной. Увидев на пороге Ивана Григорьевича, вскочил, подтянул к столу скамейку, приглашая вместе поесть. Тот не отказался. Уху из нельмы хлебали молча. Есаул не стал долго томить Ивана Григорьевича, достал из-за пазухи кожаный футляр, в каких обычно возили важные казенные бумаги. На этот раз Иван Григорьевич почему-то не взял его в руки, а велел передать дьяку в воеводскую. Сам же стал спрашивать о Чердыни, о здоровье воеводы и кто из столичных гостей навещал их. Есаул обо всем рассказывал односложно, как-то нехотя.

Кроме казенной бумаги ему велено было передать Ивану Григорьевичу на словах, что отныне сборщик ясака должен исправно вести запись собранного меха и чтобы в царскую казну вся меховая рухлядь поступала с бумагами за подписью воеводы.

— Антоха у нас вроде исправно собирает ясак, и я до его дел даже не касаюсь. Вогуличи только его и знают.

— Ноне все по-иному. Меха с многих вогуличей станут принимать на Туре, — сказал есаул, передавая наказ чердынского воеводы.

— Про те дела будем с Антохой говорить. Он все знает. Как велено, так и будем делать, — и послал за ним.

Антоха опять был с похмелья. Узнав, что его зовут в воеводскую, выбежал на двор, стал умываться снегом. Вернувшись в избу, расчесал волосы на прямой пробор.

— Помолись, безбожник! — стряхивая с подола прилипший заячий пух, сказала Грунька. — Не зря, поди, зовут в воеводскую.

На этот раз он послушал ее, перекрестился. По дороге в острог перебрал в памяти все свои дела, все грехи, но такие, за что можно было бы его отдать на поругание стрельцам, припомнить не мог, разве ту, давнишнюю пьянку с отцом Олимпием. «Так то было — да прошло, и все былью поросло».

Изменившиеся порядки не стали для Антохи новостью. Про это он слышал уже вторую зиму, но то были, как он считал, мужицкие байки.

Вогуличи продолжали ездить к Антохе, не забыли дорогу, потому что знали, что Антоха их не обманет, меха ценил дороже, чем новые приемщики на Туре.

— Я и без бумаги всех наперечет знаю, — ответил Антоха.— Сейчас по речкам пересчитаю и скажу, скоко чумов и кто скоко соболей сдал. — Антоха прищурил правый глаз, припоминая вогуличей.

— Надобно все на бумаге писать, — сказал Иван Григорьевич, удивляясь памяти Антохи.

— Только с Шегультанки да с Кедровки ишо не приезжали. Бумаг писать не умею, а так все обскажу, — облизывая пересохшие губы, сказал Антоха. И, посмотрев на дьяка сказал: — Записывай.

Тот окинул всех взглядом, затем пододвинул к себе лист и буркнул:

— Сказывай.

Антоха начал:

— Юрты Першины — Поскуча Першин, женат, взято 10 соболей, Нелук Ивашкин, женат, взято

10 соболей, Челко Мехов, холост, взято 10 соболей. Юрты Лачи: Егор Поджаров, холост, взято 5 соболей, Ермалата Тайчин, холост, взято 5 соболей. Тех же юрт Алас Прасин, холост, взят один соболь. Медведь его испортил, за зверем не ходит, ясаку взять не с кого. Юрты Понильские: Чечк Суклем, холост, взято 5 соболей... Юрты Черной речки, юрты Ивдельского Камня, юрты Маньи, юрты Талтии, юрты Солвы...

— Ладно, погодь, — взмолился дьяк. — Давай я к тебе приду, ты обскажешь, а то я не поспеваю.

Антоха обрадовался:

— Тогда я всех вспомню, коли кого забыл, так Грунька подскажет.

— Как ты все в голове держишь? А все говорят, пьет Антоха брагу каждодневно, — удивился воевода.

— Ноне-то мало сдают, но все одно сюда едут. Как мне их не помнить? До весны еще далеко. На всякий случай я на палке зарубки делаю. Это для вогуличей главная бумага, — разговорился Антоха, довольный тем, что говорит с самим воеводой.

Дьяк едва поспевал за Антохой по еле заметной тропке, не раз проваливаясь по пояс в снег.

— Шустрый какой, — не без удивления сказал воеводе есаул, вспоминая, как четко и бойко перечислял Антоха названия юрт и имена охотников-вогуличей.

Воевода Иван Григорьевич понимал, что все это придумал не чердынский воевода и связано это с какими-то государственными изменениями. «А коли не станут поступать грузы в Лозьвинск, то не будет надобности в строительстве судов», — с грустью подумал Иван Григорьевич.

Волновала его и бумага, которую привез для него есаул. «Быть может, она прольет свет на все, что проис-

ходит вокруг». Ему почему-то не хотелось читать привезенное письмо, тем более при есауле.

Тренька Деев встретил Голенищева с радостью. Они обнялись, им было о чем поговорить, вспомнить жизнь в Чердыни. Они вместе съездили на судоверфь, на заимку, затем на склады, где были чердынские стрельцы-товарищи, ожидающие себе замену. Есаул больше молчал, ему было невесело думать о их дальнейшей судьбе: что с ними станет? Может, переведут на службу в новые остроги, а может, вернут в Чердынь? Но то, что в Лозьвинске им скоро нечего будет делать, он знал наверняка, но об этом помалкивал.

Пакет Иван Григорьевич распечатал решительно, стоило ему остаться одному. Сорвал сургучовую печать. Буквы запрыгали перед глазами. Московским дьяком была подробно описана новая дорога, открытая посадским мужиком Артемием Бабиновым. А по городку Лозьвинску был вынесен приговор, «...что Лозьвинскому городу впредь не быти, а быти ему разорену... а стрельцов с Лозьвы послати в Верхотурье для городовато дела и для их строенья, потому что Лозьвинским людям тамо быти». В глазах воеводы потемнело. Он обхватил голову руками, боясь даже про себя повторить прочитанное. С поспешностью спрятал письмо в пакет и стал искать, куда его положить, чем закрыть, а не лучше ли сжечь! Но разве возможно этим что-то изменить, когда есть воля государя. «Быти ему разорену», — стучало в висках. «Боже милостивый! — взмолился воевода. И все казалось неправдоподобным. Стены новых домов еще не успели прогреться: избы, церковь, воеводская... «Впредь не быти». «Лозьвинску не быти». Он не мог произнести такие слова даже про себя. «Посмотреть, перечитать снова!» — но это было выше его сил. Еще труднее было представить, как он скажет об этом

стрельцам, которые, не жалея живота своего, чистили берег, ставили стены и строили башни... И вообще, как это можно! «Не быти городу Лозьвинску. А как быть с заимкой? Люди еще до прихода стрельцов обжили землю».

Зазвонил колокол, сзывая горожан к заутрене. На пороге воеводской послышались быстрые шаги. Иван Григорьевич узнал по ним Ираиду. Она по привычке долго и старательно стряхивала с обуток снег. Приоткрыв дверь, с улыбкой проговорила:

— Поспешай, Иван Григорьевич! — и побежала в церковь.

Воевода не мог тронуться с места. Как же рушить? Спокойно глядеть, как будут зорить город?

На молебен Иван Григорьевич не пошел, и это сразу отметила матушка Пафнутия. На этот раз она даже не спросила Ираиду, куда уехал хозяин. Она почувствовала какую-то тревогу в сердце, хотя взгляд Ираиды был беззаботен и весел.

Иван Григорьевич все-таки достал царскую грамоту и решил прочитать ее еще раз до конца. «Тот город и острог пригодится к старому Пелымскому городу, и к острогу и на поделку или на хоромную ставку, и как бы Государеву делу было пригоже, и служивым людям лехче, что готовый городовой и острожный лес понизовою водою припровадити, и людей прислати кому тот Лозьвинский город и острог рушати, и понизовною водою перепроводите с Лозьвы на Пелым и вы бы о том Лозьвинским стрельцам с Федькою Хощевым отписали... что велел Государь зимовати на Лозьве, а суда велел готовити и под свою государеву казну и подо всех ратных людей и служилыми людьми весною на Верхотурье идти».

После службы матушка Пафнутия решила пойти в воеводскую. На пороге лицом к лицу встретилась

с есаулом Тренькой — большим греховодником, как думала о нем монахиня, но не сказала ему укорительного слова, какие говорила обычно. Тренька несся на всех парусах сказать воеводе, что на дальнем курене смолу не выжигают, а десятник с нестерпимой болью в животе приплелся оттуда на судоверфь на лыжах еле живой. Пришлось Треньке приостановиться, пропустить монахиню вперед. «Поди, насчет Ираиды идет в воеводскую, — подумал Тренька, — сказывают, она побойчее своих наставниц буквы научилась складывать. Они токо зачнут че сказывать по-книжному, а она ужо это наперед их читает и растолковывает», — вспомнил чьи-то разговоры есаул.

Пафнутия часто навещала воеводскую. И на этот раз она пришла без дела. Она не могла и себе объяснить, зачем направилась сюда. Ивана Григорьевича застала в полном расстройстве, он не пытался от нее скрыть своего душевного состояния.

— Видать, не вовремя? — склонившись в поклоне, сказала монахиня. Иван Григорьевич смутился, с ответом медлил: неправду говорить не умел, правду говорить не хотел. Пересилив себя, произнес:

— К вечерней обедне приду, повинюсь и совета вашего буду просить.

Монахиня, обеспокоенная настроением воеводы, откланялась. «Видать, неприятности свалились на него, — подумала матушка Пафнутия. — Почти каждую неделю стрельцов отпевать приходится. Мрут от простуды да скудной еды».

Тренька тоже не узнавал воеводу.

— Что случилось-то? Не захворали ли, Иван Григорьевич? — робко спросил есаул.

— Пострашнее, Тренька, всякой хвори и всякого пожару! Пострашнее! Полная погибель нашему Лозьвинску, — с отчаянием в голосе сказал воевода.

Есаул ничего не понимал. Он пытался еще говорить о приезде на заимку пашенных мужиков с сохами и мешками посевной ржи и овса. Утверждал, что, если по примеру Лукерьи раскорчевать да пустить пал на высоких гривах, можно выращивать что душа пожелает. Эти слова есаула только еще больше убеждали воеводу в бессмысленности принятия государем решения «рушить город».

Не помнил Иван Григорьевич, как вышел из воеводской, как дошел до избы. Ираида выбежала навстречу Ивану Григорьевичу, радостная и счастливая. Она была еще слишком молода, чтобы уставать от быстрого бега, и, очутившись в объятиях мужа, игриво стала сдувать иней с густой бороды Ивана Григорьевича.

— Без тебя мне и в церкви боязно, — призналась она.

В ответ Иван Григорьевич крепче прижал к себе Ираиду.

— Человек все пережить может, но как...

— А вот я не переживу с тобой разлуки. Я просто умру, и все.

Так всегда говорит молодость, не задумываясь, не сомневаясь. В порыве юношеского восторга вылетают вольные слова, легкие, как вздох.

— Пойдем на заимку, — неожиданно сказал воевода. — К отцу сходим.

Ираида остановилась, пристально посмотрела в глаза Ивану Григорьевичу и увидела такой незнакомый, такой горестный взгляд мужа, что обомлела. Она уже не решилась спросить его, отчего он не пришел в церковь, и вообще не знала, какие подобрать слова.

— Пойдем к батюшке, пойдем, — сказал он каким-то не своим голосом, сухим и дрожащим.

Дорога до заимки была хорошо протоптана, она виляла между стволами вековечных сосен и никогда не

переметалась снежными сугробами. Каждое утро на припорошенном снегу оставались следы плетеных лаптей, чобот, бродней.

В избе Анисима все было без изменений. Только появился внук, который, крепко держась за подол юбки Пелагеи, пошатывался на некрепких ножках. Увидев чужих, спрятал лицо и, когда старшие обменялись первыми словами, стал осторожно выглядывать, готовый вот-вот разреветься

— Какими судьбами? — поднимаясь со скамейки, спросил Анисим. Обтерев ладони о штаны, протянул руку Ивану Григорьевичу.

— Еще что! — сказала Ираида, когда с каким-то особым поклоном отец потянулся к ее руке, желая подчеркнуть почтение жене воеводы, но тут же смутился.

— Вота готовлю крючки. Налим брюхатый ноне хорошо ловится. И все с молокой, с молокой. Парни в сарае целую поленницу сложили, а проверять крючки у них не стало охоты. Печенью-то угощай гостей, — сказал он Пелагее и заговорил про сыновей, которые стеснялись воеводу и бывали у сестры только однажды на праздник Рождества Христова, да и то дальше порога не прошли. — Савин в избу ушли, а Кирюха, грех сказать, в чуме, не идет его вогулка в избу жить, да и только. Вот мальца отдает, а сама еще ни разу в избе не ночевала, — смеялся Анисим, стараясь изо всех сил казаться здоровым, хотя могучая когда-то грудь часто вздрагивала. Ираида, шепнув что-то на ухо Ивану Григорьевичу, выбежала из избы и быстро обежала заимку. Побывала у Дарьи, забежала к Лукерье, встретилась с Грунькой. С каждой перемолвилась хоть одним словом. Те, разинув рты, не могли на нее наглядеться. Приезжих баб не знала, но все равно всем поклонилась.

Ираида не догадывалась, о чем пришел говорить воевода с отцом. Лукерья же, будто ненароком просунув голову в притвор двери, поняла, что воевода говорил о чем-то непростом, потому что у Анисима тряслась борода. Узнав о разрушении Лозьвинска, он не смог сдержаться и громко зарыдал, спрятав лицо в ладони. Пелагея, всю жизнь прожившая с ним рядом, ни разу не слышала плача Анисима. Она остолбенела: черпак выпал из рук, покатился по полу. Она не поверила собственным глазам и, подойдя к Анисиму, несмело дотронулась ладонью до его головы. Волосы его вроде еще больше побелели.

— Хоть и царская воля, а воеводский дом рушить не велю, — сказал Иван Григорьевич. — Деньги за него внесу в государеву казну, или там живите, или на заимку перекатите. Денег оставлю.

— А Ираида-то как? Она ведь помрет, — давясь словами, спросил Анисим, не поднимая на воеводу глаза.

— Куда иголка — туда и нитка, — услышал в ответ.

Ираида вбежала в избу, разрумянившаяся на ветру. Увидев плачущего отца, остановилась в растерянности. Пелагея, ничего не поняв из разговора воеводы с Анисимом, сидела отупело, почти безразлично глядела на всех немигающими глазами. Ее измученное сердце стучало в груди быстро и глухо, руки безжизненно лежали на коленях. Ираида обняла мать за плечи, но, та, находясь в каком-то непонятном состоянии, не отозвалась ни на ласковые слова дочери, ни на поглаживания по голове. Ираида подала ей берестяной чуман с водой, Пелагея с жадностью сделала несколько глотков и заголосила. Анисим приподнял голову. Он впервые услышал этакий ее вопль. «Знать, все в нашей жизни было не так плохо, раз впервой так выворотило душу», — подумал Анисим.

— Душа моя, — протянул руку перепуганной Ираиде Иван Григорьевич. — Обо всем расскажу. Как есть, обо всем расскажу дома.

Она поняла, что случилось что-то такое, о чем не рассказать несколькими словами, и только кивала головой, покусывая красивые пухлые губы.

Есаул Тренька, не найдя в воеводской хозяина и встретив возле сарая Семена, измучил спальника вопросами. Бедный Семен не слушал есаула. С раннего утра он оплакивал своего любимца — громкоголосого петуха.

— Неужто он мне что сказывает? — как мог отговаривался спальник. — Да вона! Видать, на заимку ходили, — сказал Семен, поправляя накинутый на плечи полушубок, а про себя подумал: «И че это они на заимку ходили? Вроде не собирались».

Ираида была тиха. Может быть, она и голосила бы по-бабьи, но стараниями матушки Пафнутии, послушниц и нянюшек научилась быть сдержанной. «Это тебе не заимка, воля вольная, — улыбаясь, говорил ей дьяк. — Господские-то жены без согласия мужа бровью пошевелить не смеют». Поэтому и шла, понурив голову, ни о чем не спрашивая Ивана Григорьевича.

Вернувшись с заимки, воевода узнал, что есаул Голенищев налегке уехал в Чердынь, не попрощавшись и не доложив о своем отъезде. В этом Иван Григорьевич увидел пренебрежение к его высокой должности. «Экий мерзавец», — подумал воевода, но махнул рукой: были у него заботы и поважнее. Ему еще предстояло рассказать Ираиде содержание царского указа.

Ночью Иван Григорьевич спал плохо. «Только нашел себе отраду, это беззащитное существо», — он смотрел на прелестное лицо Ираиды и ловил себя на мысли, что, пожалуй, из-за нее не сможет сейчас поехать в большой город, где столько злых языков, способных

убить в сердце любовь и веру в добродетель. Не мог представить, как станет собственными руками рушить то, что построил. Каждое бревно, каждая плаха, доска дались с таким трудом. Не сможет он вынести разрушения города. Да и стрельцы как будут его рушить? Ведь сами строили. Надо позаботиться о них — отправить в другие воеводства. В голове было много разных дум. Может, поехать к Петру Ивановичу Горчакову в Таборы? Но там он непременно увидит, как поплывут по реке бревна порушенного города. Поплывут ладьи и лодки, построенные на его судоверфи. Нет, сердце не вынесет. А может, к Никифору Васильевичу Траханиотову на Сосьву, ближе к горам, в самый вогульский край? Воевод меняют через три года, а если не будет замены, то и через шесть лет. Но к нему можно добраться только оленями. А как прощаться с людьми? Не уезжать же крадучись. О государевом указе Иван Григорьевич твердо решил оповестить всех.

Через день жители Лозьвинска всполошились: кто плакал, кто охал, кто искал попутчиков уехать, кто решил остаться тут, обживаться на заимке. Одним словом, начался полный переполох. Дня через три воевода позвал к себе Антоху. Тот прибежал запыхавшись. Иван Григорьевич принял его любезно и сказал, что собирается ехать в только что начавшийся строиться город Березов на Сосьве-реке и просил совета, где взять хорошие упряжки. Антоха не замедлил с ответом:

— Есть тут вогуличи с речки Шегультан, так у них олени какие-то меленькие да безрогие. Надо чуть погодить: охотники еще не все из лесу пришли. Сей же день накажу, чтоб приехали на лучших быках, на каких они ездят к молебным местам.

Матушку Пафнутию, послушниц и наставниц, щедро одарив, отправили на подводах в Чердынь. Отец

Евлампий, не скрывая слез, благословил Ивана Григорьевича и Ираиду на благополучную дорогу. «Будем делать, как государь повелел, но поклонимся каждому бревнышку», — говорил он со скорбным видом, целуя полы кафтана воеводы.

Через неделю Антоха приехал в острог с пастухами-каюрами, пригнавшими оленей с богатых пастбищ. В церкви отслужили прощальный молебен. Лозьвинский люд усердно молился и слушал, как звон колокола разносится по берегам.

Ираида отрешенно смотрела на все широко распахнутыми глазами, в которых застыл испуг. Она не могла даже молиться.

Скарбу и коробов Семен насобирал великое множество... С Тренькой Деевым и десятниками, оставшимися «рушить» город, сидели долго. Воевода взял с них слово, что они будут аккуратно складывать бревнышко к бревнышку, а воеводский дом велел перевезти и поставить Анисиму на заимке, стрельцов, как написано в царском указе, отослать на Пелым да в Верхотурье.

Выходили из воеводской молча, кто-то всхлипнул, есаул Тренька ни с того ни с сего запнулся о высокий порог и полетел с крыльца, но не упал, материться в такое время было грешно, только поохал.

Ираида стояла за дверью и ждала, когда из воеводской выйдут мужики. Как только они остались с Иваном Григорьевичем вдвоем, она схватила его за шею, разрыдалась.

— Успокойся, душа моя! — ласково сказал ей Иван Григорьевич.— Весной, согласно царскому указу, Лозьвинск все равно будет разрушен.

— Пошто долго не сказывал? Али я маленькая? — укоряла она мужа.

— Всем сказал, а тебе, душа моя, боялся. Прости меня великодушно. Жизнь без тебя мне не жизнь. А от слез твоих у меня сердце болит, — признался Иван Григорьевич. — Не хочу я, видит Бог, не хочу смотреть, как будут рушить Лозьвинск.

Тяжелые тесовые ворота крепостного острога были распахнуты, упряжки нагружены, прислуга и сопровождающие воеводу стрельцы натягивали меховые савики. Дорога предстояла дальняя.

С непокрытой головой выходил из острога воевода с Ираидой. Они держались за руки. Анисим с Пелагеей стояли, сгорбившись, среди сгрудившихся мужиков и баб, пришедших с заимки. Особняком стояли Ираидины братья и сестры в низком поклоне. «Семеро, — бегло сосчитала она, — все до единого пришли, родимые. Когда теперь свидимся?» — с тоской подумала она.

Вечерело. На небе начинали загораться звезды. Каюрам-проводникам надо было пристально глядеть в этот безбрежный океан, плывущий, бушующий, искрящийся веками над землей и ее обитателями, чтобы определить правильный путь. На сером небосводе четко вырисовывалась зубчатая стена острога, крыши изб, контуры сторожевых башен, куполок церкви — одной из первых за стеной Великого Камня.

Встав на колени, воевода прикоснулся лбом к заснеженной земле. Тому же последовали Ираида и все остальные. И только вогуличи остались сидеть на нартах.

Как правило, в дальний путь на оленьих упряжках выезжают в ночь. Под одноглазой луной, которую вогулы зовут вторым солнцем, их убаюкивает равномерный бег оленьих упряжек, собственные нескончаемые напевы, которыми всегда полна их вольная душа.

Есаул Тренька с оставшимися стрельцами начал рушить город с первыми талыми водами на реке. Рушили медленно и аккуратно, связывали бревна в плоты и спускали их на воду без шума и грохота...

Давным-давно заросло лесом и разнотравьем место, где стоял первый форпост России — городок-острог Лозьвинск. И многим невдомек, сколько российского люда — ратичей, стрельцов, казаков, смолокуров, землепашцев, плотников и строителей, — перевалив через стену Великого Камня, находило здесь приют и отдых, чтобы потом двигаться дальше, в сторону восхода солнца.

1998 — июль 1999 г.

СЛОВАРЬ СТАРИННЫХ И МЕСТНЫХ СЛОВ

Емас — красивая.

Эква — девушка.

Ойка — старик.

Саха — меховая женская одежда.

Лабаз — деревянное строение на столбах для хранения одежды и домашней утвари.

Торить — топтать.

Чувал — очаг в чуме.

Чум — переносное жилище конусообразной формы из бересты и шкур.

Тамга — родовое клеймо.

Пауль — стойбище.

Санквальтап — музыкальный инструмент.

Камлать — шаманить.

Тягиляй — кафтан со строчным воротником и короткими рукавами.

Очеп — жердь, прикрепленная к потолку наперевес со свободным концом, на который привязывается люлька.

Выскорь — вывороченное с корнем дерево.

Коты — меховая обувь.

Ушкуйники — речные разбойники.

Кречетник — ловец кречетов.

Неплюй — шкурка только что рожденного олененка.

Тынзян — аркан для ловли оленей.

Каюр — погонщик оленей, запряженных в нарты.

Гусь — мужская меховая одежда с капюшоном, надеваемая поверх малицы.

Кисы — меховая обувь.

Памасибо — спасибо.

Торум — верховное божество мансийской и хантыйской мифологии, которому подвластна вся вселенная.

Рума — друг.

Пася — здравствуй.

Чуга — длинный кафтан.

Сулея — плоская фляга, бутылка.

Повойник — платок, обвитый вокруг головы (у русских замужних крестьянок).

Лапник — срубленные ветки ельника.

Чоботы-опойки — старые, дырявые, стоптанные сапоги, башмаки.

Важгаться — суетиться, спорить, ругаться.

Скрыня — сундук, ларец.

Мурза — татарский князек.

Улус — становище кочевников.

Чуман — посуда, сшитая из бересты.

Анисимкова М. К.
А67 Великий камень. Исторический роман. — Екатеринбург: Издательский дом «Пакрус», 384 с, ил.

Новый роман Маргариты Анисимковой, члена Союза писателей России, повествует о походах русских ратичей за Великий Камень, в результате которых к многочисленным титулам Великих московских князей прибавился еще один: их стали именовать князьями Югорскими (1499 г.); а также о судьбе городка Лозьвинска, через который проходил главный путь из Москвы в Сибирь.

The new novel of famous writer Margarita Anisimkova is a saga of Russian warriors' raids beyond the Great Rock — the then name of the Ural Mountains — the result of which was Moscow Grand Dukes added another title, that of the Princes of Ugria (1499), to their already numerous ones. It also tells of the fate of the town of Lozvinsk which in those times was Russia's main gateway to Siberia.

ISBN 5-901214-26-9

Анисимкова Маргарита Кузьминична
ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ

Редактор *М. Э. Чупрякова*
Художник *Н. Г. Кирач*
Художественный редактор *В. С. Солдатов*
Корректор *Т. В. Сергеенко*
Верстка и предпечатная подготовка *С. Б. Григорьева*

ISBN 5-901214-26-9

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 071939, выдана 14.07.99
Сдано в набор 25.09.2001. Подписано в печать 09.10.2001.
Бумага офсетная. Формат 84x108 1/32. Гарнитура «AcademyC».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,2. Тираж 3000 экз. Заказ № 479.

ООО «Издательский дом ПАКРУС»
Представительства Ассоциации книгоиздателей России
по Уралу и Сибири.
620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24

Отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

602